95 коп.

Индекс 73276

«Нева», 1990, № 3, 1—208

3/1990

ISSN 0130—741X

«Фонтанка. Пантелеймоновский мост».
Рис. Ю. КУЛИКОВА

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

3/1990

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

Старший технический редактор **Г. В. Александрова**
Корректоры **А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова**

Сдано в набор 25.11.89. Подписано к печати 26.01.90. М-22005. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,38 усл. кр.-отт. 23,15+2 вкл.=23,47 уч.-изд. л.
Тираж 640 000 экз. Заказ № 243. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Семен БОТВИННИК

◆◆◆

Смотрим в окно, ожидаем вестей,—
неговорливы...
Наше — кончается. Жизнью детей
ныне мы живы.

Смотрим и думаем: в их-то года
было нам туго,
но не смогла и большая беда
сбросить нас с круга...

Дети отцовский забыли урок,
крепкую школу,—
только навстречу дохнул ветерок,
клонятся долу.

Не дозовешься, кричи — не кричи,
души колючи...
Слышим, как мчатся над ними в ночи
времени тучи.

Годы с деревьев сдирают кору,
холодно в доме...
Юности трудно стоять на ветру,
на переломе

веры, надежды, непрочной любви —
боль она копит...
Память на помощь себе позови,
собственный опыт —

выбелил волосы времени снег,
голову студит...
Легких времен не бывало вовек,
да и не будет;

нету ни гладких, ни верных путей,
клонится ивы...
Наше — кончается. Жизнью детей
ныне мы живы.

◆◆◆

А знаешь, «страдальцы застоя» —
явленье совсем не простое...
Сегодня кричат они с крыши,
о том, как сидели в подвале,
где были неслышны, как мыши,
и голоса не подавали...
И правда, они без движенья
таились, молчанье хранили,
поскольку свое положенье
не так уже низко ценили...

◆◆◆

Ученики послушны до поры —
пока они знакомятся с азами...
За пазухой припрятав топоры,
они глядят правдивыми глазами.

Свои науке праздновать пиры,
своими обливаться ей слезами...
Ученики до времени добры,
они еще учить не жаждут сами.

Еще возникает тихий ученик,
еще твоих не попирает книг,
тебя не порицает повсеместно,—
но все-таки судьба недалека:
«Учитель, берегись ученика!» —
с времен далеких это нам известно.

◆◆◆

Различить в запустенье не просто
безымянных творцов мастерство...
Храм стоит посредине погоста,
порастрескалась кладка его.

Кто придет к позабытому чуду?
Там, внутри, полумрак неживой,
обвалилась известка повсюду,
камни дикой прикрыты травой...

И мутнеет небесная сфера,
облака пробегают гуртом,—
вера старая, новая вера
под косым заплутались крестом.

Потускнела давно позолота,
отторгается времени пласт...
Перестраивать многим охота —
только строить не каждый горазд.

◆◆◆

Стало небо и шире и чище,
словно туча, отходит беда...
На каком мы росли пепелище —
не совсем-то мы знали тогда.

Не дается ничто безвозмездно,
и былое во всей глубине
открывается нам, словно бездна,
как ущелье — с костями на дне.

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

51

Сколько уже раз, который уже раз в 11-й комнате Таврического дворца заседало бюро Прогрессивного блока! И заседания запомнились как бы всегда при электричестве: или по вечерам, или даже если днём, то по недостаче петербургского света зажигали настольные лампы под тёмно-зелёными абажурами, и отбрасывались светлые круги на зелёный бархат, раскрытые блокноты, карандаши, автоматические ручки и пиджачные рукава.

Заседали и сегодня, несмотря на воскресенье. Но сегодня, в ярко солнечный день, доставало сюда и света. Хотя и в нём ощущалась печальная недолговечность, падающая на озабоченные лица.

Во главе заседания как всегда сидел простолицый Шидловский, председатель бюро Блока. И говорил долго, путанно, как всегда, когда речь его не написана вперёд, смысл был не всюду уловим, а теченье утомляло. А сбоку от него сидел истинный председатель и вождь Блока — Милюков. При невозможности держать речь постоянно самому, он избыток своей умственной энергии направлял на карандашную запись тезисов всех выступлений, хотя и сам не видел в том значительного смысла.

В этой комнате сколько раз за полтора года, то полудюжиной, то полутора десятком, только свои или из Государственного Совета тоже, или ещё с приглашёнными от Земгора, собирались они тут, сдвигались, горячились, даже вскакивали на небольшом пространстве, или, напротив, млели, дремали, только отсиживали регулярные заседания. Говорилось тут всегда откровенно: держали хорошо тайну дубовые двери, замазаны двойные рамы окон, в комнате нет ни тайных шкафов, ни занавесок. И все перипетии, переломы, взлёты и падения Блока отмечал терпеливый милюковский карандаш.

И только один Милюков, как он был уверен, понимал всю высокую сложность рисунка.

А сегодня они находились ещё на новом переломе, в сложнейшем контуре — и Милюков даже не тщился развернуть эту сложность своим посредственным собеседникам.

После его штормовой речи 1 ноября, после яростного всплеска союзных съездов 10 декабря — январь и февраль протянулись как бы в сером прозябаньи. Вся констелляция оказалась такова, что Дума и Земгор впали в пассивность, несмотря на всю свою активность. Ноябрьский могучий удар растратился, не дав окончательного победного результата. Но если мы не будем действовать — народные массы перестанут идти за нами.

А вот прошло двенадцать дней новой думской сессии — и как будто опять легко одерживалась победа над правительством? — но опять не выявлялась полностью. Как угодно бичевали, полосовали, поносили, плевали, применяли уже запредельно возможные резкости, с тем разгоном, какой свирепеет от

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 1, 2.
Печатается по изданию: А. Солженицын. Собрание сочинений. YMCA-PRESS, т. 15, Париж-Вермонт, 1986.

безответности,— оставалось только, как верно сказал Маклаков, бить правительство кулаками. А в ответ — растерянное молчание, кроме единственного Риттиха, правительство как всегда пряталось,— пряталось, однако же вот не уходило! И даже не сшибли премьера, чего так легко добились в ноябре. Как будто победа, а выхватить её до конца не хватало средств и путей. А следующей осенью будут перевыборы Думы, и Блок рискует самим ходом времени потерять свою опорную 4-ю Думу — там ещё кого и как выберут, придут новые люди и начнётся состязание с царём уже в других условиях. Да ещё если он укрепится победой в войне.

Да, жалкое правительство,— но как занять его место без сотрясения? Как вытеснить правительство, не поколебав парламентского строя, не допустив до революции? Выгодный вопрос — тяжёлое положение с продовольствием, но может исправиться ещё до весенней распутицы. Ни на фронте, ни во внешней политике не происходит сейчас никаких крупных событий, на которых можно было бы эффективно продвинуться. Распутин? — и того не стало. Безвыходность победного состояния: вереница моральных побед над правительством грозила кончиться пшиком. Нависал кошмар завтрашнего пустого заседания Думы, с неизбежным новым запросом или криком — а громче уже не получалось.

Правда, стрельба на Невском вчера вечером и вчерашние убитые давали новую неотразимую платформу для атаки. Вчера, по горячему следу, городская дума постановила: „Это правительство, обагрившее руки в крови народной...",— и можно развить, и завтра в Думе принять от Прогрессивного блока: „...это правительство не смеет более являться в Государственную Думу, и с этим правительством Дума порывает отныне навсегда!". Трусливые убийцы, они решились на боевые патроны! Должна была Дума грозно ответить!

Однако. Однако в борьбе с правительством требуется чувство меры, и — именно при таких волнениях! — нельзя доклонить до анархии. Поколениями штурмовали эту стену режима, били её таранами,— а вдруг как будто не стало стены? Осторожно! Дума — нервный центр страны. Мы — управляем народным движением и отвечаем за него, а оно справедливо направлено против Протопопова и царицы.

Вот Гучков, Гучков пустомеля! Как надеялись на его обещанный заговор! Как он живописно таинственно молчал на совещаниях — значит, близко?.. Но всё никак не совершал переворота.

И выход начинал видеться сейчас — в конфиденциальных переговорах с правительством. Догрызть министрам голову до конца — конфиденциально: что они — никуда не годятся, что дело их проиграно, и пусть уходят тихо, все сразу — а Блок займёт их места. И если для этого понадобится Думе тоже прерваться на неделю-две, то — можно. (Даже ещё и лучше, говорить совсем не о чем.)

И такие именно важнейшие переговоры велись именно сегодня днём, сейчас, между двумя министрами и двумя думцами. Однако те переговоры вёл не Милюков, а Маклаков. А Милюков сидел заманеврированный на ненужном пустом заседании. Досадно, он и ревновал к Маклакову, да и был мастер дипломатии, он сумел бы лучше вымотать министров.

А тут ещё, ко всей никчемности заседания, язвительный Шульгин задел больное место. С особым умением неприятно вставить жало, он, через продолговатый стол по диагонали от Милюкова, с улыбкой под вздёрнутыми усиками выговорил почти нежно:

— Господа, мы очень незапасливо дерёмся. В критике — просто нет равных нам, мы — короли критики! И правительство почти пало и лежит в пыли. Ну вот, считайте, что победа уже одержана, что завтра Государь будет до конца убеждён и призовёт, наконец, *людей доверия.* Мы второй год единодушным хором настаиваем на *лицах, которым верит вся страна.* А скажите, есть такой список, чтобы завтра подать его Государю?

И острым взглядом посматривал на Милюкова, ибо кто же был здесь более достоин уколов, и чья кожа была лучше всех защищена толстотою, если не Милюкова?

Да, конечно, этот список давно должен был быть составлен. Но столько

было недоговоренностей, сцеплений и расцеплений сил, комбинаций, игра влияний, лаборатория настроений, а иногда сплетен и скандалов, что *назвать* кабинет — значило бы разрушить многое и кого-то прежде времени оттолкнуть. Осторожнее пока не называть. Да, признаться, настоящих специалистов в министры никто и не знал. Только общее интеллектуальное и политическое превосходство Милюкова обеспечивали ему несомненно портфель иностранных дел.

А Шульгин всё ввинчивал своё:

— И разве в „великой хартии Блока"— действительно деловые вопросы? Разве с первого дня нам придётся заниматься малороссийской печатью и еврейским равноправием? Нам придётся, господа, вести получше саму войну, и поставить тыл для войны — а умеем ли мы? Ведь правительство — это и знание аппарата и приёмов управления,— так разве мы например с вами готовы?

Между первой его тирадой и второй было, кажется, противоречие: в первой предполагалось, что они не знают, кто будут *эти лица,* а во второй — что это будут почти они. Да зная всех ораторов и всех деятелей — трудно было вообразить, где б это со стороны набралось новое правительство, а не главным образом из думской головки.

Да конечно — так и будет. Но даже ещё и премьер-министр не ясен. Последнее время называли земского князя Львова. (А по сути — твёрже всего тоже было бы Милюкову.)

И Милюков ответил Шульгину, но не на тот вопрос. Ответил, что программа Блока как нельзя более практическая: добиться власти, облечённой народным доверием. А как только она утвердится — то каждую отрасль и поведут наилучшие люди. Достойные министры — залог хорошего управления, это и на Западе так. Но, конечно, нас искусственно устраняли от государственной деятельности, оттого у нас мала и практика.

Посмотрел на Шингарёва за поддержкой. Шингарёв был, увы, слишком простодушен. Он полностью всегда поддерживал Милюкова, но нельзя было его ввести ни в какой пружинный тайный ход. Так и сейчас, полагая, что он подкрепляет своего лидера, он ответил, мягкие руки впереплёт на столе:

— Василий Витальевич, но мы не раз этого вопроса касались, однако побереглись переступить. Это неудобно, нетактично. Что скажут о нас?

Шульгин сделал сальто-мортале карандашом между пальцев:

— Андрей Иваныч, вот это и есть политика по-русски: все плохие, а чуть к делу — неудобно имена называть. Так никогда дела и не будет.

Тут черноусый, чернобровый, голочерепый Владимир Львов, согнувшись в стуле (сведенные руки между коленями не до пола ли свисали?), из глубоких своих глазниц сверкнул профетически и известил:

— Правильно! Пришёл час — называть имена. Это — наше право! И мы не можем никому доверить.

Довольно безумный чёрный блеск глаз его и некоторые иногда обороты речи заставляли опасаться, не свихнут ли этот Владимир Львов, как и злосчастный Протопопов, за кем ведь тоже порой замечали, но не поостереглись. А ведь как-то уже приспособляли этого Львова к церковным делам: после университета он вольнослушателем ходил в Духовную Академию, приучил Думу и Блок, что он специалист по церкви, да и взор у него был как бы фанатика.

Бюро Блока молчало. Кто вздохнул, кто пошелестел бумагой.

День за окнами угасал. Стволы деревьев Таврического сада стояли среди осевших, уплотнившихся сугробов.

Молчали восьмеро в комнате — и снаружи ни один звук не достигал, ни одно движение. Столько уже было переговорено за полтора года, столько! — и всё по одному месту. Уже и говорить не хотелось.

А Маклаков не возвращался.

52

Не дождавшись Маклакова, устроили перерыв. Кое-кто вышел в Екатерининский зал.

Больше всего любил Шульгин во дворце этот необыкновенный по форме зал, когда-то открывшийся балом по взятии Измаила, и особенно как сейчас, когда в семь высоченных венецианских окон западного полукруга попадали последние лучи заката. Это было долгое озеро паркета, во сто шагов длины, до второго такого же восточного оконного полукруга, и во всю длину его с каждой стороны шло по восемнадцать пар коринфских колонн, и даже внутри колонных пар можно было свободно идти по трое. Паркет, натёртый в субботу, переблескивал и отражал в себе белые колонны, а можно было смутно уловить и люстры — семь огромных трёхъярусных люстр с плоского потолка, ободы с двуглавыми орлами и белыми многосвечниками вкруговую. Был ослепителен этот зал в балах, был оживлён и живописен как думские кулуары, когда из зала заседаний вытекало пятьсот депутатов в парадных сюртуках, рясах и крестьянской одежде, а по лесенкам сходила с хор публика и особенно дамы, дамы. Но больше всего поражал этот зал вот в такой пустынности, в незаседательные дни, когда можно в одиночестве задумчиво-медленно пересекать это невероятное сверхдомовое пространство, обдумывать что-либо или просто помечтать — мечталось тут особенно просторно, и Шульгин имел такую склонность. В пустынности да ещё в закат этот зал ликующе тоскливо соединял душу с какой-то высшей стройной красотой.

Но сейчас увидел Шульгин, как из Купольного зала в Екатерининский почти одновременно вошёл и Маклаков. Выражения его лица, доволен или недоволен, нельзя было различить издали,— но и издали создавала его уверенная ловкая фигура, всегда в прекрасно сшитом, но не слишком новом костюме, впечатление законченности. И Шульгин, оторвавшись от спутников, пошёл быстро ему навстречу. Он и всегда Маклакова любил — за остроумие, за афоризмы, за находчивость быстрого ума, за весёлый блеск глаз, за глубину, тонкость и гибкость юридической аргументации в его речах, сделавших его златоустом, сиреною Думы.

Василий Маклаков был самой яркой фигурой кадетской партии — а не лидер её. И даже вообще, принципиально — не лидер. Он утверждал такую ересь, что партийная программа вообще не нужна, нельзя требовать единомыслия во всех пунктах, а лишь бы совпадало общее направление. И никогда он не произнёс даже единой речи по поручению фракции, а лишь когда хотел, располагал сам. (Он речи выбирал такие, где мог бы проявить наибольший блеск, иметь наибольший успех.) О, разумеется, соединить в оркестр двадцать разных мнений и все их удерживать в русле Блока — Маклаков никогда бы не стал и не мог. Никогда не входил он и в бюро Блока. Так он как будто и не был соперником Милюкову? Нет, был. Таких пронзительных суждений, аналитических речей и свежих мыслей — никогда не исходило от Милюкова. Во всех идеях опережал всегда Маклаков: и что пора заняться интенсивной борьбою с властью, создать в Думе искусственно сплочённое большинство (сама идея Блока) — или что пора проявить терпимость и начать сотрудничать с правительством, как думал он едва ли не единственный последние месяцы,— оттого что он вообще считал законом жизни постепенность и эволюцию. Маклаков опасался даже самого начатка революции, а остальная кадетская головка нет: она считала, что направители всего общественного мнения могут использовать начало революции против власти, а потом остановить. Баловень судьбы и публики, всё в жизни легко получавший, удачливый охотник на уток и на женщин, всегда уверенный в удаче, Маклаков, отчасти от этих успехов, отчасти от юридической беспристрастности, когда поднимаешься выше спорящих сторон, всегда первый призывал прислушаться к тому, что справедливо в доводах противников, и так изо всей кадетской фракции был самым приемлемым для правительства, если вести переговоры. Потому именно его и октябриста Савича послали сегодня на переговоры с Покровским и Риттихом, в министерство иностранных дел, на Певческий мост.

Отношения Милюкова с Маклаковым по разности взглядов, приёмов, образа действий, вызывали постоянную личную противонапряжённость. Каждый из них не мог заменить другого, но и примириться с другим не мог.

И — как же сегодня? что? — спешил узнать Шульгин. И образовалась их группа при встрече — ещё маленький граф Капнист и подошёл вразвалку

непритязательный Шингарёв. (Они с Маклаковым были когда-то однокурсниками по естественному факультету Московского университета — но Маклаков бросил курс естественных наук ради политических, а затем и ещё шагнул в сторону — экстерном за юридический.)

А Милюков — стоял издали, у колонны. Но получилось так, что здесь уже была группа, и Маклаков мог и уже начал сообщать новости,— и пришлось Милюкову через нехотя, не торопясь, как бы унижаясь, идти к ним сюда же.

Что у Милюкова был взгляд твёрдо убеждённого кота в очках — это и многие так знали. Но Шульгин особо считал, что у Милюкова наружность учёного прусского генерала, только одетого почему-то в штатское. Кому Шульгин выражал это сходство — смеялись, так оказывалось похоже. И голову твёрдо держал, и взгляд был твёрдый, лоб широкий, невысокий, со всеми признаками твёрдости, да ещё от усвоенной доктрины; и гладкая седоватая причёска, жёсткие усы, золотые очки.

А Маклаков был — живая художественная переливчатость, лишь на каждый данный миг принявшая адекватную форму, молодые тёмные волосы обливали голову, малые свисающие усы лишь для вящей выразительности губ, а всё лицо брито и всем чертам — привольность изменений. Уже ведя за спиной вереницу знаменитых адвокатских и политических речей, умница и удачник, он не вёл за собой партию и оттого ли был моложе своих 47 лет, в обаянии быстрой улыбки вспыхивали молодые белые зубы, и негромким, но явственным чистым голосом, слегка грассируя, сообщал:

— Ну что ж, господа, министры в полной растерянности. Практически мы их добили. Больше половины их вполне согласны на отставку. Но это, конечно, не значит, что отставку или пересоставление правительства разрешит царь.

— Но вы их ещё хорошо добавочно припугнули? — спросил Милюков.

Сосредоточенные умные глаза Маклакова не оставляли сомнения, что всё было взвешено и высказано.

— Да, они рвутся Думу распустить. Но я им... Я их предупредил: именно разогнанная Дума и станет всесильной. Заговорит вся Россия: за что распустили? И вы сами с извинениями будете через несколько недель упрашивать нас вернуться.

— Но — на несколько дней можно, вы сказали? — требовательно проверял Милюков. Всё равно лучше него никто не мог провести переговоров.

— Да, конечно,— легко, но и внимательно смотрел делегат не Блока, но свободной мысли.— Дня на три распускайте, я сказал, мы тоже отдохнём. Распускайте, но только при отставке всего кабинета. И за эти дни чтобы новый премьер собрал новый кабинет, и при открытии привёл его в Думу.

Милюков не возразил, он всегда медленно обдумывал. Но кажется так Маклаков и был уполномочен? Однако, не всё:

— Но я сказал им: только в премьеры упаси вас Бог брать общественного деятеля.

Милюков нахмурился, стал неприступен и даже покраснел:

— Да почему же?

Маклаков незатруднительно объяснял всем:

— Что мы понимаем в управлении? Техники не знаем, учиться некогда. *Облечённые доверием* — это очень хорошо, но что мы умеем, кроме речей?

— А к... кто же? — поперхнулся Милюков. Рано называть *лица*, но что общественные деятели — это единственно возможно! С лёгкой улыбочкой Маклаков самовольно снял все их усилия?

А тот с приветливым наклоном, скользяще, быстро:

— Ну конечно — бюрократы. Хорошие умные просвещённые бюрократы. Пусть возвращают Кривошеина, Сазонова, Самарина. А в премьеры я посоветовал им — только генерала! Конечно, не Алексеева — звёзд не хватает. А — Рузского: и умён, интеллигентен, и с общественной амбицией. Он — политично составит кабинет, явится в Думу как представитель военного командования — и Дума ему ни в чём не откажет. Гарантирую шумные аплодисменты.

Но тут иной генерал, в ином виде и смысле, был возмущён, глаза налились:

— Василий Алексеевич, это непростительно! Вы превзошли свои полномочия! Вы не были...

Наискосок зала, из глубины, сюда шли. Маклаков поспешил дообъясниться:

— Павел Николаевич, но это — реальный и лучший выход сейчас. И то ещё — если кабинет подаст в отставку и если высочайше примут. Задача политика — строить из того материала, который имеется. Не в том дело, чтоб непременно придти к власти нам,— а в том, чтоб и в сотрясении сохранить государственную стабильность. Власть и не входит в число либеральных ценностей.

Это — шёл Керенский, быстро, узкой фигурой вперёд внаклон. А за ним поспевал нетёса Скобелев.

Группа у колонн замолкла: социалисты — чужие.

Но Керенский, кокетливо избочь посмотрел на группу и, на проходке, возгласил:

— А-а-а, Блок!.. Что же вы, Блок, почему же вы не берёте власти?

И — шёл. И Скобелев за ним, как адъютант.

Милюков, Маклаков побрезговали отвечать, а Шульгин, всегда расположенный к насмешке, отозвался:

— Боимся не справиться с министерством внутренних дел.

— Ну! ну! — охотливо клекотнул Керенский. И одной рукой приветливо помахал, выворачивая кистью: — Немножко свобод... Немножко собраний, союзов и прочего... Торопитесь, торопитесь, господа!

И сам торопился, легко спешил в Купольный.

А Скобелев остановился, хотел что-то значительное добавить. Попробовал раз, попробовал два — но заиканье не дало ему выговорить.

Они прошли — и Милюков ещё решительнее осудил:

— Нет, это непростительно! Вы не имели так предлагать.

Маклаков поднял писаные брови. Опустил:

— Павел Николаевич! Quieta non movere! *

53

Чем была замечательна квартира Горького на Кронверкском — проходной революционный штаб! постоянно действующий, в вечном приходе людей и новостей — и неприкосновенный для полиции, на эту квартиру они посягнуть не решились бы! — и к тому же всегда кормили (не то чтоб обслуживали, а было что взять поесть, кто там часто бывал). Приходили люди и совсем не знакомые — ни хозяину, ни постоянным посетителям,— но кто-нибудь их привёл, и что-нибудь они тоже рассказывали. Сам Горький очень любил этот поток людей, рассказы и новости, и то и дело бросал своё писанье, выходил из кабинета и толокся тут со всеми, сидел и сам вызывал людей на рассказывание историй. Правда, к нему и глуповатых много приходило, совсем уже темнота или пьянчуги, но и революционеров много бывало, особенно большевиков.

Гиммер как правая рука Горького по „Летописи", да просто фактический редактор и основной работник, бывал почти каждый день и совсем как свой. Так и вчера он весь остаток дня и вечер провёл здесь. Так и сегодня, поздно встав по воскресному дню, сообразил, что лучше не будет места, как пойти к Горькому. Когда новости сами к Горькому не приходили, то он лазил за ними в телефон,— садился и начинал обзванивать разных знакомых ему людей — не самых главных деятелей, но всё ж из буржуазного, адвокатского, интеллигентского, литературного мира и даже периферии бюрократического.

Но сегодня за несколько полуденных часов, сидя у Горького, ничего узнать не удалось. И тогда Гиммер, другой сотрудник „Летописи" Базаров (в честь тургеневского) и ещё — отправились небольшой компанией собрать личные наблюдения. Надо бы идти, конечно, на Невский, все события там, но

* Не трогать того, что покойно *(лат.)*.

уже перед Троицким мостом толпа запрудила площадь. Правда, и в ней гудели плотные группы вокруг людей, уже вернувшихся с той стороны. Все рассказывали — со своих глаз или чужих слов — одно: что сегодня в городе стреляют, боевыми патронами, и есть жертвы,— одни говорили человек тридцать, другие — несколько тысяч, весь Невский устлан.

Если так, то становилось и опасно туда идти, может быть лучше узнать как-нибудь иначе. Ещё здесь постоять.

На стене Петропавловской крепости близ пушек перехаживали солдаты. Ожидались ли военные действия? Хотя выстрелы оттуда разметали бы толпу, но сейчас она наблюдала с любопытством.

Троицкий мост перегораживали запасные гренадеры. Хотя тут был и офицер, но шла оживлённая беседа толпы с солдатами. Лепили им откровенно — и о правительстве, и о Распутине, и о царе, и о войне,— одни солдаты молчали, другие посмеивались, никто не защищал. Нет, с этими солдатами вряд ли начальство могло бы действовать по подавлению, нельзя представить, чтоб например этот отряд взял ружья на прицел.

Не пропускали всех сразу, толпу, а поодиночке на ту сторону пройти было можно. Но вернее будет вернуться к Горькому и всё узнавать по телефону.

Что-то интересное заваривалось!

А Горький — так и просидел все эти часы у телефона. Он уже знал о расстрелах и знал, что общественные круги потрясены, но вместе с тем и растеряны, ибо никто не придумал, как надо на это ответить. Но видно не поднимались их обывательские головы выше „самых решительных представлений".

Тут повис на телефоне и Гиммер, стал звонить своим левым деятелям. В квартире Керенского самого, конечно, не оказалось, убежал в Думу, но сидел там Соколов вместе с Ольгой Львовной и ждали каких-нибудь сведений, однако до сих пор ничего. На вечер было предположение собраться и обсудить, да вероятно у Керенского же. Все согласны были, что левые должны использовать этот момент, но никто не знал — за что взяться.

Кому Гиммер не мог позвонить — это Шляпникову, не было такого телефона, они жили там, по берлогам Выборгской, без телефонов.

Так и протекало время в расспросах, бесплодных умозаключениях и спорах, которые уже становились и нудными.

Нервы изнемогали.

Но много времени спасительно заполнял телефон: за телефоном как-то не замечаешь часов.

54

Воскресенье — и не чувствовалось ни в чём воскресенье, всё — от одного больного к другому. И в церковь к обедне не пошла, потому что уже с утра устала — и больше нужна была здесь, больным.

Тяжелее всех переносила — Аня Вырубова, при её характере паническом и сосредоточенном всегда только на себе. Каждую минуту около неё дежурила не одна, а сразу две сестры, и утром приходило четыре детских доктора, и потом попеременно то Боткин, то Деревенко, а минувшую ночь близ неё провёл ещё один доктор, которого она особенно любит,— вполне занимала Аня собою целое крыло дворца. И требовала, чтобы младшие незаболевшие дети приходили к ней трижды в день, а государыня — дважды, и утром, и вечером,— и государыня покорно исполняла желания этой своей вычурной, утомительной, и навсегда уже доверенной подруги. К счастью, сыпь её вышла наружу, стала покрывать лицо и грудь, это более лёгкая стадия.

Мари и Анастасия гордились, что они не больны, то сидели у постелей, то телефонировали друзьям, сообщали новости и узнавали их. В общем, они очень помогали матери, но боялась она, что свалятся и эти две. У всех больных был сильный кашель, сильная сыпь, Бэби покрыт ею как леопард — у него, к опасенью, ухудшилось, и температура была под сорок.

От гвардейского экипажа трогательно прислали Ольге, Татьяне и Ане по горшку ландышей — и в их занавешенных тёмных комнатах теперь тянуло тонким запахом.

А вообще в эти дни затруднилось получение цветов — и уже не стояли в каждой комнате разные, свои, как всегда.

Что там в городе? Днём пришла милая записка от Протопопова, написанная им в 4 часа утра, после ночного заседания министров. Предприняты аресты революционеров, самых главных вожаков. А городской голова не справился в городской думе с дерзкими речами — и он, и ораторы будут привлечены к ответственности. Вообще принимаются энергичные строгие меры, и в понедельник будет уже всё совершенно спокойно.

Ну, слава Богу. От разных передающих стало известно, что вчера днём убит бедный полицейский офицер. Но вообще волнения нисколько не походят на Девятьсот Пятый: все — обожают Государя и озабочены только недостатком хлеба.

Идиоты, не могут наладить хлеб.

Такое солнышко светило сегодня — такое солнышко чистое, радостное, всё должно окончиться хорошо!

Звало наружу.

Александра разрешила себе сегодня не вести никакого государственного приёма, хоть один день отдохнуть от этого. Пришло письмо от Ники, прижала его к губам. (И Алексею — пришёл бельгийский крест.) Боже, как ему должно быть ужасно его одиночество в Ставке!

И здесь из-за Аниной болезни не с кем поговорить по душе, а так хотелось!

А вот — и время выдалось, наилучший час: съездить помолиться на могиле Друга.

Взяла с собою Мари, самую здоровую, поехала в автомобиле. Сперва, как обычно, к Знаменью: всю войну каждое своё дело, поездку в госпиталь она начинала со Знаменья — прикладывалась к главным образам и ставила свечи, чаще всего — перед святым Николаем за императора, перед Пречистою Девой. Каждый раз молилась, чтобы Святая Дева благословила дело её рук.

Молитва — давно уже стала высшим утешением государыни. Оставить свои печали в руках Вседержителя Бога.

С этим ехала она сейчас и на могилу убитого Друга, на край леса, на Анину землю. Ободрительно светило солнышко, хотя и отусклилось.

С тех пор как в прошлом месяце над могилой надругались — пришлось поставить здесь пост, постоянного дневального.

От этого, правда, терялась та глубина, незатруднённость общения с умершим, какая бывает в одиноком посещении. Но уже вокруг могилы стали воздвигать и сруб часовенки — и сегодня он достиг той высоты, что зайдя внутрь — ты оставалась видна дневальному и шофёру только выше плеч. А Мари — и совсем не видна.

Квадрат сруба — создал уединение. Сверху было — Божье небо, солнце, а с боков — не видели. Ощущение храма.

Мари стояла строго, молча, понимая.

Александра опустилась перед холмиком могилы — на колени, прямо на снег, на подвёрнутые края своего пальто.

Вот, она рядом была, ощущала Божьего человека, беседовала с духом Его и одновременно с Богом.

Убили Его — убили её собственную душу, началось беззащитное голое существование. Всегда так успокаивало знать, что Его молитвы, иногда в бессонные ночи, следуют за царской семьёй. Звучали в ушах его поучения: не ума спрашивайте, а сердца. Пусть будет благодать ума. Радость у престола. Светильник во мраке светит. Бог тебя прославит, царица, за ласкоту и подвиг твой.

О, мы ещё мало обращали внимания на Его поучения и советы. О, Боже, нам всем ещё отдастся, что Его нет с нами. С того дня всё и рушится. Он так и предсказывал. Теперь все катастрофы возможны. За Его убийство — пострадает вся Россия.

Но он — и жил, и умер, чтобы спасти всех нас.

А теперь будет заступником-молителем на том свете.

Вот, в январе, приснился ей вещий сон: разверстые небеса, а в них — Григорий, с воздетыми руками, благословляет Россию.

Как же они, ничтожества, ненавидели Его! Добились своего...

От этого святого места теперь разливалось спокойствие и мир.

Для души созерцательной и мистически-чуткой, какой обладала Александра, не было непроницаемой преграды между миром тем и этим — но туда и сюда переходили воздействия наших поступков, мыслей — и небесных воль. Божий человек — убит, но и не умер, и вот сейчас она была настолько немешаемо рядом с ним, как и раньше, во времена бесед, когда его сильные серые глаза источали ей спасительный свет.

Она — всецело чувствовала Его здесь, рядом, и сквозь снежный покров, земляную насыпь и гроб — как бы отчётливо видела иконку Божьей Матери, привезенную из Новгорода, из её славной декабрьской поездки, и при похоронах положенную Ему на грудь, под бороду.

Спасительного чуда для трона и для России ждала государыня — от самого народа, от праведных его молитвенников. Она несломимо верила в русский народ, в его здравый смысл, в его любовь и преданность Государю. (Никак она не больше — а меньше! — немка, чем Екатерина, признанная в этой стране — великой.) И посланный Богом прозорливый Друг был явным выражением этой всеправославной связи и всенародной помощи.

Александра всегда искала через веру — таинственности, знамений и чудес. Она — ждала их! Она — верила в них!

Но — свойством ли натуры своей, или касаясь непреодолимой истинной сути вещей — она больше склонялась к предчувствиям дурным и к меланхолии. Ехали ли летом Четырнадцатого года на яхте в финские шхеры — что-то печально наговаривало в ней: а может быть это последний раз так счастливо едем вместе? Покидали Ливадию весной того же года — всё грустно пело: а может быть мы никогда-никогда уже сюда не вернёмся? Узнала вечером 19 июля о начале войны — и рыдала, рыдала, предвидя неминуемые бедствия. Так умела плакать она и от неясных предчувствий будущего — и от дальних ноющих воспоминаний. Почему-то чаще ей открывалась в жизни — трагическая сторона.

Она знала, что уныние и отчаяние — грех. Что мы обязаны непреклонно и светло верить в добрую волю Божью. Но — что было ей поделать с такой прирождённой склонностью сердца?

Вот и сейчас в Новгороде: зашла к старице Марье Михайловне в крошечную келью, где та лежала на железной кровати, и железные вериги рядом. Ей 107 лет — а без очков шьёт бельё для солдат и арестантов. Никогда не моется — и никакого запаха. Курчавые седые волосы, миловидное лицо с молодыми сияющими глазами. И — что ж она провидела в вошедшей? Протянула высохшие руки: „Вот идёт мученица царица Александра!" Благословила. „А ты, красавица, тяжёлого креста не страшись!" И через несколько дней опочила, как будто этого визита только и ждала.

Почему — мученица? Кажется, жизнь властной царицы наиболее от этого далека?

Значит, видела что-то.

Всё — ко злу и к падению.

С содроганием, вся выходя из земной больной своей груди, царица молилась на коленях, чтобы беда миновала детей, её, императора, Россию.

Прямо на могильном холмике из пушистого снега торчал отщепок из бревна, как строили сруб.

Взяла его с собой домой как частицу святыни.

55

Для генерала Хабалова город Петербург не был совсем новым: в прошлом веке он служил тут 14 лет кряду на разных штабных должностях. А потом, 14 лет этого века,— в других городах, всё по военно-учебным заведениям, на воспитании юношества. А там смотришь и жизнь проходит, в 55 лет назначен

военным губернатором Уральской области и наказным атаманом Уральского казачества — как раз перед войною. А там и всего-то было девять полков, и все ушли на войну, и Хабалов мог покойно служить в глубоковерноподданной области. Но, увы, летом прошлого года был переведен командующим перегруженного, многозаботного Петроградского военного округа, правда, не самостоятельного, а подчинённого Северному фронту — так что главные заботы с этим говорливым городом, и его военной цензурой, и его шатущими рабочими ложились на генерала Рузского.

Но вот неделю назад, роковым образом, а верней по подсказке Протопопова, Его Императорское Величество пожелал сделать Петроградский округ отдельным — так что вся тяжесть легла на плечи Хабалова. (Правда, должность равновелика командующему армией, и жалованья больше.)

А тут сразу всё и началось. Ко дню открытия Думы 14 февраля какое-то назначалось большое революционное шествие — и пришлось Хабалову издать воззвание, что Петроград на военном положении, и всякое сопротивление законной власти будет немедленно прекращено силой оружия. (Он так писал, но сам не знал, а как ему сверху скажут, а сверху велели: ни в коем случае, ни одной пули.)

То шествие, к счастью, раздробилось и не произошло. Но обстановка в Петрограде была сильно беспокойная. А по железным дорогам за двухнедельными заносами да ударили сорокаградусные морозы, а безлюдная деревня не успевала разгребать пути — и сократился подвоз муки в Петроград, и от слуха возникли ожесточённые хвосты за чёрным хлебом. (Дело серьёзное, и жена генерала изрядно запаслась мукою, крупою и маслом.)

На случай волнений был разработанный план, как распределять войска по районам, но всё это знал генерал Чебыкин, он знал и весь офицерский состав,— а в эти дни возьми да уедь на отдых в Кисловодск. (И главный экземпляр плана без него найти не могли.) А заменивший его полковник Павленко состоял после тяжёлого ранения, Петрограда не знал, и никого тут. Да все командиры запасных батальонов были так или иначе больные, потому что здоровых офицеров не отдавали фронтовые гвардейские части. И ещё начальник корпуса жандармов генерал граф Татищев — тоже отлучился, как раз накануне, в тот же день, когда и Государь уехал из Царского Села в Ставку. И как раз тут всё началось! И уже не обратишься за указаниями в Северный фронт к Рузскому. И до Государя не дотянешься. Да и что его зря беспокоить?

И вот — третий день сидел Хабалов даже не у себя в штабе, а в градоначальстве, куда лучше сходились все линии связи, пока полиция не была разгромлена. Тут в нескольких смежных комнатах с распахнутыми дверьми все они и сидели — Хабалов со своим начальником штаба Тяжельниковым, контуженный полковник Павленко, командование войск гвардии и полицейское начальство. Генерал-майор Тяжельников, в прошлом командир Несвижского Гренадерского полка, был тяжёлым ранением выведен из строя навсегда. Но не принята была его отставка, а назначен сюда, в штаб округа, с ещё не зажившей раной,— собственным распоряжением Государя. Павленко настолько был контужен, что сильно растягивал слова, рядом в комнате не всегда можно было его понять, а когда по телефону говорил — то что там на другом конце? А к полиции ещё текла и текла череда каких-то совсем посторонних людей, горожан, приходивших со своими страхами или вздорными просьбами, и толчеёй своей только мешавших всем.

Хабалов так себя ощущал, будто попал он в котёл, где и варило его какой день, и он сам мало что мог сделать. Всё, что происходило,— доносились голоса, выставлялись лица, испрашивались решения,— всё через гул этого чужого котла.

Воспитывая юнкеров, Хабалов отлично знал уставы и всю жизнь действовал по ним. Но такого положения, как сейчас,— и представить не мог, никогда не попадал: уставы — как будто перестали действовать. Войска у него были — и как будто не было, а всюду свободно бродили неуправляемые толпы, которые и сами не знали, чего хотели,— потому что и хлеба, кажется, не хотели. И позавчера, вчера ещё занятый, как устроить лучшую выпечку хлеба, генерал сегодня и о хлебе перестал хлопотать, руки опустились. Хабалов попал в со-

стояние, что его несло, толкало, поворачивало, и всё под этот гул, и только та его поддерживала надежда, что когда-нибудь да кончится же день, а на ночь, слава Богу, успокаивается — и тогда можно поехать домой поспать, заложив телефон подушками. А пока нужно было сидеть тут и делать вид, что управляешь событиями. И до того уже распускались, что лезли с непрошеными советами какие-то приходящие офицеры: капитан из Гатчины, у него автоброневая команда, 8 броневиков, мол, с надёжными офицерами и солдатами, даже только пройдя по улицам, она сильно воздействует на толпу.

— Потрудитесь, капитан, не мешать властям исполнять свой долг. Не ваше дело предлагать советы. Отправляйтесь к вашей части!

И ещё время от времени требовал Хабалова к телефону военный министр, кукольный генерал Беляев, и всё спрашивал сообщений, что делается в городе,— хотя ничего же сам предпринимать не мог, а всё равно Хабалов. Да и сведения, притекавшие в градоначальство, не все были доступны проверке, а некоторые и просто фальшивы.

А то позвонил Хабалову сам Родзянко — а почему? по какой субординации надо было ему отвечать? — „Ваше превосходительство, зачем стреляете? Зачем эта кровь?" — „Господин Председатель, я не менее вашего скорблю, что приходится прибегать к такой мере, но заставляет сила вещей".— „Какая такая сила вещей?" — „Раз идёт нападение на войска, то они не могут быть мишенью, но тоже должны действовать оружием".— „Да где же нападение на войска?!" — Перечислил ему.— „Помилуйте, ваше превосходительство, да петарды сами городовые бросают!" — „Да какой же им смысл бросать?"

Городской бой! Где это слыхано? Как его вести? Хабалов во всяком случае не ведал.

Вчера Хабалов долго поверить не мог, что казак — убил пристава. Если так — то как же? то что же делать?

Вчера вечером волнения приняли уже такой размер, что Хабалов должен был телеграфно обстоятельно доложить генералу Алексееву в Ставку. А воскресенье с утра так обнадёжливо началось, и Хабалов доложил, что в городе спокойно. Но с полудня всё равно пробрались, набралось с окраин, и все — на Невский, с северной и восточной стороны. В боковых улицах начались столкновения, пока только с конной полицией. Но в войска летели куски льда, камни, бутылки — и не всё же войскам терпеть? В нескольких местах на Невском, от Гостиного Двора до Суворовского, стреляли, сперва в воздух, кой-где холостыми — но от этого толпа не рассеивалась, а только насмехалась, уже привыкнув к безнаказанности. Тогда стреляли и прямо в скопища. Но и рассеянные, оставив на мостовой убитых и раненых, они не разбегались далеко, а прятались в ближних дворах и переулках и опять начинали собираться. Что делать?

После очистки Знаменской площади собирались в переулках при Старо-Невском и оттуда из-за углов стреляли в воинские наряды. На углу Итальянской и Садовой нашли труп прапорщика Павловского полка с обнажённой шашкой. Но всё ж обходилось без крупных нападений толпы на войска, и была надежда, что пыл толпы охлаждается, а вот скоро и смеркнется. Уже и Невский очищался, забирали власть вооружённые патрули да разъезжала конница, можно было ждать благополучного окончания дня. Всё же первая стрельба подействовала на толпу подавляюще.

Как вдруг по телефону доложили о событии невероятном: что 4-я рота лейб-гвардии Павловского запасного батальона из здания придворно-конюшенного ведомства, где расквартирована, выбежала на улицу без офицеров, стреляя вверх, с какими-то криками, затолпилась на Конюшенной площади — и оттуда стала продвигаться по каналу — к храму Спаса-на-Крови.

Телефонные звонки последовали за звонками — с докладами и запросами, что делать. Отсюда надоумливали естественно: уговорить — напомнить о присяге — вызвать командира Павловского батальона.

А оттуда доложили: взбунтовавшаяся рота поимела столкновение со взводом конно-полицейской стражи, залегла и обстреляла его.

Это новое сообщение показалось Хабалову вовсе недостоверным: с какой

бы стати солдаты стреляли в конно-полицейскую стражу? В том гуле-гуде, который не прекращался, любую чушь могли соврать.

Доносили: рота требует отвести в казармы весь Павловский батальон и прекратить стрельбу по городу!

Такого не может быть!

Доносили: прибыл полковник Экстен. Но пока он уговаривал бунтовщиков — сзади него собралась толпа и оттуда студент револьверным выстрелом тяжело ранил полковника в шею.

Ничего себе!

Тем не менее оказалось, что рота успокоена уговорами полкового священника — и дала отвести себя в казармы.

Слава Богу.

Теперь казармы — заперты, и офицеры находятся при своих солдатах. Понемногу согласились сдать и винтовки. Винтовок там было далеко не на всех, может быть — одна на десятерых, но и из тех двадцать одна исчезла! Исчезли из казармы, значит, ушли в городскую толпу. А может быть с ними и сами солдаты? Ещё не посчитали.

В таком необычном случае — что делать командующему? Доложил по телефону военному министру Беляеву. Тот потребовал сию же минуту полевой суд — и расстрелять зачинщиков.

Как это? С какого конца браться?

Для следствия и суда рота оказалась слишком велика: кажется, их там около 800 человек. Звонили прокурору окружного суда: возможен ли полевой суд без предварительного дознания? Оказалось: невозможен. Но 800 человек и в неделю не допросишь.

Тут выяснилось, что их — не восемьсот, а вся тысяча пятьсот, таковы раздутые запасные роты, больше нормального батальона. Но тогда не то что дознание, а не оказалось в Петропавловской крепости и помещения такого, чтобы принять полторы тысячи.

Звонил ещё раз военному министру, о безвыходном положении.

Постановлено было посадить в крепость хотя бы зачинщиков.

56 [1]

(Бунт павловцев)

Сохранён для нас каждый поворот мысли Родзянки, Милюкова или Керенского (хотя б и оформленный позже, в эмиграции), донесен до нас каждый их шаг. А мысли, действия и самые имена полутора тысяч солдат 4-й „походной" роты запасного Павловского батальона — никем не записаны, не оправданы, не изъяснены,— и только вступили в нашу историю окаменевшей вспышкой, своим коротким конечным результатом. Никто не оставил записок или рассказов, обычная немота простых людей. А из образованных никто не догадался затем расспросить их посвежу да записать. (Наш Александр Блок сушил своё перо на записи допросов в Чрезвычайной Следственной Комиссии, ожидали там сенсации.) Сохранилось только короткое групповое письмо павловцев в газету. В ожоге тех дней ничто не было утверждено документально, но если б и было — то ещё прошло ли бы сквозь четыре года вымирания Петрограда и полувек пренебрежения Февралём?

Итак, подошла страница описать бунт Павловского батальона — но черпать не достанет без догадки.

Рота эта называлась „походной", потому что составлялась из тех, кто ближе к походу,— из более уже обученных и из выздоравливающих после фронтового ранения, стало быть солдат, уже испытавших войну и ожидавших новой отправки туда же. Эту роту все минувшие дни не выводили на уличное охранение, она ничего сама не видела, лишь понаслышке. Но по спешке набора в гвардейские запасные батальоны сюда попадали теперь и свежемобилизованные питерские рабочие, а они сохраняли живую связь с городом, и с кем-то кто-то виделся, и в иные казармы приносили листовки и прокламации. Известно, что казармы содержались распущенно, в них и раньше проникали посторонние, звали поддержать братьев-рабочих. А в эту полосу городских волнений — в казармы могли проникать агитаторы и ночами, рассказывать и взывать.

Есть свидетельстао, что в воскресенье после полудня группа рабочих подвалила к дневальным у ворот 4-й роты, да прямо с Невского, наверно, и прибежали,— и рассказывали, что только что павловцы стрельнли вдоль проспекта. И ясно, что упрекали *этих* за *тех*: как же они терпят, что их полк стреляет в народ? (Сами эти агитаторы не были честолюбивы или не слишком развитые, ибо никто из них не напечатался в ближайших за тем газетах, жаждавших любых рассказов или сплетен о Феврале,— так мы не знаем подробностей.) Ну, и висело, конечно, известное: „А вы тут на трёхэтажных нарах клопов кормите!"

А в 4-й роте были и кто уже посражался под знамёнами Павловского полка — и хоть не все, но некоторые проняты честью полка. Как же так: „ваш полк стреляет в народ!" От образованных — и к нам обрывки смутные: „*не туда* вас ведут!".

Да солдатское ли дело — стрелять по толпе? (А что ваша полиция делает?)

И вот — рванулась 4-я походнан рота, стала выбегать на улицу! Сперва, конечно, пять-десять человек, а потом и несколько сот — а там, гляди, и все полторы тысячи: кто — всё ж в казармах удержался, а кто во двор, а кто и за ворота. Сперва, может, без винтовок, но быстро смекнули, что надо винтовки брать, а их всего сотня на полторы тысячи, да и то, наверно, ружья разных марок. Выбегали, не понимая, что именно надо делать, а — остановить! чтоб не стреляли наши павловцы в народ! чтоб вернули в казармы все павловские роты! И чтоб вообще не стреляли!

А вывалили — и куда бежать-то непонятно. Значит, сгрудились, остановились, кто кричит, кто винтовкой трясёт, кто закуривает, кто нос утирает.

А носы — носы ещё были в один фасон, не прежние подборные павловцы, а всё ж низкорослые и курносые, под Павла I, их поболе.

Ещё не было пяти часов пополудни, запеленившееся солнце ещё не вовсе ушло с неба, хотя стояло низко. До конца светлого времени оставалось часа полтора.

Вывалили, из бывших придарорных конюшен с полукруглою колоннадой — на Конюшенную площадь, одно из укромных и неповторимых мест Петербурга: тот уголок у Мойки между круглым рынком с барельефами бычьих голов и кубической маленькой церковкой, где лежал мёртвый Пушкин и должен был быть здесь отпет, но стекалась толпа — и ночью увезли его в Святогорский монастырь. Тот закрытый уголок, откуда один извив трамвая или сотня шагов мимо подвального „Привала комедиантов" Серебряного века (бывшей „Бродячей собаки") — выводит на неохватный простор Марсова поля, а с Конюшенной — кажется и выхода ни в какую сторону нет, всё замкнуто.

Но уже знали, сообразили — и повалили, без строя, как попадя, не солдаты, а толпа — прямою дорогою к Невскому, а это узкий берег Екатерининского канала, между решёткою набережной и домами, там если бы построиться по четыре, так вот и асю ширину заняли. Не повернуться, не обойти.

И до Невского было им всего триста саженей, но пробежать-прошагать пришлось только двести: остановились не где-нибудь, а как раз у храма Спаса-на-Крови, через канал от рокового места, где разорвало бомбою Александра Второго.

Бессаязный, шумный, дикий их поток с криками, матом, размахиванием, никакого строя — привлёк внимание наряда конной полиции, охранявшего подступы к Невскому по каналу.

Полиция, всеми ненавидимая, никем не поддерживаемая, в пешей части своей уже разгромленная в предыдущие дни, ещё на конях держалась в этот день и во многих местах держала толпы. Как всех предыдущих дней подробности сохранены не историками — революционными, либеральными или консервативными, но лишь в донесениях полиции, с завидной обстоятельностью и точностью,— так и возникшее столкновение с павловцами было бы известно нам подробней, если бы полиция просуществовала ещё один день.

Конная полицейская стража, десяток верховых,— и преградила путь павловскому потоку, да и павловцы кому-то же и шли доказать — вот, полиции! Винтовки сами и начали стрелять, да почти все в воздух — видно и у тех, и у других руки не брали стрелять по живому.

А место выпало — самое непроходное, где два стрелка могут задержать хоть полк. Так — ни павловцам к Невскому было не пробиться, ни конной полиции сшибить их назад на Конюшенную. Да наверно была толчея и паника, ведь несколько сот безоружных. Наверно, продирались через своих назад, и через мостик пёрли спрятаться за храм, уже многие думали, как отсюда бы спастись, а не править правду.

Потерь у павловцев — не донесли, знать, не было. А у полиции — один городовой убит, один ранен, да два коня. На таком-то сходном расстоянии это была не перестрелка, а как сердитый перекрик, ещё угулченный теснотою улицы.

А скоро у павловцев и патроны кончились, не во много их было больше, чем винтовок. И стали они подаваться, подаваться назад — от Спаса-на-Крови да опять к Конюшенной площади.

За всем тем прошёл, может быть, почти и час. У павловцев были только эти двести саженей узины вдоль канала, да бессилие, да бестолочь, да уже сожаление: зачем ввязались? зачем выбежали из казарм? А где-то, неслышимые, заонили телефоны, где-то кого-то вызывали, направляли, уже двигались оцеплять Конюшенную площадь по роте преображенцев и кексгольмцев, каждая с пулемётом, и примчался в санях сам командир Павловского запасного батальона полковник Экстен.

А между тем на суматоху — с Малой Конюшенной улицы, с Итальянской, с Инженерной тоже подбывал народ, самый разношерстный и никем не оцепляемый, так что мог он поднапирать на зрелище.

А между тем уже и смеркалось.

И когда полковник Экстен, не имея возвышения, стал громко и сильно говорить к своим бунтарям, не так усовещивать наверное, как разносить — близко сзади из гражданской толпы раздался револьверный выстрел — полковнику прямо в шею сзади, на том его речь и кончилась.

По всем этим дням замечаем мы, как там и здесь студент, или даже гимназист, юнец с идеями, делает из толпы зачинный выстрел (револьверы, у кого нужно, есть) — и всегда удачно усиливает тем столкновение.

Раненого полковника отвозили. В толпу не отвечали выстрелами, а стрелявшего не найти. Сумерки сгущались. Других желающих увещевать солдат — не находилось. Но по обязанности вызван был и должен был говорить батальонный священник.

Его — и имени мы не знаем. Ни — прежнего служения, ни последующего. Ни — из речи той ни единого слова и довода. Но кто не задумывался над постоянно-горькой этой двойстаенностью полкового священника? — проповедовать Слово Божие и миролюбие тем, кто несёт меч, и в пользу того, чтоб этот меч лучше разил? А сейчас, хотя звал он свою паству воистину не стрелять, а смириться,— так водь не для того ли, чтобы другие стреляли безвозбранно?

Может быть, священник кололся этими противоречиями и едва выговаривал. А скорее — все готовые фразы и все нужные тексты сразу подворачивались, и так пронесло его гладко. На много убедил он павловцев или нет,— но после его речи уже в темноте оцепленные стали втягиваться понемногу в казарму.

Одна была свобода у павловцев после события — разбежаться второпях, пока не окружили. Да страшно бежать солдату, особенно не здешнему, из казармы — а куда? Где солдату приют, где его ждут и накормят? А словят?

Всё же двадцать один человек с винтовками скрылись — так знали, куда? Вокруг остальных замкнулось кольцо из таких же запасных гвардейских — и, стой не стой на площади, а одна дорога — назад в казарму.

Уже не в казарму, а как бы в тюрьму. Винтовки — сдавали.

Кончилась вспышка, и день кончился, казарма стала заперта — и остались павловцы сами по себе, на медленное передумье.

Говорят, с ними вошли и офицеры. Но офицеров в их роте вообще было несоответственно мало: раненых фронтовиков — почти никого. А этих прапорщиков сопливых, нигде ещё не бывших, да и сюда присланных лишь недавно, никто и не слушал.

В окружённых казармах остались павловцы одни, захваченные и подавляемые тоской: что же теперь с нами будет? Не мальчики, понимали, что произошёл военный бунт да в военное время — так, значит, и смерть?

Так и потянуло слухом, как холодком близ пола: что велено их всех, полторы тысячи, расстрелять в 24 часа.

Не до сна.

Были зачинщики, а были — просто скотинка серая, ни сном, ни духом. И в бессонной ночи с нар на нары перекидывался ропот: „Из-за вас..."

В этих событиях порывных люди сами себя не узнают — ни когда бегут с криками, ни когда опохмеляются.

А тут ночью наехало много начальства, чужие офицеры, серебряные да золотые погоны, сколько вместе не видели отроду.

А душа-то — опадает, как гирей обораанная.

И — строили в несколько шеренг перед нарами, и перестраивали, и разделяли, таскали на допрос в канцелярию отдельно, и грозили, и тробовали: назвать зачинщиков!

Их только что и называли, друг перед другом, в лицо. Да самые-то рьяные ушли, и с винтоаками. Да кто-то и сам не понимал, чего он кричал и бежал, в другой раз ни за что не побежит.

Кто укажет нам страсти потяжче, чем эта вынуда круговая, из-под-стопудово-
26· каменная: рот раскрыть и голосом не своим назвать товарица, чтобы он погиб, а не ты? Кто эти хриплые голоса если слышал — забудет?..

Поздно ночью 19 выданных зачинщиков отвели в Петропавловскую крепость.

57

За телефоном не замечаешь часов. Да ещё менялись с Горьким. И другие тоже лезли звонить. Уже и стемнело давно, уже и вечер.

Позвонил Горький, между прочим, Шаляпину и узнал странную новость: Шаляпину только что перед тем звонил Леонид Андреев, а этот квартировал на Марсовом поле, рядом с павловскими казармами. Так вот он лично видел из окна, как пехотная часть с Марсова поля наступала на павловские казармы.

Если ему не померещилось, то что ж это такое могло быть? Борьба между войсками? Уже совсем невероятно!

Гиммер лихорадочно усилил телефонную деятельность. Звонил ещё, звонили ещё — и стали получать подтверждения, что — да, что-то случилось около Павловского полка, и тоже была стрельба на Екатерининском канале.

Наконец повезло: застал дома самого Керенского — только что прибежал из Думы. И Керенский захлёбно-торжественно, содрогновенным голосом объявил в телефон: что П а в л о в с к и й п о л к в е с ь в о с с т а л, вышел на улицу и обстреливал своих пассивных, кто остался в казармах!

Это было потрясающе! Это превосходило всякие ожидания! Если это было так, то карта царизма бита! Огромное событие!

Гиммер ушёл от телефона и пытался уединиться (в квартире Горького это было невозможно, разве что в уборной и то не надолго) — обдумать, что ж из этого следовало. В Петрограде не было сейчас сильных умов революции (Керенский поверхностен, Чхеидзе расслаблен, Соколов — глуповат, Нахамкис — осторожен слишком, Шляпников — неразвит, остальные ещё того бледней) — один Гиммер и должен был для всех наметить путь, что делать, какие мероприятия необходимы? Но вот — он нервничал, и сам не мог сообразить.

Ясно одно, что для крупных политических решений, о которых он всё время думал, подошло время!

Может быть и мог бы сообразить, если б ему дали покой размышлять, но его опять тянули к телефону и к разговорам — а тем временем явился товарищ, подлинный свидетель с Екатерининского канала, и всё рассказал не так: один маленький отряд павловцев, куда-то зачем-то посланный, был обстрелян конной полицией, видимо по ошибке, но стал ей отвечать,— а потом сдался и дал загнать себя в казармы.

И всё радужное возбуждение опало. Это — не был великий случай, не была брешь в твердыне царизма.

Но и не было теперь необходимости принимать важное решение.

Стал Гиммер снова дозваниваться до Керенского. Телефон его был изнурительно занят, уже барышня устала и отказывать, там разговаривали просто непрерывно. И был уже девятый час, когда Гиммера соединили.

Керенского голос узнать было нельзя — такой потушенный. Да, ввели в заблуждение: всего одна рота — и та сразу покорилась.

И проговорил в телефон пророчески:

— Много прольётся крови. Жестоко подавят.

Ещё добавил усталым голосом, не соблюдая конспирации, что у него тут сейчас собираются, не придёт ли Гиммер?

— А — что? наменкнул Гиммер. (Центр действия?)

Нет, так, скорей — обмен мнений за чашкой чая.

Подумал: по дороге столько полицейских препятствий, стоит ли, того ради?

Так мнения — что ж? Правительство, получается, сегодня победило?

Да, увы, выходит, что так.

Значит, все эти дни метались зря?

Казалось так.

58

В воскресенье Государь, как всегда, отправился на литургию — в старую семинарскую церковь Святой Троицы, на круче Днепра, епископ отдал её Ставке, и называли её „штабной". Тут было недалеко, и Государь охотно пошёл пешком — он любил ходить в церковь пешком, так верней, да не было всегда на то свободы. Пошёл с двумя конвойцами и сам в форме конвоя. В штабной церкви было для него устроено на левом клиросе отдельное место, полузакрытое от храма колонной и большими иконами: легче молиться нестеснённо, когда сотни глаз тебя не изучают. Незамеченному — хорошо.

Обычная шла служба, и стоял молился вполне как обычно. Внимательно следовал за словами всего произносимого и поёмого, изученного с детства,— а местами сосредоточивался и на крылья молитв налагал просьбы. Да первая-то просьба к Господу, самая обширная и самая постоянная была — за наши храбрые войска и за дарование им заслуженной победы. Вся жизнь государства и самого Государя сошлась теперь в это: ничего нельзя было в стране устроить, ни даже жить — не выйдя победно из этой войны. И утром и вечером, каждый день возносил эту молитву Николай — и когда молился, то всегда посещала его уверенность, что так оно и исполнится. И — за саму страну, за Россию, за славное и вечное будущее её.

Сегодня — был день рождения отца, мудрого и могучего Государя. Всегда этот день помнил Николай — и всегда обращался к отцу за поддержкой. Не досталось ему вести такой ужасной войны — но он-то вышел бы из неё с громовой победой. Как перенять у него силы?

А ещё молился Николай — как выражались они с Аликс — за свою семью большую и малую: малая — это сами они с детьми, а большая — не династия уже, нет, это родство как бы отсохло, а те несколько десятков людей, близких к ним и верных, кто служили, помогали, сочувствовали.

Стоял и молился как обычно, и всё было как обычно, никакой бы сегодняшней особой тревоги, волнения — а вдруг, откуда ни возьмись, острой болью вступило в середину его груди, таким сжатием необъяснимым, сжатием и вместе проколом снизу вверх. То ли острая боль, то ли острый страх. Не только вздохнуть или остояться — но, кажется, остановилось само сердце — такое ощущение возникло, что сердце перестало биться, и всё в теле остановилось. Николай схватился за перильце позади себя, чтобы не упасть. Он — позвал бы кого-нибудь, но ещё для этого надо было два шага ступнуть и высунуться. А ещё — недостойно было, сразу звать помощь, ни от чего видимого.

И так схватило, и страшно держало. Но в эти минуты к счастью вспомнил, что уже было так однажды в жизни, и отлегло за десяток минут: это когда он узнал о катастрофе самсоновской армии, оказался тогда сердечный припадок. Пройдёт. Да и после сдачи Львова пошалило сердце.

Пройдёт. Должно вот-вот пройти. Однако не проходило,— и он потерял ощущение времени, он не знал, сколько это длилось. Вцепился в перильца, а сердце совсем не слышалось, а от боли нельзя было шелохнуться, и выступил обильный холодный пот,— и вдруг вошло в него сознание, что вот так и умирают, что вот это — может быть предсмертно.

И в этом ощущении он нашёл силы оторваться от перильца, и перешагнуть в сторону, к образу Пречистой Девы — и опуститься на колени перед ним, и лбом почти упасть на коврик: взмолиться о помощи — а если умереть, то вот так.

И вдруг — вдруг всё прошло, с той же внезапностью, как и постигло! И сердце вот уже отчётливо работало! Только остаточная слабость отдавалась по всему телу, так что легче было ещё постоять на коленях, чем подняться. И Николай отёр рукою лоб от пота.

Оказывается, он весь припадок не слышал ни слова службы и пения — а теперь услышал, и по разрыву определил, что припадок был не две минуты — а с четверть часа. Уже пели Херувимскую.

Так никто и не заметил случая с ним.

И хорошо.

Отстоялся на коленях — поднялся.

Но долго ещё сохранялась в теле — усталость. И возвращался Николай из собора уже на автомобиле. И с мыслью — как бы прожить воскресенье тихо, покойно.

Вообще-то Николай был — совсем здоровый и даже молодой человек, он не только чувствовал себя хорошо, но даже с годами лучше, так находили врачи.

Миновало — и уже не хотелось говорить доктору Фёдорову, как-то и стыдно возбуждать беспокойство. Если будет ещё раз — ну, тогда.

По краткости пребывания Государя в Ставке доклад Алексеева, тоже молившегося на литургии, предполагался и в воскресенье, и должен был состояться после церкви. Государь не отменил, пошёл выслушать.

Да вот уже, за три доклада, они как будто и обсудили всё главное, что делается с армией. Всё текло нормально, только вот перебивалось провиантское снабжение на Юго-Западном. Все армейские дела, по сути, были уже и направлены. Послезавтра, пожалуй, можно и возвращаться к своему Солнышку в Царское Село, ей очень тревожно и одиноко.

Ещё подал Алексеев телеграмму Хабалова. Да, в Петрограде же... Ну, что там? От Хабалова это была первая телеграмма. Он сообщал — ещё только за 23 и 24 февраля, что бастующих рабочих около 200 тысяч,— это много, правда бастовщики снимают работающих насильственно. Останавливали трамваи, били стёкла в трамваях и лавках, прорывались и к Невскому — но были разогнаны, причём войска не употребляли оружия. (Это — верно, так Государь и распорядился, ещё не хватает повторить ужас того страшного 9-го января.) И 25 февраля так же разгоняли с Невского. Серьёзно ранен один полицеймейстер и при рассеянии толпы убит пристав. Перечислялось 11 эскадронов кавалерии, более чем достаточно.

Тут заметил Государь пометку, что телеграмма доставлена в Ставку вчера в 6 часов вечера. Отчего ж уж так за весь долгий вечер, да уже скоро и сутки — Алексеев её не доложил? Хотел спросить, но взглянул на трудолюбивое и даже измученное лицо Алексеева, кажется даже очки несущее с трудом, так было ему нехорошо,— и не решился огорчать старика. Он ещё не вышел из болезни, вероятно, вечером трудно было подняться идти. Да значит и не придавал значения. Да тут, и правда, нет ничего особенного.

Перед завтраком получил и читал целительное нежное письмо от любимой Аликс, вчерашнее. Боже, как она тоскует несказанно! Но и сколько успокоения, радости и твёрдости всегда вливается от её писем. Она тоже писала об этих волнениях — но тоже так понять, что ерунда, возбуждение мальчишек и девчёнок. А вот очень верные мысли: почему не наказывают забастовщиков за стачки в военное время? И почему до сих пор не введут карточной системы на хлеб? Этого Николай и сам не понимал и не мог добиться. Просто было какое-то заклятье с этим продовольственным вопросом, не давался он в руки никому.

Слишком много препятствий почему-то всегда встречается от высказанной воли до исполнения.

Всё равно она писала, надо постепенно так всё и устроить.

И Хабалову Протопопов должен был дать и, конечно, даёт, ясные определённые инструкции. Только бы не потерял голову старый Голицын — ему всё непривычку.

Ещё сколько ей, бедняжке, ухода за больными детьми, это при её здоровьи. И сколько хлопот с капризной трудной Аней, не знающей ничего кроме своих болей и интересов, ни даже ценности времени и обязанностей императорской четы. Но и никак нельзя покинуть её, угрожаемую после гибели Григория.

Забывался и оживал Николай над дорогими письмами. (Ещё и от Настеньки, младшей, была писулька.)

Очень в этот раз не хватало в Ставке Алексея, его шалостей и болтовни. Какое же он утешение и развлечение!

Но уже пора была идти на завтрак. По воскресеньям завтрак был всегда многолюден, тут и все наличные иностранцы. Надо было много говорить, слушать, но всегда о постороннем пустяковом, отлагая всякие серьёзные мысли. Впрочем, этим ритуалом Государь хорошо владел, приучился за четверть века.

После завтрака первым делом сел — и написал Аликс письмо в ответ.

А погода стояла солнечная, морозная. Решил ехать на прогулку. Подали моторы — поехали на Бобруйское шоссе, остановились у часовни памяти 1812 года. Погулял там. Ясная, бодрящая погода. Уже и не оставалось в теле никаких следов сегодняшнего сердечного сжатия. Нет, врачу пока не говорить.

Вернулись в Ставку — уже и чай пора пить.

Потом принял одного сенатора.

Надумал, что долго для Аликс — до завтра ждать его сегодняшнего ответа. Решил тотчас послать ей телеграмму с благодарностью за письмо. Как уже соскучился! Как хотелось к ним назад!

Отправил — а тут, одну за другой, принесли две телеграммы от Аликс. Одна была — вполне семейная и сдержанная (Аликс всегда очень стеснялась, что многие военные люди читают их телеграммы), другая — позже — открыто-тревожная: „Очень беспокоюсь относительно города".

Именно зная сдержанность её в телеграммах — можно было понять, насколько ж это *очень*.

Однако, почему не было никаких официальных телеграмм? Алексеев — ничего не нёс, и неудобно было к нему идти с телеграммой жены.

Были в Ставке сейчас великие князья — но все стали чужие, не хотелось с ними разговаривать.

Стемнело. Обедали — всё тем же размеренным, отвлечённым распорядком.

Однако, что-то расходилась в груди тревога. Не стала бы Аликс зря.

После обеда послал ей ещё телеграмму: поблагодарил за её телеграммы и твёрдо обещал, что послезавтра выедет в Царское.

Сели играть в домино.

Уже к концу игры пришёл дворцовый комендант Воейков — тоже в руках с чем-то — а по лицу было видно, что хотел бы Государю доложить. Николай встал, вышел с ним к себе в кабинет.

Телеграмма была от военного министра Беляева: что некоторые воинские части отказываются употреблять оружие против толпы (но кто им велел применять оружие?) и даже переходят на сторону бунтующих рабочих. (Это уже позор! — может ли это быть?) Впрочем, заверял Беляев, что всё будет усмирено.

А Воейков волновался. И доложил Государю настроение всей свиты (ни за обедом, ни прямым докладом, разумеется, никто не смел выразить): что положение в Петрограде очень тревожное.

Николай и сам уже не знал, что думать. Но владея собой, ничего не пообещал, вернулся доигрывать в домино.

Однако всё более разыгрывалось в нём, что в Петрограде тревожно.

Обращаться к Протопопову было излишне, этот умница знает, сообразит всё и сам. Голицыну — уже вчера телеграфировал, да и не очень надеялся Николай вселить в него мужество. Но прямо по военной линии, командующему генералу Хабалову (а знал он его совсем мелько) — надо было придать твёрдости.

И написал, и дал на отправку телеграмму:

„Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией. Николай".

59

Эти дни Михаил Владимирович не уклонялся предпринимать всё человечески-возможное для того, чтоб умерить народные волнения и остановить кровопролитие. Даже в часы напряжённого руководства думскими занятиями он не утомлялся участвовать в событиях по телефону, понимая ответственность, что при таком далёком отсутствии царя сам он из Второго Человека России превращается фактически в Первого. Он телефонировал этому тупице Хабалову, предупреждал, что будет обвинять полицию. И звонил градоначальнику, что сам сейчас поедет душу вытрясет из того полицейского пристава, произведшего аресты. И звонил военному министру: почему толпы не разгоняются водой из пожарных брандспойтов? (Тот и сам не знал, ему понравилось, позвонил Хабалову, но ответ был: существует запрет на вызов пожарников, потому что окачивание водой только возбуждает толпу.)

А сегодня днём Родзянко встречался с изнеможённым князем Голицыным, как бы сказать — для переговоров, хотя какие между ними могли быть переговоры! Вся страна разделилась на две неравные части: одна — народ, армия, общество, Дума и во главе их полный могучих сил Родзянко; другая — пересоренные между собой министры и во главе их последние недели этот дряхлый князь. Не переговоры, а Родзянко настаивал, чтобы правительство в полном составе поскорей подавало бы в отставку. А Голицын отвечал, что и рад бы подать, только и мечтает о покое, но боится неблаговидности как бы позорного бегства: слуга царя не может покидать пост в минуту опасности. В закоснелости монархической службы, если не прислушиваться к бурному народному дыханию,— это выглядело так, да. Но если нельзя вмиг спасти Россию в один день объявленным общественным министерством, то по крайней мере пусть же освободит Голицын свой кабинет от этого мерзавца пройдохи Протопопова! Ведь вся Россия вздохнёт свободно! Ах, ах, сокрушался Голицын, он и сам бы рад освободиться от Протопопова, но ведь тот поставлен и держится *не им*.

Так-то так. Однако поглядывая на любезного князя, не мог же Родзянко не вспоминать те три хранимые у него, в минуту откровенности показанные вариантные указы: о полном роспуске Думы и назначении новых выборов будущей осенью; о роспуске её до окончания войны; или перерыве на неопределённое время. Никакой силы не было у правительства, ничто! — однако в любой день этот расслабленный старик мог добиться роспуска Думы — и историческое злодеяние свершилось бы! Эту встречную угрозу Родзянко тоже должен был учитывать для осторожности своих грузных поворотов.

Всякую угрозу Государственной Думе воспринимал Родзянко с острейшей тревогой, да острее, чем если бы грозились убить его самого! Опасностью роспуска Думы он как сам был душим за горло. Ведь Дума — единственный источник правды в России, единственный светоч для её растревоженных умов. Депутаты Думы — единственные выразители воли народа. Если распустят эту Думу — кто же поддержит бодрость и мужество в стране, а особенно при военных неудачах? Дума — это единственный сдерживающий центр. В случае роспуска Думы — в стране воцарится глубокий мрак, вся страна будет бесконтрольно отдана в руки Протопопова, царицы, распутинского кружка и немецких шпионов! (Жена Михаила Владимировича с декабря считала, что и царь преступен.) Дело несомненно покатится к сепаратному миру и позору России.

А для себя самого — Михаил Владимирович не видел тогда другого исхода, как арест и высылка.

Эти мрачные предвидения носились уже несколько месяцев, после ноябрьского конфликта с властью, когда удалось прогнать Штюрмера. Они ещё накалились в декабре после громогласных общественных съездов. А в январе Родзянко приглашал к себе нескольких предводителей дворянства и прямо просил их: в случае его предвидимого ареста (ссылки в Сибирь или даже повешения) стать вместо него на страже интересов Родины: если Думу можно святотатственно разогнать, то уж дворянство нельзя ни разогнать, ни упразднить.

Эти предвидения уже месяцами носились, и Львов, Челноков, Коновалов звали Председателя приехать на их земгоровский съезд в Москве и там гласно всё выразить. И понимал Родзянко, что такой шаг мог бы изменить ход истории. Но не поехал. Достаточно того, что осенью он написал Государю предупредительное письмо об опасности вмешательства царицы в управление Россией — и письмо ходило по рукам. Теперь он, по своему укладу и значению, видел способ спасти отечество прямее: всеподданнейшим докладом у Государя, который непременно должен иметь место перед открытием думской сессии. Хоть Родзянко и есть Дума, но всё же он — и сам Родзянко, и как таковой находится в особом личном отношении к императору. Можно сказать, что доклады Родзянко царю были эпохами в истории России. Кто, если не Родзянко, объяснил в Пятнадцатом году, что в этой войне понадобится много снарядов? Кто, если не Родзянко, настоял на Особых Совещаниях по обороне?

Кто, если не Родзянко, отговорил Государя от создания диктатуры тыла? Кто, как не Родзянко, уговорил Государя снять Николая Маклакова с министра внутренних дел? Кто, как не Родзянко, в обстоятельном январском письменном докладе открыл глаза царю на ход всей войны, добросовестно изложил всё, что узнал от гениального дружелюбного Брусилова: и почему не Брусилов виноват в остановке наступления 1916 года; и какой у него плохой начальник штаба, но он может, впрочем, обойтись и без начальника штаба; и как на Румынском фронте дела обстоят ещё гораздо хуже, чем у Брусилова; и хотя не назвал нигде прямо Алексеева, но сам материал указывал, что во всех ошибках виноват Алексеев. Да никогда прежде Родзянко не чувствовал себя таким знатоком в военных вопросах, как в этом докладе. И перечислил многих бездарных генералов — Зайончковского, Цурикова, Сирелиуса,织знакова и других, не раз отставленных за провал дела и снова назначенных по неоглядчивой монаршей милости.

И как же обидно бывало, когда царь отвечал неблагодарно — то неконфиденциальным письмом, отпечатанным даже на машинке, то — сухим приёмом, как две недели назад, последний раз.

Этот февральский доклад Родзянко готовил с тёмной решимостью, как бы идя на медведя. Наконец, всё должно было быть высказано отчётливо, до конца, чтобы царь устрашился, и раз навсегда отшатнулся бы разгонять Думу, но — всячески укреплял бы общественные силы. Это должен был стать самый великий поворотный доклад изо всех докладов Председателя. И если Государь не станет читать и не даст прочесть полностью вслух, то лучшие фразы и главные мысли успеть ему выразить наизусть.

Что победа в войне уже невозможна без немедленного коренного изменения всей системы управления — это убеждение всей мыслящей России. Россия — объята тревогой, и тревога эта естественна и даже необходима. Она выражена — в резолюциях. Все успехи в снабжении армии обеспечены общественной самодеятельностью, а правительство ревниво недоброжелательно относится к патриотической работе. Единение страны вселяет в правительство страх, и вся Россия оказывается под подозрением. С горечью добавить, что наша общественная тревога передалась уже и союзникам. Многое в стране испорчено настолько непоправимо, что теперь даже если к делу управления были бы привлечены гении, то и они уже не смогут много исправить. Но тем не менее настоятельна и смена лиц, и смена системы управления. В новых лиц население будет верить! Государю невозможно узнать правду от нынешних министров, а только от Председателя. И вот она: необходимо не только сохранить Думу, но продлить её полномочия долее 5 лет, так чтоб захватить и мирные переговоры после войны. Если Думу тронут — то страна сама может восстать на защиту своих законных прав.

Скрывать от царя истину — преступно. И почему бы эти честные прямые слова могли бы не понравиться Государю, если б он способен был слышать правду?! Но Государь был замкнут и раздражён, не принимал родзянковской правды. Он то начинал папиросу, то бросал. Тщетно напоминал ему Родзянко о своих прежних добрых советах — Государь отвечал, что раскаивается в принятии их. И тогда Председатель, обуянный уже гневом, сказал:

— Ваше Величество! То, что вы делаете — раздражает население. Всякий проходимец всеми командует. Вас повели по самому опасному пути. Вокруг вас не осталось ни одного надёжного и честного человека. И вы, Государь, пожнёте то, что вы посеяли.

Тем отчаяннее Председатель всё это высказывал, что открытия Думы уже никак нельзя было остановить.

Ещё и сегодня грудь его ходуном ходила, когда он вспоминал тот приём.

А сегодня — снова готовился коварный удар по Думе.

Задыхаясь под высокими потолками своей квартиры, задыхаясь в её комнатах-полузалах, Михаил Владимирович, не одеваясь и с непокрытой полулысой головой, как был, вышел своей бычьей фигурищей на просторный балкон над Фурштадтской улицей, прямо против сербского посольства.

Тоже символ: он жил-сторожил клятву союзной верности.

Если Дума вмещала в себя чаянья народа, то тем более вмещал их в себя

Председатель. Он так и ощущал: свою грудь — собранной грудью всей России, свою громоздкую фигуру — её могучим корпусом, свой колокольный бас — её голосом. (А как его чествовали во Львове! — нисколько не меньше, чем царя. Даже и больше!)

Редкое сочетание, когда вся народная воля отчётливо собирается в одном человеке.

А сам он всегда подчинялся толчкам своего огромного сердца.

Сейчас толкало его, что при таких событиях надо совершить что-то очень большое. Энергично спасти Россию.

Как фигура уникальная, он должен был и действовать, ни с кем не согласуя, уникально.

Такое действие в его положении было одно: Второе лицо в государстве, он должен был обратиться к Первому.

Хотя Государь и не хочет слышать.

Обратиться — с грозным предупреждением.

С уразумлением, может быть последним.

Накатить ему в Ставку — громовую телеграмму! Оглушить, даже, может быть, несколько преувеличивая, но чтоб вывести из косности Верховного Главнокомандующего... (Уж сам бы на себя посмотрел! Зачем принимал на себя ещё это губительное Верховное Главнокомандование!)

Но разве он — внимет? Даже и могучему голосу? В который раз колотиться в нечувствительное сознание монарха?

Кого бы, кого бы ещё позвать на помощь, присоединить?..

И блеснула у Председателя светлая догадка: не царю посылать телеграмму! не царю, он безнадёжен! А послать — нескольким Главнокомандующим фронтами. Во-первых, Брусилову, с которым замечательное взаимное понимание, он энергично поддержит. Затем Рузскому — он всегда хорош к Думе. Ну и, по команде, придётся Алексееву, хотя он человек неприятный. И хватит, Эверту не надо. Телеграфировать — им, и взывать, чтобы *они* присоединились и *они* умоляли царя!

Гениально! Тогда телеграмма не останется частным шагом, но — распространится по обществу, но явится — на суд, на позор и во свидетельство!

И что тогда ответит царь перед лицом всех?? Не укроется!

Родзянко уже осенью предлагал Милюкову коллективный доклад царю. Чёрствый Милюков отклонил как неконституционный шаг.

Да думцев царь и не послушает. В Петрограде таких голосов нет.

Но — прислушается к Главнокомандующим!

Какой план!

Фразы накатывались громыхающими колесницами! Родзянко потопал с балкона в кабинет — и перьевидной четырёхгранной полуаршинной красной ручкой набрасывал вершковые буквы, не помещаемые ни в какой телеграфный бланк.

В Петрограде — паника от полного недоверия к власти, не способной вывести страну. Голодная толпа вступает на путь анархии стихийной и неудержимой. Транспорт, продовольствие, топливо? — да что говорить... Развиваются события, которых сдержать будет невозможно, ценою пролития крови... Жизнь страны в самую тяжёлую минуту... России грозит военное поражение и унижение...

(А если ещё будет распущена Дума — так просто армия о т к а ж е т с я с р а ж а т ь с я. Так говорил Брусилов.)

...И единственный выход — это призвать *лицо, которому может верить вся страна*... За которым пойдёт вся Россия, воодушевившись верою... В этот небывалый по ужасным последствиям и страшный час — нет иного выхода на светлый путь... Промедление — смерти подобно!..

(А такое Лицо, такое Лицо... Ну, должны догадаться сами.)

И Председатель Думы просит его высокопревосходительство ходатайствовать перед Его Величеством...

Грандиозно задумано!

Потом подумал — послал и Эверту.

60

Ваське Каюрову по линии революции всю жизнь доставались одни ответственные должности. Сенгилеевский деревенский паренёк, сын сельского ткача и присучальщицы, задавленный патриархальным религиозным бытом, он мальчишкою собирался едва не в схимники. Начитался потом вперемешку Еруслана Лазаревича и Рокамболя, но ещё и плотником судостроительной верфи в 20 лет пугался как чертей этих страшных „социалистов", какие ни в Бога не верят, ни царя не признают. Только уже подрастя да женясь, по за 24 своих годка, стал он к этим социалистам притрагиваться на сормовском заводе,— а смотришь и получил свою первую ответственную должность: кассир социал-демократической сормовской организации. (Там и познакомился с писателем Горьким и на его квартире сам получал от певца Шаляпина 100 рублей в свою кассу, только имени не указывать.) А тогда ж и поучаствовал он в выпуске листовок, после чего пришлось уйти с завода, и в том же Сормове мог он работать только в рабочем обществе потребителей, где и каждый пятый был партийный работник,— и тут Каюров стал ещё более ответственным: книжный и железо-скобяной отделы кооператива распространяли нелегальную литературу, взрывчатые вещества и оружие. Сам Василий лично хранил 265 револьверов, а ещё выменивал у эсеров динамит за листовки, отпечатанные для них в кооперативной типографии. Но после сормовской свободной республики осенью Пятого года и декабрьских там боёв пришлось Васе Каюрову оттудова смываться, а ехать в свою родную деревню Тереньгу, где тоже он без дела не сидел, но со временем создал нелегальный социал-демократический кружок — и взяли его в тюрьму, и жестоко не отпустили даже помочь семье убрать урожай — а сослали под гласный надзор в Самарскую губернию. Потом уже не мог он работать в Сормове, а только в Нижнем, перед войной переехал в Питер — модельщиком на Новый Лесснер, потом и на Эриксона — и тут опять не миновала его ответственная должность руководителя страхового движения. Перед самой войной, когда буянили на Выборгской, складывал Каюров баррикаду у себя в Языковом переулке, а в войну на Эриксоне непримиримо боролся с гвоздёвскими ликвидаторами, даже и табуреткой. Так постепенно выдвинулся он в Выборгский большевицкий райком, и даже последние недели секретарь его.

А прошлой ночью арестовали весь ПК, кроме Шутко, и нонче утром назначил Шляпников весь их выборгский райком в полном составе быть и Петербургским комитетом.

Поднялся сенгилеевский, сормовский парень до высоты, какая ему и не грезилась: всем Петербургом управлять!

Ну, разорваться! Куда кидаться? А тут воскресенье: кто по домам рассыпан, кто по городу, не то что рабочих не собрать поговорить, а даже и своих райкомовцев. Кинулся и Васька гонять по Невскому, по Лиговке.

Стреляют царские сатрапы, не дрогает ихняя рука! А тут ещё какой-то дурий броневик проехал по улицам, своим стуком и железным грохотом буквально панику навёл среди рабочих, хотя и не стрелял. И в этом громыхании броневика исчезали яркие краски пока видимо несбыточных мечтаний. Рабочие волнения явно ликвидировались.

Заходил Каюров в казармы к казакам — на улицах они сочувственно себя вели. Но в переговорах ничего не обещали. Да рядовой казак — как за всех пообещается?

Так и день прошёл. Вечером решили собрать райком. Но после провала ПК ни одна квартира члена не безопасна, могут захватить? Решили пойти на огороды, уже в темноте.

Там и отаптывались на снегу. Обсуждали, и так больше склонялись, что забастовку надо кончать.

Да хоть бы и не решили, так сами рабочие наверно завтра кончат.

В это время доглядел Каюров, что кто-то толкается среди них в солдатской шинели. Переполошил всех: это кто такой среди нас? зачем? Всё слыхал, что мы тут говорили! Да это, мол, дружок. Да как можно непроверенных това-

рищей пускать на подобные заседания, когда обсуждаются вопросы чрезвычайно важные!

Оказалось, этот товарищ — из броневого дивизиона.

— Так почему ж вы нам не помогаете? Это ваш был броневик, ездил сегодня?

Ихний.

— А мы-то перепугались! Зачем же вы выезжаете на улицу, ободряете полицию и вносите замешательство в рабочие ряды?!

Да вот, если своих убедит, так ещё и помогут.

— Так — убедите! А пока — покиньте, товарищ, наше заседание!

Ушёл в темноту. Ещё и без него побузовали, а решить — ничего не решили. Мороз крепчает, ноги мёрзнут, у кого не в валенках.

Да зря мы на огороды погнали, своей тени боимся.

— Ладно,— объявил Каюров,— завтра утром пораньше, прямо с семи часов ко мне на квартиру собираться. Там и решим — кого чего.

61

В разговорах неслужебных, какие бывали у него нечасто, всегда коротких и только с лицами, близко окружающими, генерал Алексеев говорил о себе: „Я — кухаркин сын, я человек простой, из низов, и знаю жизнь низов, а генеральские верхи для меня чужие". А уж тем более — слои династические и высшего света.

И это было говоримо искренно и во многом правильно, хотя не так уж прямо он был кухаркин сын, лишь потомок крепостного, а сын бедного пехотного штабс-капитана, участника севастопольской обороны. И училище он кончил пониженное, юнкерское. И службу начал под турецкую кампанию прапорщиком, и 9 лет не дослуживался даже до ротного. Но без знатностей, без связей, без заступ, он поднимался своим редкостным трудолюбием и упорством, всего в жизни достиг одними своими трудами. В Академию поступают после трёх лет армейского стажа, Алексеев поступил после одиннадцати. Но после Академии, при кропотливости и аккуратности вниканья в каждое дело, вскоре стал и в самой Академии профессором истории русского военного искусства. Однако и ему и другим проявилось, что нет, не его призванье преподавать, да началась японская война, и Алексеев ушёл на неё уже генерал-квартирмейстером армии, то есть вторым начальником штаба, там он уже возвысился через успех на штабных должностях, прямо для него и созданных, да и был уже генерал-майор. Затем, генерал-квартирмейстером же, служил он и в Управлении генерального штаба и в Киевском военном округе, у Сухомлинова, затем у Иванова, и тут на манёврах 1911 года очень понравился Государю своим обстоятельным разбором операции. Это запало Государю (да такие-то скромные, работящие, неназойливые ему всегда и нравились) — и сказалось в войну. С началом её Алексеев оторван был от 13-го корпуса, шедшего в Восточную Пруссию (и совсем бы иначе могла бы пройти та зловесчастная операция, если бы там был Алексеев, а не Клюев),— и стал начальником Юго-Западного фронта при Иванове. Всё такой же исступлённо-аккуратный, со вниманием к каждому вопросу, хоть крупному, хоть мелкому, но среди генералов на редкость независтливый и даже кажется мало честолюбивый, он разработал ту галицийскую операцию 1914 года, которую Рузский и Иванов только портили, но получили всю славу они, Рузский — и генерал-адъютантство, а скромный Алексеев — лишь крестик Георгия 4 степени, как получают младшие офицеры. Но хотя понёс невольную обиду, а не травился ею. Он и не умел напоминать о своих заслугах. А доверие и милость Государя не оставляли его, и с начала 1915 года он перенял от заболевшего (или уклонившегося?) Рузского главнокомандование Северо-Западным фронтом (ещё не разделёнными тогда двумя фронтами — Северным и Западным), 37 армейских корпусов — три четверти всей воюющей русской армии, и это в год, когда предстояло отступать из варшавского мешка, четыре месяца отступать по всему фронту без снарядов и с недостачею даже винтовок, принять на свои незаметные плечи бремя, которого русская армия ещё не знала. Многие горячие офицеры обвиняли Алексеева в „мании отхода", что он „сохраняет живую силу, но топит дух", и сам он, удручённый, счёл себя достойным лишь увольнения или снижения: тактика непрерывного ускользания из множества окружений, которую он ставил себе в заслугу, вдруг и самому ему, по результатам, представилась тактикой капитуляций. В августе 1915 он просил у Николая Николаевича увольнения: „несчастливая у меня рука". Но, напротив, в те дни увольнение нависло над самим Николаем Николаевичем, а Государь, принимая Верховное Главнокомандование, назначил своего любимца начальником штаба Верховного,— и недоброжелатели

Алексеева говорили: „сдал все крепости немцам и получил повышение". В те самые августовские дни прозначилась ещё худшая угроза, только она не была подхвачена газетами, не понята публикой, так почти и не узналась: 8 немецких кавалерийских дивизий вступили в разрыв нашего фронта между Двинском и Вильной и грозили пройти к Орше и к самой могилёвской Ставке. И в эту свою первую в Ставке — и лучшую — операцию Алексеев беззвучно остановил немецкую кавалерию перед Глубоким и Молодечно — не имея резервов, на ходу создавая новую армию Смирнова, целые корпуса перебрасывая кружным путём через Оршу на Двину.

При таком Верховном как Государь, не ведшем реально ни одной операции, ни одного организационного дела, Алексеев стал по сути не начальником штаба, а бесконтрольным Верховным Главнокомандующим всех сил России. Но и так поднявшись, он нисколько не переменился — ни в образе своей работы, ни в ровном спокойном обращении с подчинёнными, ни в равнодушии к высокопоставленной публике, не стал думать о себе иначе, чем раньше, голова его не вскружилась нисколько. Как и прежде, в любом низшем штабе, он готов был бы вообще не подниматься от стола, ни даже для завтрака и обеда, так и умереть с цветными карандашами над картой или с пером над бумагой. Он звал только один интерес: детальное проникновение в каждый вопрос и точное содержательное решение его. И он настолько был предан работе, что не мог разрешить какой-либо части её пролиться мимо своей головы. Никто не мог ему помочь, никто не мог облегчить его труда, да он тогда и не чувствовал бы себя самостоятельным. Он и не умел выбирать помощников. Он избегал и всяких совещаний, даже и с главнокомандующими: от совещаний затуманивается мысль, колеблется воля, и решения принимаются какие-то средние. И он даже почти не просматривал планов, которые подавало ему оперативное отделение: он должен был составить и решить всё сам, охватить всё до мелочи самолично и даже лучше — собственной рукой исписать все приказы, собственным бисерным чётким ровным почерком.

При нём по штату не мог не состоять его ближайший помощник генерал-квартирмейстер, и Государь хотел назначить хорошего строевого начальника, популярного в армии, Щербачёва или Абрама Драгомирова. Но Алексеев настоял на Пустовойтенке, которого притащил с собою с Северо-Западного. Это был совсем не самостоятельный генерал (он продвинулся от женитьбы на дочери крупного артиллерийского генерала), ничего не умеющий, на уровне старшего писаря, и никакой не боевой,— но то-то было и хорошо: другой бы спорил с Алексеевым, а спорить ему некогда. И уговорил Государя: больших командиров нельзя брать с фронта, а обойдёмся и этим. При Пустовойтенке зато Алексеев не пропускал мимо себя никакой работы, а какие телеграммы приличней было подписать Пустовойтенке — Алексеев сам ему составлял и подносил подписать. (Принести, поднести какую-нибудь справку подчинённому он никогда не считал унижением.)

Но чем серьёзнее относился Алексеев к каждому, даже мельчайшему вопросу, тем больше он увязал во всех них. И иногда охватывало Алексеева безнадежное прозрение, что одному — никак не управиться.

А вожжи военного руководства ещё как иногда непредусмотрительно расползались. Например, наступление 1916 года было твёрдо решено производить Эверту, а Брусилову — лишь побочную демонстрацию. Однако Брусилов имел против австрийцев лёгкий успех — а Эверт тупо начал и вскоре вовсе отказался наступать. И надо было Алексееву одному, не с Государем же, мгновенно решать: или вообще отказаться от наступления этого года — или перебрасывать по узким железным дорогам громоздкие силы от Эверта к Брусилову, терять время, быть опереженным немцами,— и ни одно, ни другое решение не были удовлетворительны.

И вот для таких случаев и чтоб ослабить свою нечеловеческую нагрузку, Алексеев возил за собой своего друга, однополчанина Борисова — для скрытой проверки с ним своих стратегических замыслов, он считал того стратегом гениальным. В молодости Борисов был чуть не настоящим революционером, но потом утянулся в военную службу, стал генерал-майором, однако подвергся увольнению за статьи в газетах, за разглашение, побывал даже и в психиатрической больнице. И вот его содержал Алексеев при Ставке без всякой официальной должности. Борисов жил тут же, в соседней комнате генерал-квартирмейстерской части, рядом с Алексеевым. Оттого ли, что не обязан никому показываться по службе, никуда не выходил, но и не следил за своей наружностью, был небрит, засален, неряшлив — и только подавал Алексееву стратегические идеи во вдохновенные минуты.

Последнее время стал Алексеев осознавать свою ошибку и с Пустовойтенкой, но не смел его упрекнуть, а тем более удалить из Ставки — он не умел быть жестоким, не умел избавляться от преданных людей. (Это самоуправно сделал во время его болезни налетевший сюда крутой Гурко.)

А Государь во время ежедневного выслушивания докладов постоянно во всем был согласен с начальником штаба (иногда, может быть, рассеян, иногда не вполне вникнув) и если вмешивался, то только по иным личным назначениям. (Государь часто

прощал провинившихся генералов и склонен был назначить их вновь на равные должности и даже на прежние посты, не задумываясь, как же теперь к ним отнесутся подчинённые.)

Государь был привязан к терпеливому ровному характеру своего *косого друга*, к его тихой душе — такой же, как у него самого. Он — просто полюбил Алексеева. Такие симпатии бывали у Государя глубже, чем расположение к мировоззрению или политической линии министра. И он уважал военный опыт и знания этого генерала, и особое душевное доверие вызвал в нём Алексеев своей неподдельной религиозностью: он не только усердно молился, и долго стоял на коленях и отбивал поклоны на своём незаметном месте у колонны в штабной церкви, как (знал Государь) и в кабинете, не только крестился перед каждой едой и после, но молитва и вера были его постоянной настоятельной потребностью.

Также и Алексеев был приворожен мягкостью, сердечностью и простотою Государя, особенно удивительными на троне и особенно ощутимыми при ежедневном тесном общении. К тому же не мог он быть не благодарен ему за доверие и за своё невиданное возвышение. И не мог не сочувствовать Государю, близко видя нелёгкое его положение и против штурмующего общества и с великими князьями. Самому-то Алексееву вид и разговоры всех этих сиятельных и титулованных были тошнотворны, и он не только не тянулся находиться среди них, сидеть за императорскими обедами, как был постоянно приглашён,— но то большая была бы для него тягость, неделован потеря времени и отвлечение (и отвращение) — и он раз навсегда отпросился у Государя обедать в штабной офицерской столовой.

Однако привязанность Алексеева к Государю должна была пройти и большие испытания. Минувшим летом императрица, приехавши в Ставку, взяла генерала под руку и водя по саду уговаривала его открыть Распутину доступ в штаб. Со смущением (обычным у неё, когда надо объясняться по-русски, но генерал не знал ни одного языка), она убеждала Алексеева, что он несправедлив к „старцу", что это — святой и чудный человек и посещением Ставки принёс бы большое счастье войскам. Алексеев, однако, не поддался и прямодушно ответил:

— Как только он появится в Ставке, я, Ваше Величество, тотчас буду вынужден уйти с занимаемой должности.

Государыня выдернула руку и удалилась, не попрощавшись.

Алексееву показалось, что с этого момента Государь к нему несколько охладел. (Хотя он и сам, ещё в начале их пребывания в Ставке, стеснительно попросил Алексеева о том же, получил отказ, но не обиделся. И даже — Алексеев брал на себя смелость уговаривать Государя устранить Распутина подальше, а тот терпеливо отвечал, что это — личное частное дело, никакого поста Распутин не занимает.) Но не мог Алексеев довести себя до посмешища визитом Распутина в Ставку.

Такое наступило в России время, что ни один образованный человек не мог заниматься просто своим делом, но ещё и непременно врезывалась в него политика. И если он ею, по отвращению, не заинтересуется, то, поднявшись в начальники штаба Верховного, станет для неё весьма интересен. Да и кто куда мог уйти от общественных представлений, если, едва выучась грамоте, а уж тем более в гимназиях, всякий русский подданный первое что узнаёт: что наше правительство никуда не годится. Общество, образованный класс всегда действовали именно доводами и невозможно было возражать их логике, их свободный вольный умный язык убеждал, нельзя было найти разумного ответа, почему например Распутин или другие несуразные лица и куклы могут толпиться подле трона? Да если даже все громкие гордые великие князья постоянно испытывали на себе властно поворачивающий общественный ветер, то безродному бессановному тихому генералу как остаться нечувствительным к этому ветру?

Да с общественными воззрениями, только более резкими, была прежде всего жена Алексеева, которая не выносила и самого Государя, говорила о нём с дрожью презрения как о лисьем хвосте, палаче, пробивателе лбов, отверженце природы, душевном калеке, духовном карлике, истукане, только и посланном для завершения всех гнусностей романовской династии, и что он — Николай Последний. (С таким названием была в Европе издана и книжка, богато иллюстрированная.) Так думали во всех либеральных кругах, да так же думал и Борисов, бывший революционер, и Пустовойтенко, пригревший в Ставке на цензурном отделе и при секретных документах — поручика Лемке, вовсе эсера. В неслужебных разговорах от своих этих генералов наслушивался Алексеев всяких политических крайностей, которых не разделял сердцем.

Но жена настолько не владела собой в отношении к царю, что супруги из благоразумия установили, чтоб ей никогда не приезжать в Ставку, когда Государь здесь, дабы не встретиться ни на минуту и не исказиться лицом. А Государь удивлялся, почему так совпадает, что жена начальника штаба приезжает всегда без него, а раз и спросил шутливо: может, она избегает встретиться? Алексеев ответил, что просто в отсутствие Государя он свободней. Но после того вызвал её раз и при государевом пребывании.

Хотя эти убеждения, женины и сотрудников, не завладевали Алексеевым, но не оставались без последствий. Они как бы давили на него сбоку и смещали. По ним он дважды мягко отказывался от предложенного ему звания генерал-адъютанта, чтобы не причислиться к „придворной клике", и не носил ордена Белого Орла, а Государю нравились его отказы, он приписывал их скромности, вряд ли когда задумываясь, что у генерала Алексеева могут быть свои отдельные политические симпатии. Но прошлой Пасхой Государь прямо принёс генерал-адъютантские погоны и аксельбанты в подарок — уже нельзя было не принять, хотя смущённо лепетал Алексеев: „не подхожу я, не подхожу... ".

Однако весь этот сбой не мешал безупречной военной службе Алексеева. Военные соображения он ставил выше всякой политики, да „внутреннюю политику" вообще не любил, не понимал, зачем такая и нужна. Но сложность современной войны обступала со всех сторон, и Алексееву приходилось подолгу заседать с приезжающими в Ставку министрами или деятелями тыла, обсуждать финансы, промышленность, транспорт, снабжение, продовольствие, коннозаводство. И хотя в этих изучениях он всё больше склонялся (и убеждал Государя) к необходимости единой диктатуры тыла, а значит ограничения Земгорсоюза,— его отношения с Земгором, как и со всеми либеральными деятелями и думцами, оставались наилучшими. (Всё же рекомендовал он мягко князю Львову уменьшить число евреев в Земгоре до приличной доли.)

Назначение генерала Алексеева начальником штаба Верховного было в России той редкостью, что на нём сошлись и выбор императорской власти и симпатии общества. Государь считал его верным слугой монархии, думцы — тайным республиканцем. И по происхождению, и по окружению общество угадывало в нём своего, и постоянно его хвалило, и он радовался такому двустороннему доверию. И в особенности своего обоюдного положения Алексеев начинал даже видеть возможность примирить царя и общество. И он решился давать Государю советы по гражданскому управлению: то — запретить в газетах белые места, дразнящие всех, то — отставить Штюрмера, так невыносимого для общества. Скромно воздействовать, чтобы Государь перестал слушать дурных советчиков.

Но не этого от него хотели, больше. Гучков ли, Коновалов или князь Львов, кто б с той стороны ни беседовал с Алексеевым, казалось им, встречали в этом тихом генерале полное согласие, что в российской жизни многое загубляется правительством или *тёмными силами*. И стали поступать с генералом довольно бесцеремонно, или даже непорядочно. Стали намекать о каких-то планах: то ли арестовать и сослать царицу, то ли вынудить из Государя министерство общественного доверия. Такие действия будто должен был совершить кто-то в тылу, в Петрограде, а Алексеев в нужную минуту чтобы занял позицию, помогающую плану. Алексеев даже немел от этих развязных предположений, и всегда возражал, что никакой переворот не допустим во время войны, он создаст смертельную угрозу фронту.

Гучков использовал имя Алексеева просто как адрес для своего обличительного письма, которое и пустили по рукам, вовсе не Алексееву и предназначая. Это письмо едва не погубило добрых отношений генерала с Государем, сильно надломило их. Алексеев испытал и унижение и опасность до того, что он почувствовал себя накануне отрешения от поста. А пост был дорог ему не сам по себе, но ради той работы, которую открывал, ради того решающего удара в марте 1917 по Австрии, до полного её развала, которому уже столько послужено от первых дней Алексеева в Ставке. История с этим гучковским письмом так потрясла Алексеева, что вспыхнула его застарелая болезнь почек — и до того, что в ноябре он готовился умереть: уже причастился — и охлаждающая тень Отхода уже отодвинула все эти мелкие беспокойства, и отлучила от войны, которую он вёл так пристально. И со спокойным чувством отдавался Алексеев Господнему отзыву: что он всю жизнь трудился для России, а своего не искал.

Но после причастия стал оживать. А Государь милостиво отпустил его в Крым, полечиться месяца два-три, ещё успевалось до великого наступления.

Однако развязность общественных деятелей оказалась такова, что они добивались видеть Алексеева и в Севастополе, где он провёл месяц между жизнью и смертью, потом стал поправляться. Там посетил генерала князь Львов и заводил разговор о перемене внутренних порядков, о настроении фронта в случае переворота. А Алексеев был и болезнью изнурён, и утеснён душой от этих неприличных домоганий,— уж научило его гучковское письмо, чем могут кончиться такие легкомысленные разговоры.

В Севастополе Алексеев стал получать для работы материалы, как готовится главная операция. А к 20 февраля приехал в Ставку сам, ещё с температурой, полубольной, чтоб не упустить последний месяц подготовки. Это наступление становилось — делом всей его жизни. Ничего сравнимого по значению он никогда не готовил. Для успеха этого наступления он погасил, не дал помощи брать Босфор, как просили моряки. Для успеха же этого главного наступления, где понадобится каждая часть, а особенно гвардейская, Алексеев много месяцев противился и просьбам Государя (тот часто не имел воли настоять, а только просил) послать в петроградский гарнизон крепкие гвардейские части.

И вот, недолеченный, он воротился в Могилёв пять дней назад, и успел встретить Государя, тоже два месяца не бывшего в Ставке. Гучковское ли тогда осенью письмо или эта долгая разлука сказалась: прежние устойчиво-доверчивые отношения с Государем если и восстанавливались, то ощупью.

Алексеев сразу ввергся в полную работу, прорабатывал результаты петроградской конференции союзников, и ещё читал всю переписку за время своего отсутствия,— и снова одолела его слабость, поднялась температура, и врачи потребовали несколько часов в день лежать.

Именно в это время начались волнения в Петрограде, которым однако не было основания придать серьёзное значение. Сами петроградские власти и правительство два дня даже не сообщали о них вовсе, первое сообщение было от Хабалова вчера вечером и указывало на эпизодичность волнений. Второе — сегодня днём, не тревожнее, хотя в одном месте взводу пришлось открыть огонь.

Укрепление петроградского гарнизона не произошло и в месяцы отсутствия Алексеева — и не ему же теперь было торопиться, не с этого начинать. Да почему надо было вообразить Петроград более опасным местом, чем любая точка передовых позиций? И почему бы наштаверх должен бы заботиться о внутренних делах больше, чем о военных?

Уже поздно вечером сегодня, в половине одиннадцатого, пришла вдруг захлёбная телеграмма от Родзянки с грозными выражениями. Но Родзянко и всегда выражался чрезмерно, с подавляющей самоуверенностью, что только он один всё знает. Да ещё эта прозрачно-хитрая попытка воспользоваться петроградскими волнениями, чтобы выдвинуть себя в председатели совета министров.

Государь не любил поздних вечерних беспокойств, да и Алексеев не видел причины выпереживаться. Он испытывал озноб и рад был лечь. Будет завтра в половине одиннадцатого рядовой доклад Государю — тогда и доложится родзянковская телеграмма.

62

* * *

Весь день, кто с телефонами, много телефонировали. Узнавали и передавали новости. Все советовали друг другу запасаться водой, и наполняли ванны. В телефоне косвенно слышались, скрещивались и другие напряжённые, поспешные разговоры. Барышни отвечали невнятно, забывали взятый номер, переспрашивали нервными голосами. Приходилось ждать соединения и по 10 минут.

А многие спешили сегодня посетить друг друга: ждали осадного положения, а тогда долго не повидаться.

* * *

А кто — и мирно пил на Невском кофе.

Днём состоялось неторопливое заседание членов „Общества славянской взаимности''.

Таврический и Летний сады были закрыты.

* * *

Одни говорили: солдат переодевают в полицейские шинели, чтобы казалось больше полиции. Другие говорили: полицейских переодевают в солдатские шинели, потому что им стыдно своих мундиров.

* * *

К вечерне гудел колокол Исаакия, и закатное солнце попадало лучами через взнесенные окна. А народу внутри немного: женщины, пожилые мужчины, набожные солдаты.

Поперек улицы Гоголя — шестеро конных полицейских.

* * *

В образованном слое побеждала мрачность: вот и стреляют, началась расправа. Вот и убитых — сорок? четыреста? многие сотни?

Интеллигенция уверена была, что теперь много крови прольётся. Настроение мрачное.

* * *

Известный адвокат Карабчевский с женой и гостем поехали в автомобиле в Мариинку. Но хотя был самый балетоманский абонемент и танцевала выдающаяся балерина — в театре было пустовато. Да ведь у кого нет своего экипажа, автомобиля — так надо пешком, и ночью назад. (Никак не думал Карабчевский, что и сам последний раз едет, завтра его автомобиль отберут и угонят.)

После спектакля намеревались ехать, как всегда, ужинать у Кюба — не поехали. Неуютно на улицах.

Пикеты. Костры.

* * *

Поздно вечером, уже после театров, на Фонтанке ярко светился дом князя Леона Радзивилла, перед ним дожидался длинный ряд экипажей, автомобилей (и великого князя Бориса тоже). Был в разгаре бал, даваемый княгинею.

* * *

Вечером на квартире у Керенского, за Таврическим садом, состоялось заседание „информационного бюро социалистических партий''. Просто — несколько ведущих социалистов пришли потолковать, как у них велось периодически. Но кто и, ожидаемый, не пришёл. От большевиков — один, второстепенный.

Сам Керенский весь день, кроме короткого часа с восстанием павловцев, был настроен мрачно: был уверен, что волнения жестоко подавят, и полностью распустят Думу. А тогда он лишится депутатской неприкосновенности — и его тотчас арестуют за последнюю дерзкую речь.

Но даже и Кротовский-Юренев от межрайонцев, самых отчаянных, категорически заявил, что никакой революции нет и не будет, движение сходит на нет, и нужно готовиться к долгому периоду реакции.

Все шансы на революцию рушились. Помощи ждать неоткуда.

* * *

На Литейном проспекте при красноватом свете костра перед строем расхаживал офицер. Из группы штатских с тротуара крикнули: „долой офицера!'' — и убежали. Солдаты не двинулись.

* * *

Шляпников по безлюдным улицам, через цепь на Литейном мосту, угнал опять к себе на Выборгскую, на квартиру Павловых.

Говорят, рабочие на Выборгской толкуют: хватит нам ходить на убой на Невский.

Марья Георгиевна слышала от соседки, будто в каком-то полку сегодня что-то было, какой-то бунт.

Но — никто больше не слышал. И Шляпников, вот, в городе был, не слышал...

* * *

Ночью с башни Адмиралтейства бил по вымершему Невскому синеватый луч прожектора.

63

День рождения Ликони был 29 февраля, несчастливый Касьянов день, в четыре года раз. Но когда выросла — стала в этом находить необычайность. Появлялась мода на дни рожденья вместо именин — а её дня не уловишь, всегда какой-нибудь рядом. Вот собрались друзья в воскресенье, малочисленнее обычного, из-за городских волнений.

Граммофон пел о любви, танцевали.

И Ликоня танцевала, но меньше других, и была как не с ними. Ей этот праздник был как и не праздник, и не в этом праздник, а самое счастливое она держала в глубине. И двое смотрели на неё требовательно, и Саша пытался отвести и внушать что-то о стрельбе, о моменте. А она так двигалась осторожно, чтоб не сломать и не отпахнуть внутреннего.

И вдруг очнувшись: а может н и ч е г о н е б ы л о? И, тайком скользнув к себе в комнату, смотрела записку.

Было! Всё — так. И — вот эту руку он поцеловал. Как налил её душу горячим восторгом — и теперь он еле подстывал, как тёплый воск. Всё внутри заполнял.

И — рада Ликоня, что она может чувствовать так! (Она уже боялась, что не может.)

И опять двигаться среди гостей, улыбаясь.

И представлять его улыбку — какая у него победная, щедрая, тёплая.

Но он — и другим всем так улыбается?

Он наверное не любит и стихов.

Но любит театр.

Меняли пластинки. Отзывалась, пропустив вопрос.

Тогда, в компании, он кому-то говорил, ярко, свободно, она не всё слышала. И впервые такое чувство: не хочется, чтоб он всем говорил, а — только бы ей.

Так нужно было к нему! Сейчас, будь он в городе, бросила бы их всех, именинных,— побежала бы к нему в гостиницу в туфельках по снегу, придерживая платье, чтоб не путаться,— мимо этих патрулей с кострами, расставленных.

И — стала бы у двери его: впустите!

64

И сегодня поздно вечером снова было назначено экстраординарное заседание совета министров, и снова не в Мариинском дворце, а в квартире князя Голицына на Моховой. И снова Александр Дмитриевич Протопопов туда опоздал, засидевшись на приятном обеде у Васильева, начальника Департамента полиции. Приехал, вошёл туда в лиловатом костюме, в десертном разгорячении,— в квартире князя Голицына показалось ему ещё темней, чем вчера, ещё напуганней, глуше, да и людей меньше: не было никого вызванных, и министры не все.

Протопопов вошёл к ним в легкопобедном состоянии: уличные волнения явно кончались, стрельба отрезвила толпу, ещё прежде сумерок наступила в столице тишина, войсковые наряды полностью владели пустынными улицами. Да Васильев ещё доложил, что за сегодняшний день арестованы, кроме пятерых самых главных ночью, ещё 141 зачинщик-революционер. Кто именно такие — Протопопов не переспрашивал, он в революционерах разбирался слабо, но факт тот, что арестованы, может быть и не 141, но результаты налицо — очевидно, всё кончилось.

И он был очень удивлён, застав среди министров совсем другое, растерянное состояние. Тут уже до него Покровский и Риттих докладывали о своих переговорах с думцами и ответе Маклакова, что распустить Думу вовсе не может быть и речи, произойдёт общественный взрыв, допустимо прервать на несколько дней, но чтобы правительство немедленно ушло в отставку, и целиком всё, и чтоб новые министры были „приемлемы для страны", а новый премьер популярен — и лучше всего генерал Рузский.

Вот как?? — роспуск Думы уже не зависел от Верховной императорской власти, а напротив — Дума диктовала распуститься самому правительству? И министры — так устали, и так равнодушны, и так сами хотят уйти в отставку некоторые, что кажется и готовы к роспуску? Голицын — не имел решительности ни на что. Маленький Беляев сидел совсем неподвижно, молча, как отсутствующий или неживой. Покровский — склонял к отставке. (Сам он, конечно, рассчитывал, что попадёт и в новое правительство.) Шаховской, правда, вспомнил, что в Пятнадцатом году в августе тоже казалось страшно распускать Думу, а обошлось спокойно.

И Протопопов, с изумлением вскинувшись на одного, другого, третьего, пришёл в нервное состояние — и начал к ним взволнованную речь. Неужели они не понимают, что Дума-то и будоражит улицу, и пока её не разогнать — ничто не стихнет. Но даже если бы состоялось соглашение с Думой — это не решает улицу, там нужна правительственная твёрдость, и вот она проявлена, и результат налицо. Да например только сегодня Департамент полиции арестовал... ну, больше сотни революционных вожаков, и это дало эффект. Да и потом: как может правительство само распуститься? — такого нет готового бланка, чтоб его подписать и разойтись. Значит, составлять коллективную просьбу к Государю, как в августе Пятнадцатого? — так мы только разгневим Его Величество окончательно!

Да понимал Протопопов, что они готовы пожертвовать только им одним. Но знал же и он за своей спиной царственную волю! Там — верили ему, и вся сила его была оттуда...

А князь Голицын, имея готовый, с государевой подписью указ о перерыве думских занятий, всё не решался вставить туда завтрашнее число. И значит, завтра с утра в Думе опять польются поносные речи?

Пока министры разноречили — князя вызвали. Воротясь минут через пятнадцать, он сообщил, что приезжали трое решительных и даже возмущённых правых из Государственного Совета: Николай Маклаков, Ширинский-Шихматов и Александр Трепов, недавний председатель этого самого кабинета. И они настаивали, что Дума превзошла все пределы, спасение — только в её немедленном роспуске.

И обсуждение склонилось. Проголосовали, некоторые удивляясь собственной смелости: в ночной тишине поджигали бикфордов шнур? Голицын, прихрамывая, сходил в другую комнату, принёс лист указа — и тут же при всех подписал.

Протопопов не мог скрыть ликования: вот этого последнего удара ещё только и не хватало для победы!

Возник ещё вопрос: а не объявить ли в Петрограде осадное положение? Этим запрещались бы не только всякие уличные сборища, но и выход из домов в определённые часы.

Но все предыдущие дни волнений такая мера казалась бы слишком крутой. А сегодня — может быть она уже и не нужна, успокоение достигнуто? А она бы — многих озлобила.

Да осадное положение требует и авторитетного сильного военачальника. А с тупым неуклюжим Хабаловым можно только набраться новых бед.

Тогда уж походатайствовать перед Государем о смене Хабалова? Да здесь же был военный министр (ни слова не произносивший). Просить его пока — что?.. Поговорить с Хабаловым, внушить.

Ещё пообсуждали продовольственное положение — и всё обсуждение

угасло. Да и света в гостиной будто недоставало, чтобы видеть ярко и ясно. И решили разъезжаться. Князю Голицыну предстояло теперь ещё о перерыве Думы телеграфно доложить Государю и сегодня же протелефонировать Родзянке.

Протопопов, любя свою свободную походку, свою лёгкость никому не подчинённого человека,— здесь, в столице, сейчас никому не подчинённого, зато вся столица находилась именно в его власти,— вышел из парадной двери и на пустынной улице, при военном патруле, дежурившем у дома Голицына, перешёл в ожидающий его автомобиль.

Сейчас он был свободен ехать домой, но подумал, что уместно было бы близ полуночи посетить подчинённое ему градоначальство: и всегда подчинённым полезно, когда к ним нагрянывают высшие власти, а сейчас даже и похвалить их есть основание, и как раз сейчас они там все собрались.

И он велел ехать на Гороховую, в пути не наскучивая наслаждаться автомобильным удобством, откидом спины на кожаные подушки, и мчаться. Велел ехать мимо Михайловского дворца, затем на Большую Конюшенную, чтобы миновать всегда неприятную городскую думу.

На иных перекрестках стояли ночные караулы, кое-где с малыми кострами от изрядного ночного мороза. Разъезжали конные наряды казаков. На башне Адмиралтейства повесили прожектор — и он призрачно светил вдоль Невского. Проспект, всегда в это время кишащий толпою, был пуст. Иногда проходили другие автомобили, проезжали закрытые частные кареты, а было — пустынно. И на Адмиралтейском тоже.

С сознанием своей особенности и центральности, Протопопов со вскинутой головой вошёл в градоначальство и затем в военно-полицейское совещание. Все поднялись, приветствуя его, Хабалов тяжело, а Протопопов с лёгкостью велел им сидеть, продолжать, и сел рядом с градоначальником Балком (Протопопов сюда и назначил его из Варшавы по просьбе врача Бадмаева). Здесь было десятка три военных и полицейских чинов, очень яркий резкий свет на всю комнату.

И чёткий военный разговор. Только что кончились доклады начальников районов. Они носили успокоительный характер: подобных беспорядков много видели за последние годы, всегда с ними справлялись, а без жертв с обеих сторон обойтись и не может. Правда, некоторые воинские части очень устали. Так, капитан Машкин 1-й, заменяющий командира Волынского батальона, жаловался, что волынцы ежедневно на постах с рассвета и до позднего вечера, весь день без горячей пищи, возвращаются в казармы голодными.

— Но,— возразил градоначальник,— волынцами сегодня все любовались.

Машкин улыбнулся, но с горечью:

— Да, правда, действовали отлично. Но страшно измучились. А ведь приходится — каждый день. Вот, завтра в шесть утра надо их опять поднимать, это нелегко.

Он и сам, и многие тут, выглядели устало.

Да, кстати, надо распорядиться починить трансформатор на Знаменской площади: толпа камнями вывела его из строя, и теперь вся площадь в полной тьме.

Протопопов показал, что будет говорить, и выразил удовлетворение как действиями войск, так и согласованностью их с полицией. Ему казалось, что он собирается много им сказать, но как-то не нашлось. Пожелал им дальнейших успехов.

Прервали совещание, отдельно поговорил с Хабаловым. Он был вял, мрачно подавлен, особенно свежей депешей от Государя: прямо ему! первое обращение прямо к нему! И Государь категорически требовал — завтра же прекратить в столице все беспорядки.

Завтра же! А если они опять начнутся? Что генерал может сделать? Если б у него были здесь его уральские казаки! Теперь он ждёт ещё добавочной кавалерии и казаков, но они не прибыли.

Что Протопопов мог ему предложить? Своего полицейского генерала Никольского в качестве начальника штаба? Хабалов не захотел, начальник штаба у него был.

Кто-то рядом всё высказывал мысль призвать на охрану города бронированные автомобили. Хабалов мрачно отказывался:

— Но я не знаю, кто там будет сидеть внутри. Может быть такие же революционеры. Настроение технических команд ненадёжно.

— А где они? — спросил Протопопов.

— На Путиловском заводе.

— Тогда скомандуйте разобрать моторы, чтоб революционеры не захватили броневики.

Пожелав успеха, Протопопов уехал домой. Он испытывал облегчение, что Государь наложил всю тяготу разгона не на него, а на Хабалова, да это было и справедливо: сила — у военных властей.

Однако он подумал, что Государь будет рад его собственному сообщению о делах. И решил тотчас же ночью составить телеграмму в Ставку, дворцовому коменданту, а тот передаст Его Величеству. В общем, итоги дня были положительны: большую часть дня спокойно. Часов до скольких? Ну, скажем, до четырёх. (Протопопов не помнил точно.) Потом образовывались значительные скопища. После того, как стрельба холостыми вызвала только насмешки толпы — пришлось прибегнуть к боевым. И вот, уже скажем к началу пятого, Невский был очищен. Но затем 4-я рота Павловского батальона самовольно вышла расправиться со своей учебной командой... Нет, об этом не надо, Государю будет больно узнать. А вот: сегодня арестован 141 партийный деятель, среди них 5 самых руководящих,— это будет в заслугу министру.

Что за ночи! — всё совещания, вчера писал письмо императрице, вчера составлял телеграмму Государю. И сегодня. И почётно бремя министерское, но и не легко.

Из градоначальства расходились и все военные. Хабалов так устал, что зевал открыто, уехал спать домой к Литейному мосту и не велел будить себя ни в коем случае.

Оставшиеся в штабе на ночь заспорили, как всё-таки понять: есть у восставших руководящий центр или всё хаотично?

По сведениям Охранного отделения рабочие, вечером расходясь, говорили преображенцам: „Чёрт вас дери, мы за вас стараемся, а вы в нас стреляете? Да пропади вы прахом! Завтра утром поспим, а после обеда станем на работу".

Да и штабным пора была спать. Остался при телефонах дежурный.

...И в третьем часу ночи он решился разбудить градоначальника: вызывал начальник Охранного отделения генерал Глобачёв. Поступили очень тревожные сведения: во 2-м флотском экипаже намереваются завтра утром перебить всех офицеров, как только они придут на занятия в казармы.

Градоначальник кинулся звонить Хабалову — тщетно: никто не подошёл. Значит, так устроился спать, чтобы звонки не доходили.

Погнали своего пристава: предупредить командира экипажа.

65

Лейб-гвардии Московский полк, знаменитый своею доблестью под Бородиным, где устоял в штыковом карре против конницы Мюрата, был назван оттуда Московским. С давнего времени он квартировал в Петербурге в казармах на Выборгской стороне. И там теперь его запасной батальон оказывался в самой гуще рабочих волнений, в самом опасном месте.

А разбух запасной батальон от притекающих и притекающих необученных пополнений — уже и до 6000 человек, стал крупней, чем снабжаемый им боевой полк. Так его роты немыслимо оказались по полторы тысячи человек — и уже дробились и дробились на реально управляемые „литерные" роты, человек по двести. В таком объёме уже и полковые казармы не вмещали всех, строили трёхэтажные нары, держали в спёртости, а новобранцы размещались ещё и в разных частных зданиях по всей Выборгской стороне, теряя связь с батальоном. Роты были по полторы тысячи человек,— но винтовок на роту

было всего по 150 — и их забирали те, кто шёл в караулы и наряды. И даже в учебной команде винтовки имели только старший и средний классы. Не было и пулемётов. Учить оставалось нечем, хоть делай деревянные болванки ружей, да и негде учить в городе на мостовых: ни окапываться, ни стрелять, только шагать. И так непомерные роты без смыслу и толку сидели, по зимнему времени, в закрытых помещениях без всякого дела, но на казённом пайке, скучая и озлобляясь. Выводили их только на учения, а уж без строя тем более не выпускали: на столичных улицах новички то и дело нарушают правила, а потом нагоняй командиру роты. Среди четырёх рот особенно трудной была 3-я: там была доля выздоравливающих солдат, и надеясь на их влияние, туда переводили всех штрафованных и скверного поведения молодых солдат из трёх остальных рот, и туда же назначались поступающие фабричные рабочие, даже с этой же Выборгской стороны, лишённые отсрочки за проступки и преступления. И выздоравливающие потонули там — да они и отчислялись снова на фронт. И так рота, вместо того чтобы перерабатывать скверноту в солдат, сама расслабилась и разложилась — и теперь ей уже не давали ни одной винтовки и не посылали ни в какие наряды, а держали в замкнутом котле. Правда, в ней было сколько-то обученных унтеров — но их всех приходилось ежедневно забирать в отряды и караулы, расставляемые на фабриках и в учреждениях от начала волнений. И так ненадёжная, даже опасная 3-я рота оставалась с одним фельдфебелем.

Одно время успокоению рабочих кварталов помогали воскресные прогулки с оркестром: музыкантская команда и небольшой строй при ней несколько часов без объяснения ходили по Выборгской стороне и завлекали часть населения своими маршами, к ним охотно присоединялись. Но последние дни уже не такое было настроение, чтобы посылать оркестр, а только охрану в важные места. Особенно важным был Литейный мост — для пресечения сообщений с центром города туда выставлялась большая застава; и удобные медицинские клиники близ него — и туда тоже помещались заставы. И во главе каждого такого отряда ставились не молодые прапорщики, но сами командиры рот, которые вот сегодня и отсутствовали целый день, и вернулись в батальон поздно. Ещё и в самих казармах держали две дежурных литерных роты на случай вызова. Последние дни и всякие занятия в батальоне прекратились.

Сегодня вечером командир батальона полковник Михайличенко был вызван в штаб гвардии, воротился лишь в 11 часов — и собрал начальствующих офицеров. Командир 3-й роты капитан Якубович не мог придти, ибо не смог надеть сапога: сегодня днём близ Литейного моста его ногу повредила лошадь полицейского офицера, и он вынужден был прекратить командование и слечь. Но и среди явившихся командир 2-й роты капитан Нелидов был с палочкой: после ранения в поясные позвонки у него была атрофирована нога от бедра, он с трудом ходил. А капитан Дуброва-3-й, начальник учебной команды, после сильной контузии под Тарнавкой был нервный инвалид. (Тарнавка был ещё один знаменитый бой лейб-гвардии Московского, и тоже 26 августа, как и Бородино, только в 1914.)

Командиры сошлись в комнате офицерского собрания, и Михайличенко объявил им, что узнал сам: во-первых, события в Павловском полку. Это было — угнетающе. Ещё вчера невозможно. Сейчас, когда уже произошло,— очень казалось возможно, даже при нынешнем состоянии батальонов — и неизбежно. А тут у них, у московцев, ещё в центре рабочих кварталов,— тем более могло произойти. Во-вторых: на завтра ожидаются крупные толпы — и боевые подразделения должны быть с четырёх часов утра готовы к вызову на подавление.

Приказ есть приказ. Но все собравшиеся офицеры понимали, что по раскинутой Выборгской стороне, набитой десятками тысяч мятежных рабочих, выполнять его почти нечем. Совсем неопытные прапорщики или никуда не годные из запаса, или молодые, только что кончившие ускоренные курсы, с которыми самими ещё надо было заниматься и заниматься. Мало обученных унтеров. Жалкая доля винтовок. Мятежный опасный сброд в 3-й роте — и не обученные, не умеющие держать оружия, и даже не присягавшие молодые солдаты в остальных,— хуже, чем их бы не было вообще. Да ещё с осени в роты и даже в офицерское собрание приходили по почте анонимные революционные прокламации, их уничтожали, но часть доходила и до солдат.

План действий мог быть всё тот же: опять выслать вооружённые отряды и караулы по тем же местам (и в том же составе, нельзя сменить на отдых, некем), снова держать вооружённые две малых роты в казармах — а остальных солдат не то что посылать на подавление, но самих оборонять как угрожаемую массу.

И офицеров-то не хватало старших. Ещё, правда, жили в квартирах при офицерском собрании два брата Некрасовых, коренные полковые: капитан Некрасов 1-й — но с деревянной ногой взамен утраченной, и штабс-капитан Некрасов 2-й, приехавший из действующего полка в короткий отпуск.

Готовность — ранняя, скорей надо было расходиться спать.

Но едва ушли и легли, полковник Михайличенко снова вызвал их всех после часа ночи. Собрались, уже изнеможённые.

А вот что. Из штаба гвардии передали, что получена телеграмма Государя: приказано все беспорядки прекратить завтра же. И штаб гвардии надеется, что Московский полк честно выполнит свой долг.

66

Даже уже надоело Гучкову: куда бы он ни приходил — его или прямо спрашивали, когда же будет переворот, или косвенно намекали, или не смели, но косились допытчиво, как на человека, знающего необыкновенную тайну. Он и сам прежде не мешал слухам просачиваться, говорил, даже и при женщинах, все жадно впитывали. Тем свободней выражался, чем расплывчатей рисовался путь осуществления. А вот — изговорился, надо быть посдержанней. Всем — так хотелось государственного переворота, и даже хотя бы только этого острого ощущения — „переворот!",— уж очень всё уныло заклинилось.

Так и сегодня просидел Гучков вечер у Коковцова — и тот, конечно, не смел ни о чём спросить прямо, но так уже намекал, доводил, доглядывался.

Вообще заметил Гучков за отставными государственными мужами такую черту: большую решительность, и даже беспощадность суждений, какой они никогда не проявляли, будучи на своих постах. Это было теперь и у Коковцова, обычно всегда такого дисциплинированного и с узким воображением. И ещё больше Гучков наблюдал это у покойного Витте, жёлчного, непавидчивого до смерти, такого потерянного в разгар Пятого года и такого проницательного задним умом. Но может быть эта черта была даже неизбежна для деятелей? Гучков учился на опыте стариков, он оттачивал на них свои государственные способности. Ему было очень интересно и с Коковцовым сегодня, и он возвращался домой на автомобиле по утишенным пустынным улицам, кой-где с солдатскими патрульными кострами, поздно.

Он и за собой уже замечал не раз эту странную обречённость наших самых ясных планов: что они или крушатся или дают результаты, обратные задуманному. Как это получается, почему?

Заговор? Всё не состаивался, всё откладывался, всё никак до него не дотянуться. Ничто не успето, никакие даты не назначены. При заданной простоте это оказалось ускользающее предприятие, со многими вероятностями, уклонениями. А вот в Петрограде тысячные толпы, а вот на Невском стреляют, а вот взбунтовалась рота павловцев. Бездна показывает своё зевло: как она близка и как может всё поглотить.

Заговор — был нужен как никогда, срочен как никогда. А всё — не вязалось.

Многое зависело теперь от ожидаемого приезда генерала Крымова на днях, не позже середины марта. Без его генеральской руки не мог Гучков справиться.

Вернулся домой — так политически настроен, так не хотелось сейчас разговаривать с Машей, и даже видеть её.

Остановил шофёра, не доезжая по Сергиевской до Воскресенского, до

своего углового дома. Дошёл пешком. Тихо поднялся по малой лестнице в бельэтаж, тихо отпер и запер дверь.

Тишина. И пошёл сразу к себе в кабинет.

Зажёг свет — и белый бюст Столыпина увидел первый перед собой.

Посмотрел на его каменные веки.

Вот э т о т — всё делал вовремя и на месте. Не брюзжал бы потом с опозданием.

Так хотел и Гучков. Он и поставил себе бюст для неизменного подбодрения. Он хотел бы быть ещё одним Столыпиным. И после свершений готов был даже и кончить так, как он.

Лёг, потушил свет, но спать совсем не мог.

А через стенку ощущал Машу, даже угрозу входа её — и так не хотелось. И так мешала она мыслям, сбивала, даже из-за стены.

Чем ни займись, куда ни рвись,— а женитьба давит глыбой.

Как это получилось? Зачем? Как не видел?..

От того шарабана и разделённого плаща под весенним дождём — десять лет и знакомства-то не было, только через Веру перекидка полушутливых фраз да уверений опасной посредницы, что почему-то Маша Зилоти как раз и есть та женщина, которая всё сделает для его счастья.

А когда встретились через десять лет, Маша поразила его открытым порывом: что она все эти десять лет — его любила! только им жила! ждала! без надежды!..

Такое прямое признание стучит в твоё сердце. Это поразительно, правда: с девятнадцати лет до двадцати девяти любить и ждать без надежды! Такую любовь — преступно растоптать. Если столько лет тебя ждали, то и у тебя возникает как бы долг. А тут — и Гучкову-отцу она, оказывается, понравилась. И всем родным, и все одобряют. (Не сразу поймёшь: всем хочется, чтоб разорвал Александр Гучков давнее с женщиной старше себя.) И тебе уже скоро сорок, беспутный, и надо же когда-то угомониться. Даже приятно. Так подумать о себе: угомониться. Объявить и почувствовать себя наконец пожилым.

...А вы — тоже любили меня!!! Любили ещё тогда! — но потеряли...

И правда, удивиться: десять лет любила и ждала! Действительно — избранная натура. Она всё сделает для моего счастья.

По-настоящему сомневаться и тревожиться надо не о своей судьбе, но — за неё: каково придётся — ей? Ведь ты — неугомонный, шалый, жить с тобой, должно быть, не сахар.

Верно, тут же и сошлось: весной 1903 года предженитьбенные радостные заботы перекрылись зовущей тревогой воина: в Македонии — восстание против турок, как же не поехать помочь? Давно ль из Трансвааля, давно ли сгладилась хромота? — а грудь гудит: в Македонию!

И вот она первая припутанность, первая не-себе-йность. Раньше отцу — ничего вперёд, а уже с дороги: мол, иначе не мог, когда там совершается народное дело, вернусь — заглажу вину перед тобой. А теперь: надо уговорить, получить разрешение от невесты, объяснить, как же так: после десятилетнего ожидания за что ж ей ещё эта разлука? В самые радостные предсвадебные месяцы — почему, какая Македония, разрушая весь ритуал, разрушая всю праздничность невесты,— а он о н е й подумал?!

Ах, голова твоя бедовая, ты не приучился думать ещё и о *ней*... Да македонская льётся же кровь!.. Впервые треснула твоя воля, не знаешь, как быть... Да ведь пустая малая оттяжка — май, июнь, июль, Марья Ильинична, голубушка, не осуждайте меня, вы знаете — я шалый, я не прощу себе, если эту кампанию пропущу, я — жить не смогу, если не поеду!

Отпросился у надутых губок до сентября. С каждой станции — открытку, из Адрианополя — золотую монету с профилем Александра Македонского и фразою, хоть высекай на камне: „Если б не вы — я стал бы им. Александр". (Это — ещё молодость, когда тебе имя своё нравится, да ещё в совпаденьи таком. А вот когда стошнит тебя жизнью как следует, то не в шутку бросишься

на телеграф: только не назовите племянника Александром! это имя приносит несчастье окружающим и себе...)

А между тем за невестиным упираньем проваландался, почти опоздал на дело. Только и память поездки, что на пароходе сговорил себе шафером Сергея Трубецкого, в ту же Грецию везшего студентов на античность, кто за чем.

Всё к тому, вот и шафер. И срок назначен, неотклонимый.

И ведь был же поставлен предупреждающим знаком косой запретный крест: младший брат Константин женат на её сестре Варваре, и теперь по церковному закону запрещено жениться ещё кому-нибудь из братьев Гучковых ещё на какой-нибудь сестре Зилоти.

Но все эти запреты давно обсмеяны в образованном кругу, отошли. (Много позже: а прав был дед, только у старообрядцев и остались крепкие семьи. У всей интеллигенции и семьи какие-то раздёрганные, и дети невесть куда.)

Впрочем, женатой жизни не везло начаться. Свадебное путешествие на Иматру в октябре — холодные дожди, просидели безрадостно в гостиницах. И тою же зимой, не успели своим домом устроиться,— японская война. Машенька, как же я могу не поехать?..

Да, конечно... Ты так привык... Но у тебя есть и новые обязанности — мужа. Ты иногда и на мою точку зрения должен становиться. А мне? — снова в Знаменку, под родительский кров? Оскорбительно, как будто я не замужем, ничего не изменилось.

У тебя — будет сын, Лёвушка!..

О, я не жалуюсь, не подумай!

Шли самые главные годы России — Девятьсот Четвёртый, Пятый, Шестой, Седьмой,— и ощущенье, что для этих-то самых лет родился и сгодился Гучков. Но прежней свободы движений и решений больше нет, а всё: как Маша? где Маша? Всегда, и опять недовольна, как умягчить? В бумажнике возил с собой её фотографическую карточку. В раскидных палатках, в вагонных купе, в гостиничных номерах десятки раз выставлял её перед собою, срастался с привычкою, что женат.

И естественная мысль: будет легче, если взять её в сомышленницы, попробовать объяснять ей свои шаги как равной, русская жена часто бывает такой. Вот: почему так горько презрение общества к японской войне. Вот: русский несуматошный путь совещательной Думы, Земского Собора,— и как бы убедить в этом Государя. Вот: подробные впечатления от приёма царственною четой. Несдержанная обозлённость Первой Думы — это не наше. Знаю, ты будешь на меня сердиться за моё возможное решение войти в столыпинский кабинет, но я берусь переубедить тебя. Если стрясётся надо мной беда министерства, постараюсь предварительно съездить к тебе в Знаменку...

Саша, отчего ж это беда — министерство? Я вполне одобряю! Я готова разделить с тобою все петербургские тяготы, возникающие из того! Я готова сплотить твой круг, твоих единомышленников!

Поняла? Поняла, разделила! О, счастье какое! Вот так терпеливо и вырабатывается семейная жизнь.

Но в министерство не пошёл. Но выступил в поддержку столыпинской обороны от террора. И всё прокадетское общество накинулось, клевало и травило. Затмились горизонты.

Печально-вытянуто: вот как? А я-то мечтала стать дамою света.

Милая Маша, я так тронут твоим сочувствием в моих делах. Но „дама света" не вмещается в мои представления о жене и матери. Что выше и слаще жребия верной домашней подруги?

Удивительное рассуждение — домашняя подруга! Я для тебя потеряла целый мир искусства! Я думала найти в тебе другой ослепительный мир, а ты запер меня в Знаменке рожать и выращивать... Ты уже не нуждаешься восхищаться мною...

А разве... ? А когда он уж так обещал — восхищаться? Он говорил — делить жизненный путь. Какой придётся. (А в движении — легче бы и без неё...)

Из девушки в жену — как быстро преображается понимание и растут права. Бьёшься объяснять ей тонкости и трудности общественных решений,

почему нельзя было пойти выгодным путем, а необходимо подставить себя под удары,— получаешь какие-то косые ответы, косые по внезапности, по несоответствию, как наотмашь наискось брошенную тарелку.

И когда хочет душа побеседовать — садишься писать другому. А то и — другой...

А она — мятётся в сельской жизни, страдает без говоренья и встреч. Дама света... ?

Ах, поспешил!.. Со стороны поверить нельзя: ведь не юнец, ведь кажется давно неуязвим. И к сорока годам так много сделав уже,— отчего, казалось, не позволить себе роскошь семьи?

Но в год и в два обуглилась подвенечная белизна. И ты видишь себя связанным и несчастным.

И — куда ж испарилась десятилетняя девичья ожидательная любовь? И... — была ли она?

Вообще — разучились понимать друг друга. У неё — то и дело всплески бурного негодования. Уже боишься спросить о ней самой что-либо: уверен, что каждый твой вопрос будет встречен враждебно. Ничего не хочется и о себе: не сомневаешься, что для неё это потеряло интерес.

С первыми шажками Лёвы и Веры (любимица, в честь Веры другой) уже спотыкается и союз родителей. И какая же радость, когда прорвётся от Маши весёлое лёгкое письмо,— ах, милая, как бы сохранить тебя такой весёлой на всю жизнь! Я, если хочешь, готов во многом каяться.

А в ответ опять косой передёрг, новая разбитая тарелка. Страдание! страдание, которого и мир не знал! — да уж чем так? Голубка, вставай-ка с правой ноги! Я весь — в пробоинах, полученных в боях, утекают силы, а от тебя поддержки нет.

Прикрикнешь — слышит лучше, как-то образумливается. Но не дай Бог в усталую минуту призвать её к простой взаимной жалости — этот слабый голос менее всего дойдёт до неё. Уговорить её мягко — совсем невозможно.

Она порывиста в причудах и называет это — своею „интуицией". То слишком громка, то бестактна, безответственна, многоречива, нетерпелива, извергающийся вулкан. В гостиной уже собираются гости, в столовой уже накрыт стол к обеду,— Маша громким шёпотом закатывает мужу сцену ревности. Тогда Гучков безумно-спокойно, глядя ей в глаза, начинает тянуть убранную скатерть. Предметы падают, Маша очнулась, горничная бежит собрать и подтереть.

В таком зрелом возрасте жениться — и так непрозорливо? Куда деваются наши глаза в минуты выбора? — такого несомненного, когда решаешь, такого смутного потом! Как он попался? Как он на всю жизнь приковал себя к чужой женщине? Когда все способности различения, суждения, решения ты отдаёшь общественной борьбе, войне, странствиям, всею страстью утянулся туда, ты становишься слеп к тому, что от тебя в аршине, уродливо беспомощен против сферы иной. И чем безошибочней ты привык решать и действовать в большом — тем слепей ты ошибаешься в этом малом, а этого малого, этой третьестепенной, побочной, совсем не общественной ошибки, достаточно, чтобы в короткое время ослабить тебя, спутать, съесть силы твои и утопить.

Как он смотрел в её лицо и не замечал раньше: какая бесчувственная безлюбная жестокость находит на него? своё твёрдое неупускаемое выражение.

А если посмотреть фотографии юности — так оно уже было и там: странный примороженный оскал улыбки, обнажённые верхние зубы неживо всегда. А не замечал, приглядеться.

И вот разлуки по делам растягиваются в разлуки по отталкиванию. Жена — в Знаменке, Гучков — на запущенной петербургской квартире, с дурным поваром или по ресторанам. Или: дети с гувернанткой тут же, а Маша в Москве. Встречи — ещё хуже писем: взаимные вины, попрёки, накатывается и ложь. (*Его* ложь, жена от мужа на пядень — муж от жены на сажень, впрочем и наоборот...) Няня, не одобряющая Марьи Ильиничны и чтящая Александра Иваныча „одним на миллион", скоро внушит маленькой Вере, что у папы — „двести незаконнорожденных детей". Едва встретятся под одной

крышей — и вся его накопленная бодрость, весь разгон действия — смякают, тускнеют. И сразу же: как поскорей разъехаться? сколько ещё надо дней? Сходилась ли когда в браке менее сходная пара?.. Разъехались, а письма — ещё хуже встреч: самому чужому дальнему человеку не так мучительно писать, как неудавшемуся близкому. Деньги, вещи, одежда, уговоры, как разминуться, даже формального „целую" нет в конце, и остаются: только дети. Только о них и вопросы. С возрастом — отдельные листочки к ним и от них. В твоё отсутствие дети ласковей, больше жмутся ко мне. Скажи девочке, что постоянно вспоминаю о ней. (Именно для Верочки собирается папин архив, чтобы когда-нибудь она познакомилась с отцом.) То — спор о гувернантках, можно ли иностранок? Нужны языки, да, но постоянное русское влияние считает Гучков ещё важней. И зачем эта традиционная *музыка* каждому ребёнку? То — неграмотная няня пишет отчёт о детях, хотя Марья Ильинична рядом с ней. То — самому достаётся возить детей по Невскому, смотреть убранство в романовские торжества. И сносно, когда заняты дети своим: половину собачки Джима Лёва продаёт Вере в рассрочку, до её 14 лет, и торгуются долго. А подняли глаза: отчего же папа и мама всегда порознь и не бывает полного счастья?

Но есть такая черта семейных разладов: их нелинейность, непрямота, особенно тяжкая для мужчин. Нелинейны — женщины, они и вносят эту петлявость, эту попятность, эти возвраты и проблески ложной надежды. Уже, кажется, было перерублено, несколькими жилками только и держалось, а вдруг — составлено, а вдруг — срастается, неужели так может быть? Начинаешь верить. Появляются: нежно обнимаю! люблю! И сами поцелуи. И — ожидается третий ребёнок. (И если проницательные дамы со стороны наблюдали, что у вас развал,— так вот и ничего подобного!) Но ещё до рождения Вани ясно: всё — ошибка, всё — прах, надо расходиться.

Не разводиться — это невозможно из-за детей и по особому гучковскому положению: как уверяет Маша, к ним пристальна вся Россия, и развода ему не простят. Но — разойтись незаметно, но охранительно кончить эту взаимную истерзанность, когда места живого не осталось в душе.

Как безжалостно ты разрушил всю мою жизнь! И что дал взамен? Я надеялась действовать рядом с тобой — ты отшвырнул меня на край существования! Ты не сумел, не захотел раздуть уголёк своего чувства, чтоб осветить мою истрадавшуюся душу... Ещё в первые годы мои страдания были светлы и ободряющи — но сейчас?..

А — когда они были ободряющие? А почему *тогда* не сказала, что ободряющие? Но так же косо метала?

Смертью Веры Комиссаржевской отметилась полоса потерь. Её ли парение ещё поддерживало, как-то осмысливало их супружество с Машей? — а без неё уже вовсе стало невмоготу. К концу того, 1910-го, Гучков обсоветывал с Машей только одно: как безболезненнее для всех и для детей? А она просила — *не пинать* прошлое и докончить портрет у Кавос, это моя *последняя* просьба! (И уже было и ещё сколько будет: я никогда ничего у тебя больше не попрошу, а это — моя последняя...)

Но как-то так умела Маша изворачиваться и меняться, что и при самом решённом неоспоримом конце это оказывался снова не конец. Когда он проступил не обходимой возможностью, но уже несомненным разрубом — тут впервые что-то перетряхнулось в Маше, чего не мог добиться Гучков уговорами шести лет их разлада. Как будто впервые стала она слышать и смотреть на себя.

...Я сознаю, что твоя нелюбовь заслужена мною. Я не сваливаю разгром нашей жизни только на твою ложь. Первые дни нашего разлада — дело моих рук. Хотя много смягчающего тут нахожу для себя.

А она думала бы жить в разладе — и рассчитывать на его верность?.. Как будто просила прощения, но вот незамечаемым выкрутом выходила снова на стрелу попрёков, и оказывался виноват — он. А уж сказано было раньше так много, что сейчас и забыто, чем оправдываться. Так много надо сказать, что и — нечего, и госпожа диалога — Маша опять. Да и немогота перекоряться снова и снова, когда разлука неизбежна.

Неизбежна, но почему-то не совершается. На нескольких последних жилках необъяснимо держится и не отваливается. И даже почему-то уговорились небывало: Девятьсот Двенадцатый встречать вместе, дома.

Однако ж в последние часы 31 декабря, как вырывая шею из затяга, он рванул и ушёл.

Виня себя, конечно. Но и — не мог не уйти. Прости мне боль, какую я тебе причинил. Причинял. От избытка собственных страданий я стал малочувствителен к страданиям других. Дети — вот всё, что у нас остаётся.

Казалось в ту новогоднюю ночь — полный разрыв. Навсегда.

Но — из-под пальцев, из-под руки, необъяснимо откуда вяжутся, вяжутся новые петли. Свойства семейных проблем — бесконечные новые и новые перекладывания в мыслях. А может быть — я не таков был с ней, недостало терпения, надо было больше доверия, больше увлечь своим делом?

И на открытие столыпинского памятника в Киеве он позвал её с собой: „Ты ведь тоже его любила".

(Или — так же, как меня?..)

На кого не откладывает отпечатка спутница жизни? Может быть, при другой жене, смягчающей, предупреждающей, Гучков не был бы так уничтожительно нетерпим и к императрице? В борьбе с Алисой он иногда переступал границы, которые против женщины всё равно нельзя.

Тянулась полоса потерь, полоса неудач, ещё перепутанная болезнями. Двенадцатый принёс Гучкову недоверие России, провал на выборах в Четвёртую Думу. Тринадцатый — неудавшийся бунт октябристов, не стронувший Россию никуда. Четырнадцатый — несчастную войну. И из первых её испытаний: лодзинский мешок и добровольное решение — остаться с ранеными, отстаивать их, если им суждено в плен.

Душе, постоянно отданной борьбе крупномасштабной, освободительно опять увидеть контраст этих масштабов: в каком же ничтожестве мог я барахтаться? что там могло травить меня так?

А испытавши вновь это восхождение, пожалеть свою несчастную спутницу, что ей никогда не подняться сюда, что ей никогда не изведать, как мелки её обиды, как жалки её претензии. Пожалеть и — простить её, в широкой мужской форме — то есть, *просить* прощения. Когда так сотрясается мир — разве между гигантских воронок уцелевает луночка супружеских слёз?.. И под гул орудий в предместьях окружаемой Лодзи, с последним может быть гонцом в Россию — последнее может быть в жизни письмо... Моя хорошая... прости... я причинял тебе всю нашу жизнь... Не перестаю думать о наших детях... Душевно любящий тебя...

А окружение — не состоялось. Гучков воротился — и даже в обычную петербургскую и даже, увы, в семейную жизнь. Впрочем, что-то же сохранилось? что-то понято из тех лодзинских записок? (Что он — виноват?..) По законам нелинейности, через пороги всех окончательных разрывов, они снова выглядят благоприличной семьёй. Встречаются знакомые в Москве ли, на водах, расспрашивают одного о другом, получают ответы. Приписывает знакомый генерал: „Целую ручки Марье Ильиничне"... Из разъездов: Маша, забыл бумаги, забыл ботинки, пришли... Война, много событий, много движения, и без удушья проходит Девятьсот Пятнадцатый. (Только вдруг бросается Маша, из ревности, по его краснокрестным госпиталям, вносит неразбериху, ставит Гучкова в неловкое положение.)

И — сколько б ещё тянулось так? Но болезни, методично обступавшие много лет,— то пухли ноги, то болели руки, то сердце, то печень,— вдруг сошлись, сомкнулись воедино, и торжественная смерть нависла над Александром Гучковым в начале Шестнадцатого года.

Кажется, так похоже на лодзинский мешок. Перед вечным расставанием естественно снова помириться, просить прощения.

Нет! Другой какой-то закон. Зачем ко всем испытаниям жизни ещё послано было мне испытание злою женой? Бессердечная, честолюбивая женщина — за что ты послана мне вечным крестом и заклятьем? Зачем ты въелась в жизнь мою — и поедаешь? Покинь меня хоть умереть спокойно. Не подходи, не хочу тебя видеть!

Как бы не так! По слабости, по беспечности, по отвлечённости на большее — не разорвал обручальные кольца вовремя, и теперь они ложились кандальною цепью на впалую жёлтую грудь. Мария Ильинична — как будто обрадовалась его смертельной болезни, как на добычу кинулась на ухаживание за ним. „Кошмар в лихорадке" назвал её Бурденко. Смерч суеты! — уже не только к докторам, но — к врагам, к Бадмаеву, чуть не к Распутину за помощью. Надменное лицо: одна она знает, как спасти горячо любимого мужа.

Лежать приговорённому к смерти под вихрем раздражающих забот и беспомощно поражаться: как же мог опуститься до этого, воин? Уже подносят причастие, через несколько дней тебя уже не будет, а *она* — будет ещё полвека выступать на земле твоей подругой, твоей памятью, твоей истолковательницей.

Это была, как будто, не его жизнь, а карикатура на его жизнь: совсем не та, какую он должен был бы вести. Но вот почему-то вывернулась так. Вывернулась — от женитьбы.

Как же мог не порвать за столько усилий? Так ты сам это выбрал.

А глубже всего засело в ней — кривое истолкование прошлого: связь фактов не та, что была, а та, что доступна её узкому уму и представляется ей удобной,— хоть спорь, хоть бесись, хоть кол на голове, но никогда не признает, как было на самом деле, от первых тех десяти лет как будто любовного ожидания.

Но — не умер. Но — поднялся. И советами докторов направлялся в Крым. И, конечно, она?! Бесколебно отрезал: нет, голубушка, в такое бессилие не залягу больше. Ты — остаёшься в Петербурге, ищи любой предлог, ломай публичную комедию как хочешь... Но ведь я — умереть за тебя готова!.. Не надо, живи... Но — дамы, которые всё просверлят?! но — общество, вынюхивающее нашу семейную жизнь?! Как же ты можешь, при твоём благородстве, так всенародно меня унижать? так спокойно отвесить мне пощёчину?!..

Состояние дамой — для неё функция организма. Чтобы быть дамой — она готова изъесть его.

Сколько раз уступал, сколько раз был не твёрд,— но только не теперь!

Ничего, придумала: болезнь мальчиков, операция у Верочки. Но ведь это всё возможно и на юге? Все будут недоумевать, обвинять меня, что я не еду с тобой... Моя пытка увеличится тем, что десять раз на день я должна буду отвечать, почему не поехала?

Уехал. Скорей — одному, и начать выздоравливать. Только после выгрызливой женитьбы можно понять, какое это счастье: быть совсем одному.

Но как в тот решительный-нерешительный разрыв пять лет назад, так и теперь: проняло её всё же. Ощутила, что разъединение не отменится, разве только перевернётся вся Россия и вся Земля.

И из Петербурга в Крым на Пасху: начало моей жизни — моей любви к тебе — тоже было на Пасху. И вот — кончается любовь, не получив и не дав н и ч е г о... Сколько раз я уже с тобой прощалась, а все уголки души полны тобою, и вырвать каждый — боль до крика. А теперь дошло до главного нерва, последняя операция. И захотелось понять: почему же любовь моя оказалась бесплодна?.. Мечтаю: чтобы ты хоть на одно мгновение, перед самой смертью... Христос с тобой, желаю тебе найти, чего я не сумела тебе дать...

Нет, это — того забирает за сердце, кто читает такое не пятнадцатый раз и кто не научился видеть холодной злости её лица. Размягчиться — нельзя, размягчиться — в ничтожество впасть опять.

Твоё пасхальное письмо посылаю тебе обратно. Оно жгёт мне руки. Будешь мстить мне — не делай орудьями мести детей.

...И в моём состоянии — ты ещё смеешь ч е г о - т о требовать от меня??!! Давать мне советы о детях?!! Ты когда-нибудь себя для них переломил? Ты — сам себя их лишил!

Так писал он — и так писала она, не предполагая внезапно-ужасного смысла этих слов: что через несколько месяцев сбудется по этим словам —

и они потеряют Лёвочку, от менингита. Если уж занятая собой — так собой: упустила его. Отпустила — десятилетнего стать на коне в рост и разбиться.

Можно выиграть целую Россию — а женитьбу проиграть.

67

Уже за час ночи, по пустому городу только казаки поезживали, прибрели волынцы к воротам своей учебной команды в Виленском переулке. Кирпичников остановил, повернул строй фронтом, доложил капитану Лашкевичу.

Лашкевич сшагнул с тротуара к строю:

— Плохо вы действовали, никакой самостоятельности. А на войне понадобится и стрельба, и самодеятельность. Ну всё-таки спасибо. Разводите повзводно в казарму.

Взводные повели, да и рота не своя, Кирпичников остался при Лашкевиче. Тот ещё его побранил: что целый день прятался, уклонялся, не так действовал. Другой офицер бывает как свой. А этот — чужой, гадюка, барин. И никакого твоего промаха не простит.

Завтра-то — неужели Тимофею опять идти?.. Да, завтра очередь 2-й роты.

Подошли оба прапорщика и спросили, идти ли им отбирать у солдат патроны. Но уже поздно было, и Лашкевич сказал:

— Ладно, взводные сами отберут.

Особенно поблагодарил Вельяминова за его стрельбу. Прапорщики попрощались и ушли в разные стороны, по домам. А Лашкевич пошёл с Кирпичниковым в канцелярию. За очками своими золотыми и он устал, лицо впалое. А стал бумагу читать и вытянулся, как на „смирно''. И доверил Кирпичникову:

— Государь приказал — завтра же все беспорядки прекратить.

И рассчитал:

— Завтра пойдёт команда от вашей роты в восемь часов. Будить — в шесть. Я приду — в семь. А сейчас первой роте скорей поесть и ложиться спать.

Кирпичников:

— Люди сегодня не обедали, не ужинали, чаю не пили.

А Лашкевич своё:

— Ничего, не такое теперь время, чтоб чаи распивать.

Тимофей с надеждой:

— Так я тогда при первой роте буду?

— Нет, при второй,— распорядился Лашкевич. И ушёл.

Ну вот, так и знал. Кряду четвёртый день Тимофею на собачью службу. Никому же так не выпадает.

Ротные казармы — порознь. В 1-й ели обед вместе с ужином. Укладывались. Пошёл Тимофей к себе во 2-ю.

Там уже спят, на двухэтажных нарах. Лампа у дежурного, ещё на другом краю две малых. Лампадка перед ротной иконой. Нижние нары все тёмные.

Сел Тимофей на свою отдельную койку в углу, на кроватный столбик обопрясь. Повис.

Дежурный поднёс уже разогретое, в котелке.

Стал есть, не чувствуя, не думая.

Об еде не разумея.

Всё-таки надеялся он кряду четвёртый день не идти, и тяга сама с него спадёт. А вот — не спала.

Дружок, Миша Марков, взводный, наискось, на близкой наре:

— Тимоша, ну как?

Позвал его к себе. Тот шинелью обернулся, перешёл босой, сел рядом на койку.

— Да-а,— мол.

Молчали.

— Что ж это делается?.. Генералы нам изменяют. А царица — с Гришкой. Вон, Орлов приносил — читал ты. Кому война нужна? — не нам.

— Да-а,— мол.

— А наши штыки — народу в брюхо?.. Не на дело нас водят. Сегодня и убитые были, и раненые... Я, Миша, людям на улицах в глаза смотреть не могу. Как же это?.. Что ж мы делаем?.. И офицеры наши?.. И вы, вот, отдохнули, а мне завтра опять... Я, знаешь... Я — не могу больше. А?

Понурился Марков.

— Чем так мучиться,— сказал Тимофей,— лучше бы и из казармы сразу не выходить... А ты бы — согласен не пойти?

Ох-ох-ох, по обломистым ступенькам да в гору. Марков — дыханьем одним:

— А чего будет?

— Да уж чего б не было. Прижали.

Ох, трудно. Ох, трудно человеку под топор себя волочить.

Глубоко зевнул Тимофей. Выдохнул.

— А в бою умереть достанется — не одно дело? Чего наша жизнь стоит? И мы б на фронте легли, сто раз, как многие. А нас сюда качнуло — по людям стрелять. Все во всех? Ну что за жизнь?

Миша — совестливый. Он и человека, и всякую скотину жалеет, по-деревенски. Дыханьем одним:

— Что ж, согласен.

И — сказано слово. Переступлено. Теперь — чего ж? Теперь надо что-то делать.

Сказал ему Тимофей: разбудить, позвать сюда, к койке, остальных трёх взводных. А дежурному по роте велел: никого в помещение не впускать. А когда придёт дежурный офицер (он ночами обходит) — доложить в пору.

Сошлись впятером, шинелки на кальсоны. Сели. И сказал Тимофей, четырём пробуженным один бодрый:

— Ну что, ребята? Отцы наши, матери, сёстры, братья, невесты — просят хлеба, а мы в них стреляем? Сегодня кровь пролилась. А завтра и от нас прольётся? А царю — дела нет, велит подавить завтра. А царица немцам военные секреты передаёт. Я предлагаю: завтра нам — н е и д т и. А? — Обсмотрел их по лицам.— Я лично хочу — не идти.

Не сказал — „решил'', потому что и сам ещё не решил. Вот — как они сейчас? Без них нельзя.

Помолчали.

Поперевздыхали.

Попереглянулись. Ой, жутко первый раз осмелеть!

Миша Марков сказал — он не пойдёт. Поддерживает фельдфебеля.

Так и начало склоняться. Тогда и Козлов сказал: не пойдёт.

Тогда — и Канонников. И — Бродников:

— Ладно, мы от тебя не отстанем. Делай, как знаешь.

Поднялся с койки Тимофей и всех перецеловал.

— Ладно, ребята! На фронт поедем — так и там убьют, а двум смертям не бывать. Один другого не выдаём, живыми в руки не даёмся. Смерть — только вначале страшна.

Приглушённо кликнул дежурного. Сейчас велел с нар повыдёргивать всех отделённых, пусть не одеваются. Только тихо.

Хоть и спали, а быстро явились, кто портянками обернулся, кто босой.

В полукруг, кто на корточки присел, кто стоя. И сказал им Тимофей негромко, но всем тут внятно:

— Вы, ребята, наши помощники. Мы, взводные командиры, решили завтра не идти стрелять.

Когда уже полутора десятку говорил, то не мечта тягучая, а сам поверил, что дело будет. Говорил — как о деле решённом.

А ефрейтор Орлов, питерский (ему отдельно уже успел Тимофей объяснить), сразу крепко:

— Ни за что не идём! Правильно.

А другим и сказать не досталось. Дело решённое.

— Хорошо, тогда смотрите на меня. Что я буду делать — то и вы. Будете исполнять мою фельдфебельскую команду, и только её. А я теперь — и в первой роте фельдфебель. Так что...

И решили: не в шесть часов подыматься, а в пять. Собрать людей повзводно и объяснить: мы принимали присягу бить врага, защищать родину от Вильгельма — но не наших родных бить. Конечно, люди наши — никакие солдаты, а сброд, разгильдяи, но всё же. Окажутся согласны — то одевать их при караульной амуниции. А патроны будем добывать.

И разошлись взводные и отделённые — спать.

Не спать, конечно...

А Кирпичников позвал каптенармуса, младшего унтера. И велел ему завтра пораньше идти к батальонному инструктору и брать как можно больше патронов, якобы по приказу штабс-капитана Лашкевича.

А в той роте патроны остались не отобраны, хорошо.

Но! — всполошился Кирпичников: а вдруг теперь разгласится? — Один только человек сходи к дежурному офицеру в канцелярию — и всё рухнуло. Рано объявил?

И распорядился ротному дежурному: ни одного человека ни под каким поводом никуда не выпускать.

Теперь с Марковым на койке обсуждали так: если к нашей команде никто не присоединится, то против каждого окна станет по одному отделению, стрелять из окна. Один пулемёт поставим через окно против оружейной мастерской. А один — на лестнице, чтоб со двора не пускать. И — никто нас не возьмёт, ни пехота, ни кавалерия, разве что артиллерия.

Тут прибежал дежурный:

— Фельдфебель! Тебя к телефону требуют!

Недоброе что? Узнали?..

Пошёл Кирпичников, Марков тоже вослед. Приложил и Марков ухо к трубке с наружной стороны и слушает.

Голос Лашкевича:

— Кирпичников! Люди — все спят?

Ишь, неймётся ему. Чует.

— Так точно, все, ваше высокоблагородие.

— В команде спокойно?

— Спокойно.

— Сделай подсчёт, сколько расстреляно патронов. А утром пошли каптенармуса к инструктору, взять боевых на 27-е.

Как раз это нам и надо, вот и распоряжение.

— И будить завтра не в шесть, а в семь. Строиться без десяти восемь. С оружием. Ожидать меня.

Отпустил.

На часок полегчил. Тогда и мы свою побудку на час позже, в шесть.

А уже — и четвёртый час ночи. Пора ложиться.

Марков от своей винтовки штык отомкнул, и положил заряженную к себе под одеяло. Поцеловал её.

— Вот, моя верная жена.

А иной жены и у Тимофея нет. Рота, батальон — весь его дом. Это правда, холодный металл у оружия, а сердце посасывает.

— Зачем кладёшь?

— Да если что раньше начнётся.

— А дежурный офицер войдёт? Будет винтовки считать? Не надо.

— Не! Так хочу.

Полежали. Не спится.

Строиться-то, сказал, прямо с оружием.

Лампадка загасла перед иконой.

Ладно, воздух чистей будет.

И чуть вроде слышны по казарме шёпоты, полуголосье.

Не тогда страшно, когда решались. Не тогда, когда отделённых собирали. А вот когда: всё сделано, всё отрезано, и остались два часа последних. И ты

сам, один с собой, ничего никому не кликнешь — а по ту сторону утра для тебя уже, может, и петля болтается.

Страшная минута — как уже смерть сейчас.

Миша близко, через проход. И ему:

— Если к нам завтра другие части не присоединятся — ведь нас повесят.

— Да-а...

— А всё ж лучше по-солдатски умереть, чем невинных бить?

— Да-а...

— И при всех царях, бают, так было. Об народе не заботились.

Э-э-эх, трудно начинать! Начинать-то, начинать всего трудней.

А кому-то надо.

— Молчан-собака, да и та вавкнет.

Облегчает, что молодые, семьи у обоих нет. Зато в молодых годах и жизнь жалчей.

— Ладно, Миша. Пусть люди потом вспоминают — учебную команду Волынского полка.

ДВА ГОРЯ ВМЕСТЕ, ТРЕТЬЕ ПОПОЛАМ

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

68

Но и когда решалось перед засыпом, все мерилось легче, чем при побудке. Как ни отважились на отчаянное, а еще ведь оставалось свалить голову в приемистую подушку, хоть два часа — а соснуть. Все еще было — как за горой утишено.

Во сне наплывало: зыбились места свои родные под Саранском, где русское вперемеску с мордвой,— как на Богоявленье почнут в запряжках ездить, кто кого перехвастает. Отец без шорной работы не сидел.

А вот как закричал дневальный подъем — да резко, как резаный, как и положено, да зажег все электричество — так и сам Тимофей выбарахтывался из-под камня наваленного, от, Тимоша, Тимоша, и что ты затеял, зачем?

Ну, казалось, не подняться, не отряхнуться. Коли бы один был, не перед товарищами, так верно б отрекся, крикнул бы: отставить, ложись спать!

А солдаты — и вовсе не ведали. Солдат не знает времени, когда его будят, а только тело чувствует: ох, что-то рано, ох, сна недодали.

Но слова сказанного не вернешь. С Мишей Марковым зараз спустили ноги на пол, друг против друга, посмотрелись — и видно вьявь, что тоже-ть и с ним, тоже-ть и он отказаться готов, если б не Тимофей.

А сказать первому — никому нельзя.

Да не бы взводные. Да не отделенные. Сами уже широко разлили. И что сбрендили на ночь, то покатилось уже теперь само, от них не завися.

Да что ж мы наделали? Что ж теперь с нами будет?..

Одна отрада — голову под умывальник, да водой холодной пробраться, пробраться, да на холку себе побольше. Протрезвляет.

Из-под умывальника высунулся — уже другой человек. Как надо — так надо, верно.

И всех гнать — а ну, умываться! Не киснуть, всем под воду!

А между тем сообразил, что с подъемом прошибся: зачем же поднял в 6 часов? Думал — надо время, готовиться. А чего ж готовиться? Одеться, собраться — десять минут, а патронов раньше полседьмого не добыть, и кухня

раньше не накормит. Лучшая готовка к делу — сон. Просчитался, дурак, и за себя, и за всех, обидно.

После умывки да застилки ждали солдаты, бродили — а ничего и не поделаешь: строиться не время, и слово говорить рано. А значит — можно садиться, можно и одетыми прилечь.

Все вялей, вялей ходили. Ложились.

Кто лежал теперь, как попадя. Кто, может, спал опять.

Да кто может ничего не знает — тот так и свалится. А кому уже отделенный шепнул — много ли заснешь? Своя-то голова одна и кожа своя одна, еще не прорубленная, не продырявленная,— кому не жалко?

Теперь смекнул Кирпичников, какие две опасности. Первая: вдруг почему-нибудь да не дадут патронов? — вот не дадут и все, приказ такой. Еще просто не дадут — так и не выведут, нам еще легче, совесть чиста, прогоняем день по казарме. А если не дадут потому, что прознали? — тогда что? Придут и голыми руками возьмут, пропали ни за что.

Но откуда могли бы прознать? В том и вторая опасность: не ушмыгнул ли кто, хоть и ночью? Протряс дежурного — нет, никто. Взводным, отделенным — проверить своих, все ли на месте.

Все.

А за патронами с каптенармусом послали надежных.

Не выпускать никого и дальше.

И такая тяга — дадут патроны? не дадут? Бродили, лежали, передремывали — а Кирпичников волновался.

Ждали-ждали-пождали, переглядывались с Марковым, смотрели на ходики стенные — ох, не идут?..

Но в 7 часов, по коридору ступая — пришли, нагруженные свинцовыми ящиками.

Ах, вы, грузила наши, не свинцовые, раззолоченные! С вами-то мы люди, с патронами и солдат — человек! Так-то еще можно постоять!

Разбирали на взводы, на отделения — набивали поясные патронные подсумки.

И в карманы шинелей клали, избыток.

Теперь на кухню за завтраком, с четырьмя носчиками, пойдет Орлов, самый верный. Присмотрит.

69

И приснился Козьме Гвоздеву на тюремной койке под утро — сон.

Увидел: на большом белом камне сидит в посконном, хорошо выстиранном, свежем — седой дед в лаптях. И онучи, и обора каждая — чиста, бела.

По всему — простой деревенский дед. Только больно долги, назад за голову, его седые волосы, и особая светлизна от них, вот уж промыты, волосик от волосика, и развеваются.

И — плачет дед. Да так горюче, так сокрушно — старуху ли схоронил? избу ли ему сожгли? всё гнездо перебили? Плачет, Козьму не оглянет, плачет — и слёзы катятся, отдельные видно, по щеке сморщенной или на седой бороде задержась.

И жалко стало Козьме деда. Приступил к нему:

— Да что уж ты, дед, так плачешь? Да так уж — не убивайся.

Дед голову приклонно держал и в ладонях. А тут — поднял глаза — и от этих глаз Козьма аж продрог, аж заледело в нём: что дед-то — не простой, дед — святой.

И что плачет он — не по себе, а — его, Козьму, жалеет.

— Да за меня ты — что? — силился Козьма утешать и дале.— За меня не плачь, меня скоро выпустят.

Но — мудрость в очах старика повернулась — и ещё обледел Козьма, понял: нет, не скоро. Ай, нескоро-нескоро-нескоро. Долже человеческой жизни.

Так ни слова и не вымолвил дед столетний. Обронил голову — да как рыдал, как рыдал!

И тогда ещё ледяней запало Козьме: да может он — и не по мне? По мне одному никак столько слёз быть не может.

А — по ком же?..

Такого и сердце не вмещает.

Проснулся — всё нутро схвачено холодом, тоской.

70

После завтрака Кирпичников велел строить 2-ю роту при боевом снаряжении в длинном коридоре второго этажа. Пулемёты стали на левом фланге.

Вышел перед строй — ещё ни разу ничем не награждённый, хотя один раз раненный, с ушами плоскими, прилепленными, крупноносый, губастый, лба мало, а сильно открытые глаза. Стараясь держаться поважней, а недоуменно. И голосом, привыкшим к отрубистой команде, а не к речи, чуть помлевая и растягивая:

— Ну что, братцы, скажем?.. Эти дни сами были-видели, и прикладами тыкали, и спусковые крючки тоже нажимали. Спросим: не довольно ли нам людскую кровушку лить? Притом, что наверху непристойное деется... Не довольно ли нам этим трутням поклоняться, которы с нас жилы тянут? А не правей ли нам — супротив народа не идти?.. Я уверен, другие части окажут нам всяку поддержку.

Вот в этом-то он не был уверен, но и нельзя же звать людей на обречённость.

В ответ никто связно не выразил, но погудели. Вроде, с одобрением.

— Так вот: надеетесь ли вы на меня? И будете ли мою команду исполнять?

Отозвались, что надеются.

— Так вот. Всем приходящим младшим офицерам отвечать как положено: здравия желаем, ваше высокородие! И виду не подавать. А Лашкевичу на приветствие — не отвечать, а всем кричать сразу только: „ура!".

Ещё он сам не понимал точно, как это будет дальше, но уж если „ура" крикнут — то и всем обрезано. Этим — спаяются, в один шаг перейдут.

И стояли в строю. Колотились сердца. Стояли на худший из боёв.

Без десяти минут восемь пришёл прапорщик. Кирпичников скомандовал как ни в чём, даже с избытком лихости:

— Смир-рна! Равнение нá средину!

Козырнул прапорщик фельдфебелю, козырнул строю:

— Здорово, ребята!

И рявкнули как положено, ну не слишком ладно:

— Здравия желаем, ваш скродь!

— Вольно!

— Вольно, оправиться.

Но уже само несёт, не сдержать. Кирпичников подходит на рожон с боковой походочкой, отчасти чтоб и своим напомнить:

— Ну как, ваше скородие, геройски действовали молодцы-волынцы вчерашний день?

— Да,— говорит.

— А сегодня — ещё лучше будем действовать. Вот посмóтрите, как сегодня молодецки.— А у самого голос дрожит.

А люди все — тихо стоят, замерев. Все-то понимают, кроме прапорщика.

Пождали.

Немного за восемь, подбегает дневальный, что на подходе — штабс-капитан Лашкевич.

Все солдаты повернулись на Кирпичникова. А он только прищурился сильней да руку слегка приподнял, чтобы все видели: он за всех думает.

Но Лашкевич сперва не сюда, прошёл в канцелярию. Продлил всем жизнь.

Через пять минут прямо сюда. Очки золотые, заприметчивый, кусливый. Прапорщик скомандовал:

— Смир-рна! Равнение — нá средину!

Доложил. Лашкевич принял рапорт. Всё с оружием — так как он и приказал. Поздоровался со строем.

И вдруг весь строй заедино, кто и отставши, грохнул:

— Ура-а-а-а!!!

Капитан даже назад спину выгнул. Насторожился — на строй, на Кирпичникова. И, не ждать,— улыбнулся, мягко выстилая:

— Что это за форма такая, Кирпичников?

Так ли, этак ли лучше сложить ответ, но не успел Кирпичников, как из строя крикнул питерский ефрейтор Орлов:

— Довольно крови!

Капитан — сразу всунул правую руку в карман. Значит, там револьвер. И стал ходить-ходить перед строем, похаживать, поглядывать в лица. Искал, наверно, кто крикнул. Не нашёл. И ни у кого другого, а у Маркова спросил вкрадчиво:

— Объясни, что такое значит „ура"?

Так и пришлось объяснить первому Маркову. Один шаг между ними. Заподнял Марков голову и как в пропасть, уж тогда без „вашего высокоблагородия", чего там:

— А так, что — стрелять больше не будем! Не желаем понапрасну лить братску кровь!

А-а! Лашкевич так и вонзился, нашёл! Чуть ещё наклонясь к Маркову:

— Что-что??

После сказанного — что остаётся солдату? Говорить уже нечего, очкастый переговорит. И — н а р у к у винтовку! От левой ноги, как стояла на каменном полу — взял в две руки, штыком вперёд надклоняя.

Ну, не прямо в грудь, а, мол, поостерегись.

Лашкевич и поостерёгся. Опять выровнялся, спину выгнул. Ещё против Маркова постоял — начал ходить. И глазами доглядчивыми, острыми — по лицам, по лицам.

А тут ещё два прапорщика подошли, Вельяминов и Ткачура. Видят — начальник учебной команды что-то расхаживает не в духе. Первый прапорщик им шёпотом сообщает.

А Лашкевич, теперь неизблизи, весь строй охватывая, голосом звонким, но не угрозно, а отчаянно:

— Солдаты-гвардейцы! Его величество Государь император прислал телеграмму войскам столицы. Он просит войска прекратить волнения, которые расстраивают нашу воюющую армию!

За царя, значит, ухватился.

Тишина.

Строй стоит как окованный. Строй, однако, привычка.

И Марков винтовку опускает, опустил. Взял к ноге, как у всех.

Тут Вельяминов:

— Господин капитан, разрешите выйти, мне дурно стало.

Лашкевич, головы не поворачивая, весь взор на строй, ледяно ему:

— Выйдите.

Тот ушёл быстро.

Ушёл? Так он — другим частям передаст??

Кажется: если б Лашкевич на дверь голову только повернул — вот бы уже и рассыпались гурьбами. Но он — струнно стоял, весь на строй. Ещё в воздухе висло — от Государя императора.

И строй стоял.

И Кирпичников, в своей отдельности, но тем же строем скованный, не смел порушить. Стоял, не находился.

Вдруг чей-то приклад в задней шеренге ударил о каменную плиту. И басом:

— Уходи от нас. Не хотим тебя видеть!

И, подражая, другой приклад, в другом месте — бух!

Нашли, как! Ещё, ещё прикладами о каменные плиты! Небывалый, неслыханный, грозный гул по коридору! А в нём отдаётся!

Лашкевич плечами поёжился. Чутка́ ещё не хватало. И тут завопил ему Кирпичников:

— Уходи вон!!

И Лашкевич вдруг — быстро повернулся. И быстро пошёл. На лестницу вниз. Там по лестнице.

И прапорщики исчезли.

Победа?! Вот это и было тяжкое самое — как первый раз переступить? как со своим командиром обратиться? И вот — ушёл, прогнали?

Ушли — так теперь покличут на нас атаку.

Кинулся Кирпичников к окну, отсюда двор виден.

И раму заклеенную рванул, распахнул: куда пойдёт?

Вот тут — и повалили из строя. И то не все, остались и на местах.

И второе окно рванули.

И видели: штабс-капитан Лашкевич, сойдя с крыльца, быстро шёл через двор — к воротам, на улицу. Значит — вон? Значит — к штабу батальона?

Не Кирпичников, Орлов крикнул:

— Бей!

Такого — не задумывали, но так получилось.

И поднялось с пяток винтовок, Орлов тоже, бахнули в открытые окна.

И — свалился штабс-капитан перед воротами, на утолоченный снег. И не дрыгался.

Намертво.

О-го-о-о... Это что ж теперь будет?..

Кто обмерши. А кто по коридору:

— Ура-а-а-а!

А какое „ура"? — только теперь-то всё и начиналось. Только теперь-то и отрезало: не тогда, когда Лашкевич побежал вон — а когда упал. Теперь — ни у кого здесь уже нет повёртки.

Теперь — мы взбунтованы, бесповоротно! И — что будет?

Перекрикивал Кирпичников, руками махал: на места! в строй!

Собрались, стали в строй.

А — что теперь? Ночью думали: занять оборону по лестнице и по окнам. Но это — в ловушке себя запереть. Это думали, когда переступить боялись. А когда уже переступлено...?

Наружу! Звать другие роты! Чем больше созовём — тем меньше ляжет на нас. Теперь — всё отрезано, теперь только и выход — звать других!

Завопил Кирпичников команду:

— Рота напра-во!! Шагом-марш!

И — потопали, посыпали по лестнице. Во двор!

Во дворе уже не стало строя: рассыпались кто куда, разбрелись как пьяные, очумелые.

Стреляли в воздух без толку.

А кто кричал „ура".

Горнисты заиграли тревогу.

Кирпичников послал Маркова и Орлова в другую роту учебной команды — звать присоединяться.

71

Поезд пришёл в Москву очень рано утром, и ещё пустым ранним трамваем Георгий добирался домой на Остоженку.

Тихо, ослабно сердцу было вечером в субботу у своих. Вчера утром и на улицах в Петрограде уже всё успокоилось. Но то мрачное сердечное сжатие, схватившее в Мустамяках,— оно так и не отпустило. Что́ оно было?

А в Петрограде всё заслонило ужасом, что своими же руками развалил он хрупкое подлечение Алины. И что теперь снова начнётся? И с каким новым размахом!

Совсем ни на час не наступает привычная бодрая светлость. А — какая-то муть неразборная в душе. И всё время — мешает.

И чем ближе домой — тем угнетённей и мрачней. А когда уже поднимался

по лестнице в сером утреннем свете — сердце сжало и ударяло. Так и не разыскав или потеряв, что же именно он первое выразит? сделает? скажет? — повернул дважды ушко дверного звонка.

Алина, вероятно, ещё в постели. Ждал её возникающих шагов. Не слышал. Не шла.

Могла этим и демонстрировать.

Ещё раз позвонил.

Не шла.

Ещё раз. Никак не могла не проснуться. Но не шла.

Ещё раз. Или уж выдержку какую надо иметь. Или... её нет??

Подумал — и захолонул, обвалилось внутри. Боже — неужели? Боже! неужели она...?

Позвонил! Позвонил! Позвонил!

Молчание.

Боже, неужели там она у себя на постели — лежит мёртвая? Вдруг представилось так ясно, неотвратимо: что иначе и быть не может! Да, да, именно так! И сколько случаев таких бывают — запираются. Да она ведь так и угрожала.

Уже видел её мёртвой, на постели навзничь — и эта внезапность косым передрогом прошла по нему. Вдруг — вся утлая наша жизнь перед этим рубежом.

Уже не звонил. Отдышивался, соображал. Протёр лоб. А может — её просто нет? Простая мысль: живо пойти к церковной привратнице, спросить.

Старушка уже на ногах. Ничему не удивилась. Да, вот, оставила вам ключи. Уехала, да. Не знаю, куда.

Фу-у-у-у-уф, отлегло. Жива.

Полегчало даже втройне: и что ничего не случилось, и что дома её сейчас нет, не будет бурной сцены, и не надо усиливаться ничего говорить, объяснять.

Но и тут же, ещё не дойдя до своего этажа: а может, обманула привратницу? Другими ключами заперлась изнутри — и...?

Поспешил последний пролёт.

Вступил — как вор в пустую чужую квартиру? или как родственник во склеп? Было это в нём самом внутри — или веяло в воздухе могильностью?

Не раздеваясь — сразу скорей вперёд!

В столовую. Пуста.

К тому месту, где прошлый раз выставлялась её записка. Стояла та же рамка, с фотографией — Алина в широкополой шляпе, с гордо поднятой головой, красивая, счастливая. Но записки никакой не было.

А лежали тут — большие портновские ножницы, растворенные до предела.

Посмотрел записку на буфете, по другим местам,— не видно.

И — быстрей в спальню!

Нет! Постель ровненько застелена. Не помята. О, как облегчилось! Именно навзничь представлял.

И вся спальня — в порядке. Не как осенью, не бегство. Невольно глазами по полу: нет ли скомканных бумажек, как тогда? Нету. Смотрел, искал ещё — на комоде, на туалетном столике.

И увидел: к середине туалетного зеркала прислонённые, подпёртые пудреницей — *стояли* ножницы для ногтей. Так же — с раскинутыми до предела полотенками — кажется, до боли самим себе, и даже концы их искривились. Нет, это они, искривлённые, были жалами направлены на смотрящего — уколом!

Теперь и на комоде, на кружевной дорожке увидел ещё ножницы — и так же распахнутые до предела!

Это уже не могло быть случайностью? На туалете слишком нарочито стояли.

Скорее дальше, в свой кабинет. Письменный стол Георгия чист, пустынен, как всегда в его отлучку, постоянные предметы — просторным полуовалом. И только в центре стояла посередине пустого пространства — большие ножницы его для обрезки карт — распластанные, с раскинутыми до предела остриями.

Нет, это не случайность. Но что это значить могло?

Первая мысль толкалась сама, не найденная, вбежавшая: всё-таки — предупреждение о самоубийстве. Кончу с собой!

Почему такая мысль? Ничего, кроме острых концов, скорее глаза выкалывающих, тут не было от самоубийства. А — пришла.

Обходил — всё. И повсюду находил ещё и ещё, и в кухне на столе, и в передней на подзеркальнике — до восьми ножниц, все ножницы, какие в доме были! — и все одинаково: с отчаяния раскинутыми остриями!

Какой-то грозный намёк, если и не о смерти.

Уже Георгий не облегчён был, что Алины нет дома, а находил этот оборот хуже. Что-то с ней... Что-то она... Уж лучше была бы здесь. Уж лучше выплескивала бы ему в лицо.

А может быть: как знак их расхождения? Вот, как эти полотенки, раньше сходившиеся, теперь разбросаны до предела — так, мол, теперь и мы разошлись, сколько достать в разные стороны, и обручальные кольца наши разбросаны — и кончено?

И на миг махнуло как тёплым хвостиком.

Бродил бессмысленно, беспомощно по комнатам, так и не сняв шинели и шашки.

Одни, другие ножницы свёл.

Потом — опять развёл. Пусть как она оставила.

Нет, жутче: это скорее было похоже, что она тронулась умом. До такого, да ещё стоймя приставлять, не додумаешься в здравомыслии.

Алина — помутилась в уме?

Боже, как сердце сжато! Как безысходно. Как — сделать ничего нельзя.

И так разрывающе её жаль! И это — он её довёл.

Нужно — догонять её, образумливать, успокаивать. Но — куда? Но где?

Хоть что-нибудь было бы от неё! Самое дурное, но — письмо!

Нич-чего.

Только тут сообразил: а Сусанна же есть! Да не у неё ли Алина?

Не заперев двери, побежал по лестнице к телефону.

Но одумался: ещё нет восьми утра, невозможно тревожить так рано. По крайней мере — с половины девятого.

Вернулся. Разделся.

Ходил потерянный.

Квартира — как пустыня. И такой мрак.

Неужели тронулась разумом?

Как всё ноет и болит внутри. О, лучше б она была здесь!

Ничего не мог — себя, для себя, найти, пайтись.

В половине девятого тоже подумал, что ещё рано.

С бесчетверти.

А когда пошёл телефонировать без четверти — ответили: Сусанна Иосифовна ушла, будет дома часам к четырём.

Упустил!

И теперь целый день — безвестности, непонимания, тоски...

72

Да, Воронцов-Вельяминов ещё недавно был студентом университета — но ещё недавней он кончил сокращённые курсы при Пажеском корпусе и получил офицерское звание. Да, он прекрасно слышал зов общества — но он же был и офицер воюющей России. Сердце его эти дни разрывалось — но и нельзя ж допускать бунт в столице, да во время войны! Между собой молодые офицеры бранили чучело Хабалова: тряпка, допустил в городе хаос. Но вот и тронуло армию: вчера — павловцы, сегодня, сейчас, в коридоре — стояли они с Лашкевичем перед бунтарским строем. И Вельяминов догадался — и благовидно отпросясь — и через две ступеньки на третью — и по снежным кочкам бегом — ворвался в батальонную канцелярию — и мимо всех уставов требовал видеть полковника Висковского — бунт в батальоне!!! Учебная команда отказывается подчиняться!

Ну — так ли? Ну, может ли быть? Ну, пока доложили.
И совсем-совсем не сразу вышел рыхлый белотелый полковник Висковский, из тех, кто и долгую службу пройдя, как-то минует испытания железом, а лишь удобно возвышается в чинах. Прежде — в прелестной Варшаве, теперь в Петрограде.
Ну, так ли? Эти нетерпеливые молодые люди не знают, что первые офицерские качества — осмотрительность и хладнокровие. Как это может быть, чтобы солдаты гвардейского полка — и отказались подчиняться? Это — событие невозможное.
Но это — так! Но минуты текли! Но капитан Лашкевич там стоял пружинно перед строем — и тем более ничего придумать не мог! Помощь, помощь нужна скорей, туда!
А полковник погрузился в размышление: какая же служебная неприятность.
И прапорщик осмелился ещё что-то выпыхнуть, не слыша своих слов. И полковник всё-таки подвинулся.
К телефону. Просил соединить с градоначальством.
Что за чушь? Под рукою целый батальон, зачем градоначальство?!
— Это полковник Висковский, командир лейб-гвардии Волынского запасного...
(Это же всё протолкнуть надо!)
— ...Могу ли я попросить генерала Хабалова?
А тот, оказывается, ещё не приезжал с квартиры. А что случилось?
И как ответить? И можно ли так верить прапорщику?
— А тут... вот...— тянул полковник,— я должен направить учебную команду в наряд по улицам, а она...
Тут послышались близкие выстрелы, пачкой.
Вбежал прапорщик Колоколов — и сорванно, дико:
— Господин полковник! Капитан Лашкевич убит! Команда взбунтовалась!
И полковник — оцепенел. Теперь — несомненно что-то случилось. Но как это повторить в телефон начальству? Ах, какое расстройство.
И оттуда, из штаба Округа, ему не находились, что сказать. Ведь генерала Хабалова ещё нет. А такие события в воинских частях не предусмотрены.
Тут вбегали ещё офицеры, молодые прапорщики, потом и постарше... Взбунтованная рота выходит во двор!.. Во дворе — сумятица, беспорядочное движение! Стреляют, трубят! ...Все с оружием, но никуда не выходят, не строятся. Сами явно озадачены, плана нет... Проходящих офицеров не трогают... Труп капитана Лашкевича лежит...
И все стояли перед полковником, не ослабляя ног.
А он пребывал в размышлении. Впрочем, и остальные офицеры были в этом запасном батальоне как чужие: или только назначенные, несколько дней-недель, или только долечивались и тяготились, как бы уехать скорее в действующий полк. Не здесь были их места, не было у них привычных верных унтеров, и солдаты не известны по фамилиям — как не своя часть.
А полковник Висковский цепенел. Никого не послал к взбунтовавшимся, уговорить их. И никого не послал за поддержкой.
Он — коснел. Увидел капитана Машкина 1-го и позвал его в кабинет, совещаться.
Офицеры нервно разговаривали, и при писарях, расхаживали, курили. Лихой Цуриков сам бы кинулся во двор — но нельзя без приказа. Штабс-капитан Машкин 2-й уклонялся осуждать солдат: вот довели Россию, довели и солдат. Ткачура сжимал кулаки: у него на глазах всё произошло, и самого могли подбить.
А из кабинета не выходили. И тут офицеры — начали возмущаться дерзко. Некоторые прапорщики и всего-то на военной службе были по шесть месяцев, но и те понимали, что...
Тут вбежал прапорщик Люба — но в каком виде! — уже переодетый в штатское. А иначе, мол, рискованно было пройти. Ловкач! Быстро! Так это что — и нам предстоит? Чудовищно!

Но не успели его ни упрекнуть, ни расспросить — вернулся полковник.
Теперь голоса уже и не умолкали. Требовали приказаний!
А полковник с опущенными руками сам у них спросил:
— Штаб Округа не командует! Что же нам делать?
Но ведь это было так ясно! Загудели энергичные гневные голоса:
— Вызвать пулемётную команду!
— Другими ротами оцепить двор!
— Но можем ли мы стрелять в своих солдат?..
— Вызвать артиллерию из Михайловского училища!
— Но, господа,— слабо возражал потерянный полковник, не обижаясь на тон советов.— Но, быть может, солдаты и сами одумаются и выдадут виновных?
— Да с чего ж одумаются? — закричали на него.
И он ушёл в кабинет.
Адъютант звонил в штаб войск гвардии и не мог добиться толку.
Офицеры ходили-курили, как прикованные теперь к канцелярии. Перекидывались коротко. К ним сюда пока не врывались — но что может произойти? И как же можно — не давить военного восстания?
А *там* — лежал Лашкевич, лицом в снег.
Ближе к половине десятого вбежал унтер:
— Учебная команда выходит на улицу с оружием!
Доложили полковнику.
Теперь ещё меньше знал он, что делать. И уже не надеялся на штаб Округа. Вышел к офицерам:
— Господа, надо признать, что события вышли из нашего управления. Мы ничем помочь не можем. Я рекомендую всем вам — разойтись по домам.
И сам — тут же пошёл садиться в автомобиль.
Вот это так! — остались обескураженные офицеры.

73

Квартира министра внутренних дел на Фонтанке близ Пантелеймоновского моста состояла из двух половин: по одну сторону зеркально-ковровой лестницы — официальная: приёмный зал с мраморными колоннами, биллиардная, кабинет и рядом с ним запасная спальня, где Протопопов сегодня и спал. По другую сторону лестницы — приватная, она соединялась с официальной и своим ходом.
Все эти месяцы, министром, Александр Дмитриевич как-то наладился поздно ложиться, не раньше трёх-четырёх ночи,— затягивался приём, а там обед у кого-нибудь, ещё визиты, ужин, а ночами сочинял проекты,— так что министерский день начинался уже, ну, в час дня. И сегодня б ещё спать, а что-то проснулся в девять.
Не все годы своей жизни Александр Дмитриевич наслаждался семейностью, неравномерно. Уже было у них с Ольгой Павловной две дочери, когда убили дядюшку Селиверстова и досталась в наследство суконная фабрика в Симбирской губернии,— Протопопов надолго расстался с семьёй, поехав в Париж под предлогом изучать заграничную постановку суконной промышленности. Но управляющий за два года спустил полстоимости фабрики — и пришлось самому селиться в имении при фабрике, и строить, и реформировать. Там жили по-помещичьи, задавали пиры в саду в Ольгин день, чуть не выдали старшую дочь за предполагаемого министра — но тот министром не стал, и брак расстроился. А вот — негаданно министром стал Александр Дмитрич! (И только то неловко, что брат жены, сенатор Носович, становился обвинителем Сухомлинова, вот так всё перемешано.) Ольга Павловна стала ездить по Петрограду с визитами как жена министра, покуривая из золотого портсигара и закусывая конфетками, Александр же Дмитриевич в министерском положении тем более получил ценимую им свободу.
Так вот лежать на бочку, щурясь на потолочную лепку, и перебирать. Перебирать — как возвысился, как управляет, что ещё будет делать.

Впрочем, будущее было ему отчасти и открыто проницательным предсказателем астрологом Перреном.

Это так началось: в позапрошлом году Перрен был в Петрограде, жил в Гранд-отеле. Александр Дмитрич узнал о нём через газеты, а он всегда интересовался всем миром психических явлений. Поехали погадать у него о женихе дочери — но Перрен обратил внимание на самого Протопопова и сразу предсказал ему великое будущее. Очень метко сказал: „Вы сами себя создали. И всегда следуйте своему импульсу, он верен!" И действительно, вскоре за тем Александра Дмитриевича избрали товарищем председателя Государственной Думы, а через год стал и министром,— поразительно предсказал! Минувшим летом Перрен снова приезжал в Россию, но почему-то легло на него подозрение, что он — немецкий шпион, и был выслан без права возврата. Так и не удалось больше повидаться. Но когда назначили министром, Перрен прислал письмо: „Под вашим управлением возникнет сильная новая счастливая Россия. Путь ваш не всегда будет усыпан розами, но вы преодолеете все препятствия!" Неужели же?! А что не усыпан розами, так с этим надо смириться. И ещё писал: „Ваши элементы — честность, сила и стремление к движению вперёд, вы — человек большого упорства и большой силы убеждения". Ах, как верно! Очень-очень интересовался Александр Дмитрич всеми этими предсказаниями! Послал ему телеграмму в Стокгольм: приезжайте, я получу для вас визу! И тот обещал приехать к началу февраля. Но не удалось: генеральный штаб помешал визе. В ответ Перрен ещё предсказал: „Я боюсь, что вы подвергнетесь болезни после ноября 1916. Но всякий раз, когда вам грозит опасность,— я испытываю нервность и буду действовать на расстоянии телепатическими пассами, от чего вы будете испытывать сонливость". (Вот может быть и сейчас.) И предсказал ближайшие опасные для Протопопова дни: 5, 8, 14, 15, 16, 18 и 24, лучше в эти дни не выходить из дому и принимать только близких. И как раз 14 февраля при открытии Думы ожидалось массовое шествие, Протопопов думал: ну, вот! что-то случится! Но прошло вполне благополучно. И последнее 24-е тоже. (Да после ареста рабочей группы движение надолго обезглавлено.) И когда благополучно прошло 24-е — Протопопов дал Перрену в Швецию телеграмму благодарственную, и сожалительную, что встретятся теперь только после войны.

Бывают, конечно, и самозванные предсказатели. Риттих три недели назад сказал Протопопову при совещании министров: „Ваш рок смотрит вам в глаза, чего опасались римляне. Берегитесь его!" Даже пробежало по спине неприятное. Но Риттих — не провидец.

Рок! Рок над собой всегда чувствовал Александр Дмитриевич. И — как он опасно долго болел: миэлит, неврастения, размягчение черепной кости,— всё лечился тибетскими травами, затем двухлетний гипнотический курс у психиатра Бехтерева. Но всё ещё не достиг устойчивости настроения, так и остались его уделом то провальные безвольные мрачные упадки, то эвфорическое взлётное состояние, когда не принимаешь огорчений к сердцу. И — каких неожиданных людей встречал в неожиданные моменты, и как это внезапно круто поворачивало его судьбу. И как роково играл в карты, ещё ротмистром. И роково разбогател от наследства. И роково, затяжчиво любил женщин и покорял назначенную.

Да в яростном столкновении Думы и Верховной власти — кто б ещё мог так удивительно возвыситься, и так балансировать на проволоке, под ропот гнева внизу,— и достичь такого могущества? Никто никогда не достигал, не соединял такого. Как некий Алкивиад. Да, Александр Протопопов действительно был роковой личностью, с роковой судьбой! И можно было поверить, что под его управлением возникнет небывалая Россия! Научиться писать „революцию" без буквы „р", сохранить монархическую власть чисто эволюционным способом! Революционная правая политика — вот как бы он определил.

Увы, за пять министерских месяцев он неоправданно мало сделал — да из-за этой дикой обстановки, дикой общественной травли, всё время в каком-то растопыренном положении, и должен отказываться от несомненных шагов. Но зато — как он ясно и умно всё видел, сколько открытых простых возможностей! Тут, наверху, просто — залежи неиспользованных возможностей, только вытаскивай из груд и применяй.

Ах, власть! Власть — это не то, что ораторство в Думе.

Но — и как выламывает власть. Как выламывает мягкий ласковый характер Александра Дмитриевича. Чего стоит этот баланс на проволоке! В ноябре: вдруг узнаёт Александр Дмитрич, что Григорович вызван тайно в Ставку получить пост премьера. А Григорович — конечно выгонит! Протопопов кидается к государыне — и та успевает остановить по телефону в последний момент! Тогда понадеялись на расположение Трепова. Но и Трепов стал гнать Протопопова — в декабре выставили и Трепова.

Вот — новогодний приём в Зимнем дворце. Кто мог ждать? В самых добрых ласковых чувствах прилавировал Протопопов через толпу гостей к широким плечам Родзянки: „Здравствуйте, Михаил Владимирович!" И ещё не успел произнести новогоднего поздравления, как тот зарычал, затрясся как грузовик: ,,Не подходите ко мне! Ни за что, никогда, ни при каких условиях!" Но Протопопов не обиделся, он обнял Родзянку за широченную талию: ,,Дорогой мой, во всём можно сговориться". А тот всё трясся и рычал, привлекая окружающих: ,,Не прикасайтесь ко мне! Отойдите, вы мне противны!" Только и осталось Александру Дмитриевичу пошутить упавшим голосом: ,,Если так, то я вас вызываю..." Но тот и шутки не понял: ,,Пожалуйста, только чтоб ваши секунданты были не из жандармов!"

И эти два месяца избегал Протопопов всякой встречи с ним.

Но теперь — замечательно: сегодня — Думу распустили, теперь можно будет и жить и управлять.

Когда в Царском Селе верят тебе и благосклонны — это одно лечит. Только там и согреешься душой. Только и можно что-нибудь сделать, если касаешься царской семьи. В эти месяцы травли тем более тянулся к узкому царскому окружению. Говорил Государю: „Ваше Величество, увы, я не могу быть вам полезен, я заплёван!" Но сказал Государь: ,,Продолжайте, я вам верю!" Радостно оправдывать это высокое доверие. И ещё более твёрдое — на женской половине дворца.

Как прекрасна жизнь, когда ты любишь, когда тебя любят, как прекрасна была бы жизнь без политических страстей и злоб.

В дверь неприятно сильно постучали. Александр Дмитрич вздрогнул и натянул одеяло.

Кто это там?

Камердинер. Срочно вызывает к телефону градоначальник, просил и будить.

Ах? Что ж это?.. Да, там же у них... беспорядки. А ведь в пятый день должны кончиться.

Так нехотя, так через силу — встал, надел мохнатый халат, завязал пояс с кистями.

Перешёл в кабинет, мягко ступая туфлями, отороченными мехом. Пока лежал — будто не было рано, а вот вызвали — почувствовал, что рано.

И сразу в трубку — дневной разогнанный голос Балка. Что в лучшем батальоне — лейб-гвардии Волынском, взбунтовалась учебная команда и убила образцового офицера!

Ах, как похолодело внутри! Ещё не осознал как следует,— ну, местный эпизод,— но тон! но тон?

— Но — один локальный случай?

— Пока не знаю! Мы сегодня ночью ожидали восстания во 2-м флотском экипаже, было донесение Охранного отделения о тайном собрании матросов.

— Так это... дело Хабалова... Или Григоровича.

— Мы до Хабалова всю ночь не могли дозвониться! А Григорович болен. Мы сами посылали в экипаж...

Ах, как сразу много, напористо, неприятно! Как инстинктивно не хотелось принять рано утром всё это в свою незащищённую жизнь, ещё с постельным теплом, ещё не доспав...

А Балк — спрашивал указаний! решений! его звонок был — вопрос!

А — что мог министр внутренних дел? А при чём тут он? Всё это передано военным властям...

Не знал, что сказать.

А градоначальник ждал.

Да! вспомнилось — и как же это некстати:

— А мы только что послали высочайший указ о роспуске Государственной Думы,— зачем-то пожаловался подчинённому. И почему-то спросил: — Что вы скажете?

— О, если б это было сделано раньше! — вскрикнул градоначальник.— А теперь это может только повредить!

Сжалось сердце. Ах, как нехорошо. Ах, как нехорошо, правда!

— Н-н-ну, посмотрим, голубчик... Н-ну, что Бог даст... Н-ну, может быть, к вечеру успокоится.

74

Сообразить не мог и Кирпичников: что делать дальше?

Ясно, надо прихватывать и другие части: полез по горло, лезь и по уши. Чем больше прихватим — тем меньше накажут.

Да ещё если б Лашкевича не убили. Вот уж...

Но шли полчаса, и другие полчаса — а куда ж выходить одной учебной командой? Кучка.

Марков воротился: подготовительная учебная команда выходить не хочет.

Ну, пан или пропал! кинулся Кирпичников сам.

Вбежал в их помещение:

— Ура-а-а-а! — А у самого кошки на сердце.

Никто „ура" не поддерживает. Не видят, чему радоваться.

— Выходи, братцы! За свободу!

Не идут. Оружия не разбирают. На нарах сидят угрюмо.

И почувствовал Тимофей опадь сил, как свои бы руки-ноги не шли. Первый-то шаг оказался лёгок — а вот второй? Ну, перевешают всех.

Тогда подозвал он к себе в кучку унтеров и уже голосом умеренным (в голосе тоже силы не стало) уговаривал одних этих,— помогли бы поднять подготовительную. Пусть унтеры прикажут или убедят,— как же вы можете своих не поддержать?

Мнутся унтеры, поди им докажи. Переступить повиновение, выходить, с винтовками на улицу? У нас — уже всё оторвано, а им в казармах, конечно, целей.

— Да братцы же! — надрывался Кирпичников.— Сегодня посылают нас людей убивать, а завтра вас пошлют! Вы б видели: как после залпа толпа схлынула — а на снегу убитые-раненые корчатся. Вы б видели!

Трогаются, да нехотя. Один, другой унтер своим: вроде б одеваться, выходить. А — нехотя.

Вдруг — во дворе новый шум и стрельба! Ринулся Кирпичников во двор — а там кипит! а в воздух палят! И к нему — Орлов, ряжка, глаза навылуп:

— Вышла вся 4-я рота!

— Да как же уговорили? — Кирпичников в ухо ему кричит.— А я подготовительную не могу.

— А — по-рабочему! — кричит Орлов.— Кулаком по шее! Поймут!

И — в подготовительную.

В каменном дворе, средь каменных улиц эта пальба — растрескивает, уши вырывает. А весело:

— Ура-а-а-а! Ура-а-а-а!

А кто-то — на каменный забор вскарабкался, а за забором — литовцы и преображенцы, ихний двор. И туда им с забора кричат: руками и шапками машут. Да сами должны стрельбу понять.

Верно! Терять ни минуты больше нельзя. Тут, во дворе — запрут и пулемётами покосят. И патронов у нас столько нет. Надо — и преображенцев поднимать, тут их часть, и литовцев бы,— а прежде бы свои волынские основные роты, 1-ю, 2-ю, 3-ю, они в других казармах.

Ещё удивительно: больше часа прошло, а не спроворились, не перегородили нас. Если выйдем со двора — спасены.

И стал кричать:

— На-плечо-о! На-пле-чо-о!

Голос командный, да не густ. Да тут и густого не услышат, все сами орут, каждый себе. Стал руками махать — перестаньте! Стал винтовку брать и показывать:

— На плечо-о!

Тут — и подготовительная высыпала!

И стал сбиваться строй небывалый — не по отделениям, не по взводам, даже не по ротам, только что в колонну по четыре, а где и по пять. Закричал Кирпичников:

— За свободу!! Шагом-арш!

И — колыхнула, и — пошла колонна, как дикая, как пьяная, не в ногу. Не считая, кто во дворе остался, кто назад по казармам пошмыгал.

И побежал Кирпичников, обгоняя, к голове. Ротные колонны вести — фельдфебелю не в новость, да только всегда тишина и послушание, всегда по тротуарчику офицер идёт, и маршрут фельдфебелю указан, а тут — распахнись! Или весь город твой, или на виселицу!

Скомандовал по Виленскому переулку к Фонтанной — снимать свои волынские 1-ю, 2-ю, 3-ю роты. Если эдакой колонной подойдём — неуж не дрогнут? С каждой сотней присоединённой нам легче и легче — а если весь батальон подымем?

Оглянулся — только взводные унтеры кой-где при колонне рядом. А — ни одного ж офицера нигде, как вымело! А-а-а, нас боятся! Боятся нашей солдатской рати! Им-то — ещё страшней!

А переулок — короткий, быстро шагом его берём, а до Фонтанной — ещё короче. Одна стена переулка — вся казарменная, по другой — домишков несколько, жителей мало, пуст переулок, не видят нашего шага волынского, сбитого, растрёпанного, и не до равненья.

Вдруг — бегут навстречу двое молодых, он и она,— и к передним, и к Кирпичникову, а руками позадь себя показывают:

— Там на вас пулемёты приготовлены!

Где именно, уже на Знаменской? сколько пулемётов? — и Кирпичников не спросил, и они не добавили, а с каждым шагом до пулемётов ближе, и думать некогда, да странно б, если б не приготовили,— и, ладонь приложивши сбоку ко рту, закричал Тимофей:

— Пра-а-авое плечо — вперёд!

Передние — услышали. Послушались. Затоптались левые, находили правые, смотрят-дивятся: куда ж поворачивать?

— Па́ переулку — наза-ад!

Диковатая команда, кажись не время строй разминать. Но подчинились, пошли и так. Впрочем, на много команд их послушанья не хватит. (Пожалел: есть же свои пулемёты где-то, отчего не выдвинул? И отчего вперёд по переулку не послал разведку, проверить? Не сообразил, сразу „правое плечо!". Да переулок узкий, деться некуда, два офицера с двумя пулемётами всех бы нас перещёлкали.)

И куда ж идти? Опять мимо своего двора, и тут вполне могли бы пулемёты выставить.

Нет, не бьют.

— Дальше! — рукой махнул передним,— дальше!

А соображать быстро надо, вот и перекресток. Правильно идём! — к преображенцам, к литовцам, а там дальше сапёры. Вся наша надежда — или подымем их, или погибнем.

— Пра-авое плечо вперё-од!

Налево, по Парадной.

А пока вот что, поздним умом, отрядил: запречь патронную повозку, гнать на Госпитальную, нельзя ли захватить наш волынский цейхауз — и везти нам патроны!

Сам — выбежал, и перед передними, задом пятясь:

— Братцы! Если преображенцев сейчас не подымем — это нам конец!! Преображенцев — любой ценой поднять!!

И — заворачивать к ним во двор. Идёт колонна ощетиненная, винтовки на руку, штыки в небо — в воротах не остановишь!

И не останавливают, не заперты.

А во дворе — горнисты заиграли тревогу. И рожки.

И ударили в полковой колокол литовцы.

В атаку на нас? Нет, это себя подбодряют: попрятались. От нас — попрятались соседи. Позагоняли их с ученья по казармам.

Обширный двор преображенский — пуст.

И — растеклись волынцы внутрь, уже толпой.

А все двери — позаперты. А окна — насторожены, кто-то там выглядывает.

Стоят волынцы в чужом дворе — и перебить их сверху не трудно.

Но молчат этажи.

И эти преображенцы нам сейчас — или братья родные или хуже немцев, и чтоб себя спасти — придётся по ним бить.

А тут — Литовского цейхауз рядом, надо брать.

А пока, у кого глотка здорова, упражняйся:

— Э-э-эй, преображенцы!

Марков:

— Айда-те с нами!

— С нами — за свободу!

— С нами — а то стрелять будем!

Молчат. Двери позаперты. Биться? врываться?

Всё дело зависло на преображенских карнизах.

Заорал Орлов:

— Что ж вы, лети-перелети, своих товарищей павловцев арестовали? Где же ваша гвардейская совесть?

— С нами — за слободу!

— Ура-а-а?

Молчат.

Команды не ждя, кто как сообразит — саданули им в воздух и под крышу выстрелов несколько.

— Эй! стой! по окнам не бей! — оттуда окликнули.

И из одного верхнего окна преображенский унтер — мордатый, русобородый, показал: погоди, мол, не бей, сейчас двери откроем!

75

Ваня Редченков был нраву совсем тихого, а росту дюже удалого: три аршина без вершка. И когда в феврале стали их, 98-го года рождения, брать в армию, то у спас-клепиковского воинского начальника зачислили Ваню в гвардию, и не отправили сразу, как армейских, а отпустили побыть ещё дома две недели.

Иван обрадовался отсрочке — две недели меж родных стен никак не лишние, ещё и на девичьи посиделки два раза сбродить. Но отец Ивана, бывший взводный унтер гвардии Конного полка, осадил: „Ох, сынок, не радуйся, эти две недели ещё из тебя вымотают. В гвардии дисциплина железная, ещё не раз ты по уху получишь от унтера".

В Рязань привезли их, отобранных, в собор, и принимали они присягу. Иван со своего ростица да ещё всю руку поднял и два пальца из неё выставил, всей душой обещая и клянясь, а Митька Пятилазов из их же волости возьми и подруби Ивану руку ребром ладони: „Ты чаво?" — „Ничаво. Не слишком вылянывайся. Половину — себе побереги, на всяк случай".

Везли их через Москву, стоял их эшелон в Замоскворечьи на запасном пути, и оттуда они видели Кремль. А за Тверью опять стояли — и минули их два быстрых одинаких поезда с красивыми синими вагонами. И смикитили все до последней тетери: „Царь поехал! Войска водить!"

И тут же вскоре привезли их в самый Петроград. И от вокзала повели их, полторы тысячи молодцов-богатырей, по главной людной улице. Они пораззявили рты на такое чудно́е построище, а люди с боков — на них, и не мене дивились: „Боже, да где ж такие росли? Да сколько ж у нас ещё народу!"

И сразу повели их в огромадный каменный сарай — „манеж", где манежат. И стали по полкам разбивать — какой-то чин сиятельный, мало что генерал, говорили: великий князь. Построили их вразрядку, а он ходил вдоль, и по каждого лицу определял полк. Да быстро намётанный, только глянет — и уже на груди мелом пишет номер. А позади генерала-князя идёт ещё офицер, из гвардейцев гвардеец, долже трёх аршин гораздо, через генералово плечико номер видит и сразу орёт: „Семёновский!" Иль: „Волынский!"

Потом растолковали Ивану, тут свой разбор, в одном полку все должны быть обликом схожи: в егеря идут — чёрные, в Петербургский полк — рыжие, в Павловский полк берут курносых, а в Преображенский — прямоносых. Так и Иван Редченков попал в Преображенский.

На второй день их повели в баню и обмундировали. После домашней тёплой шапки и тёплой шубёнки было несносно на морозном ветерку плаца в шинелишке и фуражке. Потёр в строю коченеющее ухо — унтер смазал по уху, и вспомнил Ваня отца насчёт железной гвардейской дисциплины. А ещё замешкивался он на команды или в строю по четыре попадал пятым.

Однако уже на третий день — железной дисциплины вдруг как не стало. Сидели на словесном занятии, а взводные и отделённые были угрюмы и всё перешёптывались. И донеслось до новобранцев, что на Невском — кровь.

Потом ночью всех унтеров вызывали куда-то.

А в понедельник утром только стали на занятия во двор выгонять — раздались близкие выстрелы. И стали — назад, в казармы загонять. И — все двери запирать. Шинели снять, разуться, сидеть на нарах, к окнам не подходить, а у окон — дежурные офицеры и старшие унтеры.

И такая молва: *„уже у нас во дворе!"*.

Батюшки, да мысленное ли дело? — немцы в Сам-Петербург прорвались?? Да что ж мы без дела сидим?

А во дворе — крики, вроде по-русски.

И рожок по-русски заиграл.

И тут налетел фельдфебель и заорал зычно, да как на виноватых, будто сами они придумали тут сидеть:

— Одевайсь! Выходи! В казарме никто не оставайсь! Быстро!

Но не успели они обуться-одеться — вбежали в казарму несколько чужих солдат в бескозырках, волынцы, значит,— и из винтовок стали грохать тут же в потолок, оглушили до дурной головы:

— Выходи все! Выходи — все дочиста! В казарме чтоб ни один не остался!

И гнали, кто попадался. Даже и по спине прикладом.

Нечего делать, сгулчили сапогами по лестницам.

А во дворе солдат — толпища! Наших и не наших.

И стреляют в воздух.

И кто вздрючен до тряски. А больше — стоят, головы опустив: ой, беда неминучая.

76

Да и никто из боевых генералов не приучен был справляться с народными беспорядками, и не мог бы. А досталось — Хабалову. Вчера от государевой телеграммы так глубоко расстроился он, поехал ночевать домой, и открутил у телефона звонковые куполки, чтоб его не могли разбудить: уставшее немолодое тело под 60 требовало отдыха от стольких беспокойств.

И — поспал, хотя и не довольно. Всё ж рано утром прикрутил звонки — сразу забился об них молоточек: в 4-ю роту Павловского батальона за ночь вернулось ещё 16 бунтовщиков, посажены на гауптвахту. Ах вот как? Этого так не оставлять. По своей обстоятельности решил Хабалов — поехать и сам этих бунтовщиков допросить: как могло случиться? кто подущал?

Поехал. Допрашивал. И взводных унтеров допрашивал, и отделённых. Да

тут некому разобраться, а если взяться... Но нашёл Хабалова и там телефонный вызов: докладывал командир Волынского батальона, что учебная команда отказалась выходить на несение службы, начальник её то ли убит, то ли застрелился перед фронтом.

Ещё новое! Не нашёлся Хабалов как распорядиться, кроме несомненного:

— Постарайтесь, чтоб это не разгорелось дальше. Верните команду в казармы и постарайтесь обезоружить. Пусть сидят дома, никуда не идут.

В автомобиле покатил он в градоначальство.

Там что первое узнал: окончательно заболел, от напряжения ли этих дней, полковник Павленко, припадок грудной жабы, не вышел на службу. Ну вот, только начал привыкать. А кем заменять? вместо себя предлагает командира лейб-гвардии Московского, полковника Михайличенко. Ну, ладно.

О волынцах тем временем уже было известно в градоначальстве, что не только они не сдали захваченного оружия, но вышли на улицу, и к ним присоединилась рота преображенцев и часть Литовского батальона, и ещё фабричные, и всё это движется куда-то.

И кто ж должен был всё это усмирять? По районам были распределены, но не справлялись ни войска, ни полиция, да этот же самый Волынский батальон и должен был наводить там порядок — а кто же теперь? Весь тот район от Литейного проспекта до Суворовского и к Неве, где сплошные казармы, военные учреждения, госпитали и склады, как раз считался войсковой твердыней, не вызывал опасений, туда и рабочие манифестации не ходили.

А общие резервы у Хабалова были совсем не велики, и не в один час он мог их собрать. Спасибо начальнику штаба Тяжельникову (после ранения тоже нестроевой), догадался рано утром вызвать две пулемётные команды, и одна из них уже прибыла.

Рассматривали план Петрограда, разбитый на участки,— неухватливый этот кусок, где не знаешь, как действовать: из артиллерии бить нельзя, да и пушек нет, из пулемётов тоже не очень. А надо бы вызвать по батарее из Павловска и Петергофа?

Но — не избежать стрелять. Государь велит — сегодня же подавить.

Да если прут на войска „долой войну!", „долой царя!", то как же и не стрелять?

Тут ворвался к нему с докладом командир броневой роты: что на Путиловском заводе (где и работы теперь нет) находятся в починке его бронеавтомобили, и можно было бы один-два быстро собрать из разных и вывести на улицы, а ему приказывают — хуже разобрать.

Тяжело хмурился Хабалов: опять эти бронеавтомобили, уже надоели. Какая-то модность, не вмещаются они в известную старую тактику, что-то не порядочное. И отвязался ещё от этого капитана тем, что послал его к генералу Секретеву, в другое здание, в штаб округа,— а тот генерал как раз и заведует бронеавтомобильной частью.

Собирать войска против мятежа — это была одна трудная задача. А вторая — кого же назначить во главе? Печально признаться, но на 160 тысяч петроградского гарнизона не вспоминался ни один боевой и здоровый старший офицер. Все на фронте.

Тут к счастью доложили: кто-то разговаривал с Преображенским полком, так там у них, на Миллионной улице, сейчас — боевой полковник Кутепов, герой гвардейских боёв на Стоходе, помощник командира Преображенского полка, приехавший с фронта в отпуск.

И сообразили Хабалов с Тяжельниковым: а ну-ка послать за ним автомобиль командующего, это 10 минут. А ну-ка сюда его!

Замечательный выход: среди всех калек находился настоящий храбрый популярный офицер. А отказаться он не может: все отпускные подчиняются командующему Округа.

Приободрились. А то ведь — чёрт-те что, а то ведь — что делать? — вот так по всему Петрограду и пробегут мятежники, хоть и сюда, в градоначальство,— а кто их остановит?

Подсчитывали, назначали, выбирали — отряд для Кутепова. Ожидалась с вокзала одна ораниенбаумская пулемётная рота. Да была рота кексгольмцев.

Был один свободный эскадрон драгун из Красного Села. Теперь обдумывали, из каких полков можно взять ещё?

Все-то полки и батальоны были рыхлые, с ненадёжными ротами, без довольного числа винтовок, не умеющие стрелять.

Ах, не готовились к такой неприятности!

77

У преображенцев провозились волынцы чуть не час: кого по шее, кого в спину толкали, а интендантского полковника — патронов не давал, подняли в несколько штыков, так и прокололи. Другие офицеры поисчезали, как не было их. Разбили патронный склад, разбирали патроны, ещё винтовки, 4 пулемёта. Много помог унтер 4-й преображенской роты Фёдор Круглов, тот мордатый, неистовый. Освободили гауптвахту. „Все на улицу! Бей, кто не с нами!"

И чем больше волынцы успевали — тем больше их вздымало, несло, уже море по колено. Дальше! дальше! ещё! А преображенцы многие с первых минут сникли — что будет теперь? — не выгнать их из казармы никаким кулаком. Рота Круглова шла вся, у него под пястью, а всего преображенцев вытянули мало.

Высыпали и литовцы (одного офицера своего заколов), но не все, куда там! Часть волынцев, разъярясь, побежала назад, на Виленский, выгонять свои остальные роты, растяп бородатых.

А голова восставших — дальше! Высыпали на Парадную — и дальше! дальше! — против Таврического Сада завернули на широкую Кирочную.

Это был уже не строй, а свирепая солдатская толпа, которой терять уже нечего, теперь командовали во много глоток, но не подчинялись едино. Да и не слышно команд: в цейхаузе литовцев набрали много холостых патронов — и ими теперь лупили в воздух, не переставая, на ходу. И эти выстрелы сильно подбодряли. И — заединство: м ы! Отвечать, так всем! Бей, кто не с нами!

По Кирочной бежали к Литейному. Присоединялись разные штатские, и много подростков. Скакали мальчишки со всех сторон.

Всё ж Кирпичников поставил один пулемёт в хвосте колонны, против сада, назад. Но никто оттуда не нападал.

А по дороге — казармы гвардейских сапёров.

Из их окон — несколько выстрелов.

Ах, так??? И мы — по зданию! Да мы сейчас из пулемётов!

Во двор к ним! И — поставили пулемёты! И — предупредительную строчку!

Да уже и выбегали сапёры навстречу.

И мы — туда к ним.

Сапёрный поручик руку поднял: „Не стреляйте в своих братьев!" Кто? в кого? — и застрелили его наповал.

И — полковника сапёрного убили.

И тогда сапёры стали сильно присоединяться.

А у них — оркестр! Вот это нам и надо-ть! Выходи с трубами!

И — пошёл оркестр впереди восставшей толпы! И — запели трубы!

И музыка — ещё больше дала настроения, чем пальба! Прохожие снимали шапки, котелки — из окон махали платками, фартуками — и разноголосо все кричали „ура!".

Шли — сами не знали, куда, зачем. Как текло — по Кирочной. Гнездо своих батальонов минули — а дальше что? кто?

Попалось помещение жандармского дивизиона, там было жандармов человек пятьдесят, свободных от наряда. Они как будто тоже присоединились (но потом растеклись по сторонам). У них тоже на стенах висели музыкантские трубы, но не нашлось, кому дуть.

Погромили их помещение.

Одни громят, другие дальше идут! Потом — те остановились, эти нагоняют. А кому делать нечего — кричат, кричат слитно. Разберёшь иногда:

— Не хотим чечевицы!

Что-нибудь надо кричать. Это стали чечевицей вместо гречки кормить.

Пока докатили до Знаменской — а оттуда новая музыка! — да играют эту запрещённую какую-то. Кто такие?

Да наши ж, волынцы! Наши ж волынцы, те роты, другие! Раскачали-таки их.

И рявкнул Круглов, только рядом слышали:

— Ну, ребята, теперь пошла работа!

78

Был бы Владимир Станкевич приват-доцентом уголовного права и публицистом лево-лево-либерального направления, если б не война. Его всегда порывало в общественное кипенье. После разгона 1-й Думы он собрал митинг — и получил те же три месяца в Крестах, как и все выборжане. А при 3-й Думе безвозмездно служил секретарём трудовой фракции, этих сереньких растерявшихся депутатов. А начиная с 4-й тем более сдружился с Керенским. И вместе с Гиммером перед войной выпускал журнальчик. Ведущая идея Станкевича была: зачем раздоры и недоверие между либералами, радикалами и социалистами? Довольно нам объединиться — и будущее России наше! И он хотел бы сделать из себя соединяющий мост. Как всегда нам кажется, именно наше направление и есть самое верное.

Но грянула война — и Станкевич вдруг не узнал сам себя. Вопреки своему воспитанию, направлению и окружению, он не отшатнулся от этой войны как чужой, царской, империалистической — но увидел её как мировую катастрофу, в которой поставлен вопрос существования России, и мирные народы должны устоять против всеподготовленной Германии. Но победа России *укрепит реакцию*! — возражали ему приятели. Пусть она укрепит того, кто больше поработает для спасения родины,— отвечал он. Зато поражение — будет смертью России. Да не обязательно победа, пусть война закончится вничью — и это надолго отучит всех от повторения. Но даже ради такого исхода „сочувствовать" войне мало — надо самому воевать.

И покинул он своё приват-доцентство и, высмеиваемый Керенским, пошёл, наряду с юнцами, добровольцем в Павловское училище, и покорно учился ходить в строю, что никак ему не давалось, и терпеливо складывал на ночь обмундирование на табуретке ровно во столько вершков ширины, длины и высоты, как полагалось. А по окончании училища отказался от канцелярско-судебной должности, как его назначали тут же, в Петербурге, хлопотал, перепросился на сапёрную работу (ещё ничего не зная в сапёрном деле), на фронт,— и за два года стал таким деловым и практическим военным инженером, что опыт полевой фортификации в нём уже избывал, он стал читать лекции в офицерских школах, составил книжку о пулемётных закрытиях и доклад об инженерной активности обороны, пошедший в Ставку и разосланный в штабы фронтов. (Его идея была: позиция фронта не должна быть ни минуту неподвижной, но неустанно давить на фронт противника.) Старые сапёрные начальники негодовали на его беспокойный характер, друзья дразнили „приват-доцентом полевой фортификации и геометрии" — и он любил, когда так дразнили, гордясь своим новым инженерным больше прежнего юридического.

Сейчас он обучал — в гвардейском сапёрном батальоне в Петрограде. Как все сапёры — самые занятые люди в армии, так и он был в эти февральские дни настолько занят своей работой, что вовсе пропустил три дня городских волнений, даже не знал о них, и только вечером в воскресенье его прежние партийные друзья по телефону рассказали ему о событиях и стрельбе на улицах. И тут — Станкевич очнулся от инженерии. И ощутил прежние революционные крылья. И в минувшую ночь сложился у него план: попытаться склонить офицеров сапёрного батальона на сторону Государственной Думы — и так перевести весь батальон.

Но утром в понедельник ещё не успел отправиться в казармы — позвонили ему от Керенского, что Дума распущена, Протопопов объявлен диктатором, а в Волынском батальоне восстание и, перебив офицеров, они двинулись на

казармы сапёрного батальона. А надо бы — увлечь их идти к Таврическому, на поддержку Думы!

Станкевич обамуничился и поспешил в батальон. Но когда свернул с Литейного на Кирочную, то вдоль Кирочной ему хорошо стало видно, как против сапёрных казарм уже кипела беспорядочная толпа солдат. А потом стала медленно перекатываться сюда, к Литейному, а над головами их колыхались два тёмных флага.

Опоздал!

И вдруг — его покинула вся уверенность: и офицерская, нажитая за войну, и прежняя лево-демократическая. Вот, прямо видя эту гневную массу, надвигающуюся сюда, он не почувствовал той ступеньки, с которой они послушались бы его — или как солдаты своего офицера или как народ своего вожака. Всё, на чём прошла его жизнь, вдруг не оказалось никакой ступенькой, ничем, и он был перед стихией — никто, только мишень.

Так он прошёл немного шагов навстречу и остановился.

А тут подбежал со стороны толпы сапёрный унтер, узнал его и запыхавшись крикнул:

— Ваше благородие! Не ходите, убьют! Командир батальона — убит! Поручик Устругов убит! И ещё... у ворот лежат! А кто жив остался — разбежались!

Вот так так!.. А если б и он сегодня там дежурил?..

Вулканное дыхание стихии! Вымело и выжгло, что этих офицеров, вот уже мёртвых, он только что собирался склонять в пользу Государственной Думы, и этих солдат, теперь надвигающихся, вести туда. Шла — толпа, ни к чему не прислушная, никем не судимая, ни за что не ответственная, не знающая никаких своих глашатаев и радетелей,— и Станкевичу, всегда считавшему себя заедино с народом,— вот, нельзя было на них понадеяться.

А надо было быстро куда-нибудь спасаться, вот что.

Тут, в начале Кирочной, помещалась инженерная школа прапорщиков — и он зашёл туда. В нервном ожидании стал звонить Керенскому в Думу — но к его телефону никто не подходил.

А тем временем толпа, с воем и редкой стрельбой, придвинулась — и именно в школу прапорщиков хлынула часть её. Один выстрел дали в коридоре. И кричали, чтоб юнкера сейчас же всё бросали и выходили на улицу!

Юнкера — не хотели идти. Станкевич, бледный, был тут чужой, ни за что не ответственный, мог войти в класс и перестоять за дверью. Но начальник школы, представительный генерал, должен был выйти к солдатской гурьбе. И стал вежливо ей доказывать, что положение школы особенное: если прекратить подготовку офицеров, то некому будет строить укрепления.

Обезумелые солдаты не стали дослушивать, а: кончать занятия! и выходить на улицу!

Генерал, беспомощно пожимая полными плечами, объявил своим тихо:

— Что ж, можете идти, господа.

— Да куда же нам идти, ваше превосходительство?

— Куда хотите, не знаю.

Прихожие солдаты, кто были без винтовок, разобрали винтовки из пирамиды тут — и валили на улицу, и дальше.

Станкевич испытал такое унижение — что прятался, что не вмешался,— теперь поспешил нагнать толпу на улице. Влиться к ним сбоку было не то ощущение, что стоять и встретить поток.

Он увидел в толпе много и сапёров, и возвысил голос с обращеньем, зазвучавшим самому невыносимо фальшиво:

— Братцы! Давайте пойдём в Государственную Думу! Она — вот тут, близко! Она на стороне народа!

„Пойдём" — как будто он был с ними всё время и вместе с ними громил школу прапорщиков?

Это была — правильная, его коренная идея, соединять народ с либералами,— но почему так жалко, неестественно прозвучало?

Услышали его немногие, смотрели подозрительно: куда ещё заманивает их офицеришка?

Оглянулись другие, приступили:

— А ну, отдай оружие!

И — что было делать? Что??!

Не так он представлял себе братание с народом на заре свободы. но получалось так.

Отдал шашку. Отдал пистолет.

Тут вылез из толпы страшный, злой солдат, схватил безоружного поручика за грудки, стал трясти и замахиваться, что сейчас убьёт. Он с бранью поминал какого-то другого офицера-обидчика, которого надо бы убить, но убьёт вместо того — этого.

И — убьёт. Станкевич и не выбивался, его охватила смертная апатия. Вот так и кончилась в 27 лет вся его блестящая жизнь.

Но подбился другой сапёр и стал того озверелого оттягивать:

Не трог! не трог! Это — наш офицер, хороший, мы знаем его!

79

Ещё Кутепов спал — сестра (он остановился у сестёр, на Васильевском острове) сказала через дверь, что его спрашивают по телефону из Преображенского собрания. В первую минуту так не хотелось вставать — попросил сестру и поговорить. Вернулась — объявила: поручик Макшеев просит спешно приехать на Миллионную.

Причины не назвал. Так лучше б сам поговорил. Но что-то слишком серьёзное и, наверно, связанное с городскими волнениями. Поручик Макшеев, батальонный адъютант, был как раз из тех скрученных мозгов, которые хотят ответственного министерства и больше прав Думе. Кутепов испытывал к нему брезгливость после его высказываний за офицерским завтраком в собрании позавчера. Сами офицеры читают какие-то печатные обращения каких-то фракций Думы. Какие ж реформы, когда в полицию камнями бросают.

Но хотя больше половины офицеров новички, не настоящие преображенцы,— всякий преображенец, приезжая с фронта, конечно, прежде всего идёт в собрание — походить между родных стен, поговорить, пообедать.

Вот тебе и отпуск, оделся с военной быстротой. Но как же поехать быстро? — извозчиков нет, и трамваев нет. Сестра пошла уговорить извозчика, живущего в их дворе. Для соседки согласился съездить.

И погнал шибко — не так седоку угодить, как скорее назад и не остановили бы.

Перенеслись Дворцовым мостом — стояло солдатское растянутое ограждение, никому не мешающее. Обошли бурый Зимний и напрямик погнали к Миллионной. Хотя большая часть казарм Преображенского полка была теперь на Кирочной, но офицерское собрание по давней традиции оставалось на Миллионной, при старых казармах. В пасмурном утре площадь вокруг Александровского столпа была пуста.

В собрании Кутепов увидел многих встревоженных офицеров — в том числе и тех, кто должны быть в батальонных казармах на Кирочной. Узнал, что там взбунтовавшиеся волынцы ворвались в казармы нестроевой преображенской роты и заставили её к себе присоединиться. Полковник, заведующий полковой швальней, хотел выгнать их со двора, но был ими заколот.

Кутепова и позвали за поддержкой. Но — где же командир запасного батальона князь Аргутинский-Долгоруков? Вызван к командующему. Но остальные господа офицеры, с Кирочной,— почему здесь? Не подчинялись они Кутепову прямо, но по его положению в полку не могли уклониться от его указания: тотчас отправиться к своим подразделениям.

Столько и успел Кутепов охватить — как пришёл за ним автомобиль из градоначальства,— командующий Округом велел немедленно приехать к нему.

И опять — по пасмурной площади, мимо Александровского столпа, мимо Главного штаба, пересекли корень Невского, чуть изморозна решётка сквера, вот и градоначальство. Жандармский ротмистр ждал Кутепова на Гороховой у дверей и вёл наверх к генералу Хабалову.

В большой комнате было несколько генералов и полицейских штаб-офицеров (но не Аргутинский между ними) — и охватывая сразу сумму их лиц, воздух в комнате, ранее чем отдельные лица, увидел Кутепов, что они растеряны, расстроены, беспомощны. А у самого грузного генерала Хабалова так и откровенно дрожала во время разговора челюсть.

И как всегда при таком соотношении Кутепов почувствовал себя ещё твёрже и ответственней.

Хабалов объявил ему в довольно нелепых словах, что назначает его начальником карательного отряда. Карательным? — никогда Кутепов не командовал, не предполагал. И каким сразу карательным, когда надо просто поставить на места?

А Хабалов уже распоряжался над разложенной картой города:

— Приказываю вам оцепить весь район от Литейного моста до Николаевского вокзала. И всё, что будет в этом районе,— загнать к Неве и там привести в порядок!

Если отвлечься от привычной сетки улиц, их узости между тяжёлыми зданиями и наполненности зданий — да, это был единый широкий полуостров в Неву, три версты на три. Но если вспомнить наполненность города, да ещё уплотнённого войной,—

— Оцепить такой район — мне надо не меньше бригады.

Хабалов раздражился или не хотел дать своих резервов, предназначая их для другого, сказал: даёт, что под руками. От здания градоначальства взять всего одну роту Кексгольмского батальона с одним пулемётом. Затем двигаться по Невскому проспекту и постепенно подбирать расставленные там другие подразделения. А встретится на Невском пулемётная рота — взять её половину, 12 пулемётов. А ещё одна рота Егерского батальона будет двигаться прямо к Литейному проспекту.

Удивился Кутепов, но спорить не стал — что есть, то есть. Только спросил:

— А эта пулемётная рота — будет стрелять?

Хабалов такие сведения имел, что — хорошая часть, и всё будет делать.

Что ж, нечего и время терять, Кутепов встал и пошёл. Кексгольмцы на Гороховой сразу ему понравились, подтянутая рота, опытный глаз не ошибается. Хорошо, пошли.

Странное ощущение — идти на боевую операцию по мирному городу, никогда не ходил. Действовать оружием — самое ясное изо всех действий на земле — но в Петербурге? мало русской кровушки полито на фронте? Впрочем, где-то там это всё происходило (отдалённые выстрелы слышны) — но на Невском ничегошеньки, никаких признаков, идут себе люди по своим делам только меньше обычного, и нет езды по мостовой.

Небо было переклонное: то ли прояснеет, то ли сгустится. Но не разрывало серых облаков нигде.

Сидел бы у себя на передовых позициях, зачем за отпуском погнался? Особенно нелепое состояние, когда выступаешь не в своей роли, не на своём месте, какая-то обида и можно сделать неверное движение.

А нельзя ошибиться.

Из Гостиного Двора взял роту своих преображенцев, она сидела там как бы в засаде. Из Пассажа — другую роту, преображенцев же. С каждой здоровался перед строем, у офицеров спрашивал, в каком состоянии рота. Хвалили.

А он и сам знал: нынешний запасной батальон — позор преображенцев, такой, что на фронте устроили ещё один запасной батальон, и все приходящие пополнения переучивали, придавая им воинский вид и дух.

А тут ещё вот: вчера не получили ужина, и сегодня тоже ни куска в рот.

Об этом — Аргутинский мог бы подумать. На передовых доставляют еду и отрезанной части, и под пулемётным обстрелом.

Бедные солдаты! Приказал офицерам: на первой же остановке купить ситного хлеба и колбасы для солдат. (Тоже особенность городских действий.)

Сам Кутепов шёл не по тротуару, а посреди Невского, впереди своего войска, не стыдясь его малочисленности. (Пехоты с ним шло полтысячи, да ещё у Литейного проспекта должны были добавиться.)

С высоты своего роста он уже давно видел, что навстречу им по мостовой тянется какая-то перегруженная часть. Оказалось — это и есть та самая пулемётная рота, встретили её около елисеевского магазина. (Тут побежали за колбасой и хлебом.) Опять неуклюже! при них не было двуколок для пулемётов, для лент, всё это люди несли на себе и шатались (как на фронте перемещаются только в соединительных ходах и когда в атаку бегут). Радуясь остановке, опустили всё на укатанный снег.

Кутепов поздоровался с пулемётчиками — ответило три-четыре голоса (по нехоти? по усталости?). Отделяя себе полуроту, спросил Кутепов их штабс-капитана, готовы ли они открыть огонь по первому приказанию. Штабс-капитан, смутясь, ответил, что нет у них в кожухах ни воды, ни глицерина. (Очевидно, вылили по тяжести.) Оставалось и им приказать — на первой же остановке добыть воды, купить глицерина в аптеке, изготовиться к бою.

Перевалили Фонтанку, дошли до Литейного. И всё ещё не происходило тут ничего особенного, только с дальней части Литейного слышался глухой шум, и постреливали. На углу Литейного даже стоял городовой. Кутепов стал у него спрашивать, не проходила ли рота Егерского полка. Не видел.

Плохо. Даже обещанного малого отряда не составлялось, и люди голодные, и пулемёты не готовы.

Вдруг с неожиданной стороны, чуть ли не с Владимирского, подкатил на извозчичьих санях князь Аргутинский-Долгоруков. Где он всё это время был — загадка, но сейчас соскочил даже прежде места и бежал, заплетаясь в длинной николаевской шинели.

Кутепов пошёл к нему по перекрестку навстречу.

Они были на „ты". Аргутинский, волнуясь, спешил ему сказать, что бунтовщики громят Окружной Суд — и теперь идут к Зимнему Дворцу — и поэтому генерал Хабалов приказывает Кутепову немедленно возвращаться, оборонять Зимний Дворец и градоначальство.

Но — нисколько не передалось Кутепову сбивчивое волнение полковника Аргутинского, и целый может быть переполох в штабе Округа. Офицер, достаточно бывший на фронте, достаточно и привыкает к суматохам начальства и приказы его перетирает зубами с сомнением.

— Что? — спросил он холодно.— Неужели у вас во всём Петрограде только и имеется, что мой так называемый отряд?

(Он сказал это с иронией, никак не могши предположить, что так на самом деле и есть.)

Понять ли, что первое распоряжение Хабалова сбрасывать бунтовщиков в Неву — теперь отменялось?

Да, да! И Аргутинский от себя повторял:

— И я тебя прошу поспешить к Зимнему Дворцу!

Но Кутепов стоял несдвигаем, левой рукой придерживая золотой эфес шашки.

— Нет. Идти по Невскому назад — нецелесообразно. И плохо отзовётся на солдатах. Передай Хабалову, что я пройду по Литейному, сверну по Пантелеймоновской, выйду к Марсову полю — и где-нибудь эту же толпу встречу и рассею.

Какая б ни была толпа, неорганизованная конечно,— просто глупость не наступать на неё, а отступать и становиться в оборону.

Аргутинский умчался в санях. А Кутепов, так и не дождавшись роты егерей, поставил в голову отличную роту кексгольмцев, за ней — неретивых пулемётчиков, затем две преображенских роты. Эскадрон драгун ему обещали — тоже не подошёл. Понять невозможно, где же силы целого Военного округа?

И он двинулся по ущелью Литейного, опять впереди колонны.

Он пересекал квартал за кварталом — и не было подозрительных толп, солдат без строя, выстрелов или нападений. Впрочем, всякая толпа видела бы его колонну раньше издали и должна была пятиться.

Он избежал соблазна свернуть по Симеоновскому мосту, так уйти от бунта и сократить свой возврат к Зимнему Дворцу.

80

По воскресеньям, как знал Фёдор Дмитрич, забастовки теряют смысл и на демонстрации люди не ходят. А поэтому он твёрдо решил в этот день тоже никуда не ходить, никого не вызывать по телефону, а сидеть писать. Однако сказался сбой этих дней, отвлечение мыслей, и работа не катилась смазанным колесом, а перекатывалась бревном неошкуренным да через пни. Подтвердилось про зарубленного казаками пристава. Это потрясающе!

Но продержался воскресенье, ничего не узнавал, а в понедельник налегало уже много обязанностей, да с утра и в редакцию думал он съездить. Не съездить теперь, трамваи опять не шли,— пешком. Посещение редакции всегда было делом приятным: особая эта атмосфера схода единомышленников, перебиранье литературных новостей и своих возможностей.

После вчерашнего ярко-солнечного дня понедельник родился зимнетуманный, облачный, хотя кажется разгуливался.

Той же дорогой шёл Фёдор Дмитрич — мимо Сената, мимо Исаакия,— ходили патрули, разъезжали конные, напряжение держалось пятый день — но никаких столкновений не было. Впрочем, для столкновений и час был ранний. На Невском никакого праздного народа, а все по своим делам, в спехе, открылись учреждения, открывались магазины. В морозный туман уходили бездействующие трамвайные столбы, вся стрела проспекта — и невидимо чем кончалась.

В одном-двух местах заметил Фёдор Дмитрич малые кучки, что-то осматривавшие, он тоже присоединился — смотрели выщербины от пуль в фонарных столбах, в стенах,— вчера на Невском была стрельба, и теперь мальчишка с корзинкой на голове рассказывал взрослым, кто где вчера прятался. Была стрельба! — но никто точно не брался рассказать, отчего и как она возникала.

Что-то всё-таки ш л о, но удивительно не даваясь глазу, уныривая за повседневным.

Да даже и сейчас. Слева, с Литейной стороны — как лучину ломают. Да, это — дальние выстрелы.

А сзади по Невскому — нарастал ровный густой чёткий звук: это показалась и шла рота солдат. Чётко отшагивали, даже щеголевато, учебный шаг и крепкие сапоги. А впереди статный чернобородый полковник средних лет, с настойчивым выражением.

За ротой на двух лошадках везли вьюки с патронными ящиками. А солдаты несли на себе пулемёты.

Нет, что-то всё-таки ш л о.

Просто — ранний час, а что-то серьёзное готовилось.

Фёдор Дмитрич дальше пошёл по Литейному. Вдали различил густеющую толпу. Загораживала весь проспект, что-то необычное. Сгустилась около Бассейной. Дошёл до неё.

Но разгадки никакой не нашёл, ничего не происходило. Стояла цепь рослых солдат-гвардейцев поперёк Литейного, пропуская однако прохожих,— а толпа лупилась на солдат. Все подворотни были заперты (говорят, какой-то кавалерийский офицер проезжал — и велел дворникам запираться).

За эти дни возник новый вид общения: между незнакомыми людьми на улице открытость и расположенность, никого не затрудняло спросить и ответить. И вот уже сообщала бобровая шапка:

— Четыре полка взбунтовались!

В Феде как ухнуло и взорвалось, да не устоять на ногах, такое услышав:

— Где-е-е?

Не поверил, быть не может.

— Да, да, пошли на Баскову артиллеристов снимать.

Все заглядывали через солдат, что-то понимая. Или эти солдаты, вот поперёк Литейного, и взбунтовались? Офицера не было около них. Но слишком спокойно стояли, не как бунтари.

А на Басковой, как раз подле редакции, артиллеристы, да.

Тут раздалось несколько ружейных выстрелов, гулких по узкому Литейному, а как пули летят — не понять. Толпа шевельнулась, качнулась, кто-то успокаивал:

— Да вверх! Не в людей.

Четыре полка?! И вот они — выстрелы, уж верные, сам свидетель. Так — н а ч а л о с ь? Долгожданное — желанное — только в мечтах рисовавшееся — о н о?

Бах! бах! бах!

Восторг поднимал — не бежать в редакцию, а лететь! И страх колотился: сумеют ли?

Но не успел убраться с Литейного, как сзади, от Невского, по гулкому каменному ущелью страшно затрещали десятки выстрелов — страшно, а никто не падал, нет, все падали и скрывались, но из предосторожности. Толпы не стало — а впадины подворотен до запертых везде ворот забились вплотную. Побежал и Федя, куда приткнуться. Она нисколько не испугался, он не успел испугаться, только умом понимал, что глупо и обидно именно теперь быть убитым от невидимо летящего свинцового куска смерти.

Изящный господин в пальто с котиковым шалевым воротником распластался ничком на грязном снегу и спрятал голову за чугунную тумбу. Федя успел подумать, что это смешно, стыдно. Но сам никуда не успевал шмыгнуть и притулиться: парадные — тоже заперты. Все ниши, все неровности в стенах были улеплены.

Рвалось — бах! бах! бах! — не успевал спрятаться, ни добежать до Бассейной. Вдруг различило ухо между выстрелами другой звук, слитный, непрерывный — духовой музыки! — спереди.

Глянул: далеко впереди поднимался сильный дым, что-то подожгли. А где-то от собора выходила на Литейный с оркестром голова воинской колонны — и заворачивала туда дальше по Литейному. И оркестр — не перестал играть смелый, громкий марш! И этот марш, много слышанный, а по названию не известный, передался невоенному человеку Ковынёву той же солдатской гордостью, на какую и был рассчитан сочинителем: не падать, не бежать, не прятаться — а шагать вперёд! Федя остановился и смотрел восхищённо вдаль. Кажется, никогда он не слышал музыки прекрасней! Что за гордый подымающий зов! Звуки серебряные труб и гул барабана.

Кто-то сказал:

— Волынский полк!

Федя пошёл туда, в их сторону. Всё новые и новые серые цепи выходили и разворачивались по проспекту.

А откуда-то по ним — или выше их — дали залп.

И Федя не выдержал, сметил выступ стены, прижался. И выглядывал. И тут же подбежал невысокий сухой генерал, тяжело дыша, и тут же прижался, с ним рядом.

Лопались, лопались выстрелы — а волынцы шли под музыку, не падали ни один.

Музыка удалялась по Литейному, туда, к дыму. И выстрелы иногда.

У соседа-генерала было благородное тонкое стариковское лицо, седые усы. Федя не удержался и сказал ему:

— Вот, ваше превосходительство... видите...

И сам себя поймал на злорадно-торжествующей нотке: видите, до чего довели... Уловил ли генерал, но Феде тут же стало стыдно за свой тон.

А генерал дрожащими руками вынул папиросу из портсигара — обмял, постучал, не закурил.

И Феде стало жаль его. Он был — из *них*, а что он мог сделать там, среди них? Он знал присягу, долг, получал команды, отдавал команды... Разве он управлял кораблём? У него было меньше свободы, чем у мальчишки-революционера.

Федя пошёл дальше, чем было ему нужно. Музыка уже еле доносилась, та первая колонна ушла вдаль, а за ней со стороны собора выходил уже не строй, а с заминкою — кучки солдат, кажется уже Литовского полка.

Федя сам свернул к Преображенскому собору, с пушечными украшениями его ограды, и видел теперь близко этих солдат: совсем они шли не героически, а — потерянно, неуверенно. Унтер-офицер нервно подгонял их.

Теперь тут открылся источник стрельбы: одни литовцы, покинувшие казармы, стреляли в верхние окна своих же казарм, чтобы те, оставшиеся, выходили тоже. Какой-то молодой человек в модном пальто и студенческой фуражке, невысокий, толстенький, стоял среди солдат на Басковой улице и размахивал шашкой без ножен. Но никуда солдаты не увлекались им, а теснились к стенам и за углы, не попасть под выстрелы.

Один молодой солдат лежал на тротуаре у стены, раненый,— но никто не помогал ему. Подъезды всех домов и тут были заперты.

В конце Басковой появились стрелки — стройно, в ногу, при офицерах,— и беспорядочная толпа литовцев отхлынула от своих казарм на Артиллерийскую улицу, стала прятаться там.

81

Утром вызванный в штаб гвардии вместо заболевшего полковника Павленко командир Московского запасного батальона полковник Михайличенко, уезжая, должен был кого-то оставить вместо себя в батальоне. Но следующий старший после него капитан Якубович лежал с отдавленной ногой. Другие старшие начальствующие офицеры разошлись с караулами, ещё до рассвета. И он поручил батальон начальнику хозяйственной части капитану Яковлеву.

А уехавши в центр города, Михайличенко оказался и отрезан от Московского батальона, сносился по телефону. Из батальона ему доложили, что на Выборгской собираются толпы, а казачьи наряды не только их не разгоняют, но братаются с ними. И Михайличенке осталось лишь подтвердить в батальон задачу: сохранить самих себя и своё расположение, а на остальное не обращать внимания.

Вооружённой оставалась лишь учебная команда, и то частично. Только что и защищать казармы. Они были расположены между Большим Сампсоньевским и Лесным проспектами, воротами туда и туда. Яковлев выставил к тем и другим воротам по одной подготовленной вооружённой команде — поручика Петровского и поручика Вериго.

В последующий час Михайличенко продолжал сообщать по телефону, что в городе восстали гвардейские части, повстанцы уже владеют положением, и теперь всё зависит от Выборгской стороны, куда направились толпы мятежников.

Он ещё успел распорядиться послать последнюю в наличии вооружённую литерную роту — занять Военно-Медицинскую академию,— и на этом телефон прервался.

Капитану Яковлеву ничего не оставалось как взять эту последнюю свободную роту — и маршировать самому с ней к Военно-Медицинской академии.

А вместо себя командовать батальоном он оставил нервно больного капитана Дуброву.

Больного-то больного, но изрядный он был и ругатель, боялась его вся учебная команда и даже младшие офицеры: когда утром к строю на плац открывалась дверь — и прежде грозного капитана всегда зловеще выходил его белый шпиц.

82

Как в карточной игре, когда между конами ещё и пьют, и вот уже руки сами неровно кладут деньги на ставку, сбивают их, цепляют, а рукавами опрокидывают стаканы,— так в ошалении, нетрезвости, безоглядности катилось куда-то всё затеянное, где нельзя было уже ни остановиться, ни охорониться,— а если всё остановится, так наверняка петля. Так и пусть катится, хоть с опрокидом!

Кирпичников уже не запоминал и сметить не мог, кто к ним присоединился, кто нет: ни одной цельной роты или команды с ними не было, даже из

тех, кто поначалу пошёл,— утекали прочь или зрителями на тротуары. Изо всякой открываемой казармы выгонялось трудно: робкие, дальние, сельские, иногородние — коснели, боялись, идти не хотели, не понимали, зачем им идти, сопротивлялись. Но из каждой же и вырывались — лихие, вольные или здешние питерские, только что переодетые в солдатское, вырывались на свои улицы как на свободу — и их-то были винтовки, они и захватывали.

И — всякий строй был давно потерян, хотя где-то ещё держалась музыка, поддающая настроения, шагала строем одна музыка и к ней желающие. Потом и музыка замолкала, пропадала.

Необычное это и было: солдаты, а не под командой, но оравой, ватагой, и каждый куда хочет, и слушает кого хочет, хоть только самого себя. Говорили — где-то болтался, присоединился какой-то прапорщик — да Кирпичников его не видел, да никто б сейчас и слушать не стал его, хоть и генерала. Если Кирпичникова слушала, то самая ближняя кучка, только кто сам того же хотел. Так и бегали — не толпами, а кучками, и кто в кучке что предложил — не запоминалось, а бралось. Только преображенского унтера Круглова с русой бородкой на широкой челюсти Кирпичников успел выделить и запомнить: прям озверел от воли, будто как в тюрьме протомился в армии — и только этой сегодняшней воли и ждал. Штыком размахивал, орал и командовал, почти не прерываясь. И с ним тоже была своя здоровая кучка.

Так и бегали они, не понимая, куда нужно,— уже не волынцы, не литовцы, не преображенцы, не сапёры,— а сотни перемешанных разных солдат, хуже чем пьяных, и только то соображающих верно, что если им остановиться — то и конец, казнят. Так нечего терять — только вперёд!

Так и бегали, и мало кто молчал, а все что-нибудь кричали на бегу.

Каждый уличный перекресток делил их, и снова делил, и снова делил, нельзя было направиться всем вместе, а кого куда тянула воля и хотение,— но и на следующем потом перекрестке, но и на следующем кто-то опять притекал, из утерянных или новых. А переулков тут много было, а улицы часто проложены одна за другой: Фурштадтская, Сергиевская, Захарьевская, Шпалерная, и каждая втягивала в себя кую-нибудь струю, и каждая потом приведёт на главный Литейный проспект.

Только вперёд! — и ещё присоединять! — и чем больше нас будет, тем меньше ответа. Только вперёд! — к старому нет возврата!

На Кирочной разгромили школу прапорщиков. Генерал тут был обходительный, его не кололи. А прапорщиков — на улицу!

На тротуарах тоже толпилось изрядно публики, ещё из домов выбегали, и руки поднимали, кричали. А что именно кто кричал — никто не понимал, и даже не слушал. Уши как заложенные, голова гудит, грудь распирает, ноги-руки как не свои — вовсе хмельное чувствие.

Всё забирая, забирая новыми кварталами, кучка Кирпичникова побежала — а! — к тюрьме? На окнах — решётки. Значит — тюрьма, а это — как раз что нам надо: уж э т и м-то всем свободы хоц-ца! Уж э т и-то все будут за нас!

Мол, Дом Предварительного. Ну, кто схвачен недавно.

Двери, железом кованные, закрыты на добротные засовы — как же их открыть? Прикладами? Как спички наши приклады только расщепим. Ломов? Где искать? У дворников отымать? Можно! (Побежали.) Да дворов на Шпалерной почти нет, всё казенные стены. Как же открыть нам? Как же открыть?

Что в Питере плохо — всё каменное, ничего с угла не подожжёшь.

Матом, воем, криком, стуком! в звонок беспеременно звоня, чтоб оглохли! А что? — их там кучка, их там дежурит пяток надзирателей да два револьвера? Им против нас куда страшней, небось поглядывают в окна на нашу мощу. Мы вольны — хоть колотить их цельный день, хоть схлынуть в минуту — а им куда деться, в тюрьме! Это трудно кому выдюжить, если в дверь дубасят.

Звонить! Стучать! Вон, швырнули льда кусок, раскололи им стекло. Криком:

— Хо-го-го-го-го-ой! Ат-крывай, твою мать! Народ пришёл — ат-крывай! Аткрывай, а то всех перебьём!

А кто-то и так догадался, из сапёров:

— Открывай, а то динамитом взорвём!

А что? Винтовки есть у нас, пулемёты есть, отчего б динамиту быть не могло?

В тюрьме — перепуг. Кричит охрана через дверь: а их-то отпустят с миром?

Откроете — отпустим!

И — распахнули кованые двери!

И — ворвались наши туда, стуча прикладами, ещё пуще оря! Бегом — по этажам, по коридорам, всех освобождать! Всех подчистую, кто б не был! Каждый узник — нам подмога!

Кто — влился в тюрьму, а кто и дальше, кучки делятся.

А между тем и небо становится посветлей. Веселей нашему делу!

Дальше, за перекрестком Литейного,— Орудийный завод и патронный склад — за высоким кирпичным забором и такими же коваными воротами. Одни открыли — чего ж других не открыть?

— Хо-го-го-го-го-о-ой!.. Ат-крывай, а то динамитом взорвём! Ат-крывай, такую твою, такую твою...!

Небось, там охрана, полиция. Но и своих же рабочих там полно!

Постучали, побили, поорали — распахнулись и эти двери! И — внутрь! Полицейские — убегают. А навстречу — военный генерал, руки взмахнув — не пустить.

В три, в четыре штыка с разгону — прокололи генерала, вскинули, терять нам нечего!

Неч-ча теря-ать! Семь бед — один ответ!

Кто — на склад патронный: громить, вооружаться, раздавать. Нам теперя оружие надобно, ой, надобно, одна надёжа!

А в других головах вертится — дальше-то куда?

Валить прям на Невский? Нет, силёнок мало, там у них — главная оборона.

А тут — кругловская кучка, набегая по Литейному. На Круглове шапка на бок ссажена, челюсть ещё раздалась, лицо горит, перекошено — ещё! дальше!!

Тут — и Орлова кучка.

Сомкнулись: да брать Литейный мост! Пробиваться на Выборгскую сторону! Там — своих полно, там только и укрепимся!

И сколько отсюда видно — мост свободен, перед ним — ни войск, ни полиции.

А дальше — горбится, не видно, что за горбом.

А тут, рядом — толпа кипит, рабочие с Орудийного, незабастовщики упрямые, а их вытуривают. На проходной переступают теперь через генерала, всем урок и показ, остальное начальство разбежалось.

Только туда, на Выборгскую, пулемёты нам с собой тащить тяжко.

А тут — грузовик по Сергиевской, за патронами ли пришёл?

И кто-то первый догадался, крикнул:

— Да он нам и нужен!

Грузовик? Верно! Вот он нам пулемёты и повезёт!

Шофёр — возражать не смеет.

А откуда-то набежало молоди — и лезут красными лентами грузовик обтянуть, и флажок красный утвердить на кабине.

Вот мы и со знаменем. Ну, ну!

А кому — на воротник красный лоскут прикалывают, а кто и на штык наколет. Значит, у нас — различие новое. Весело! (И — ещё отрывней.)

А Кирпичников своих кликнул — Орлова, Маркова, Вахова,— и пошли, пошли на мост. Набегом.

Уже и на мосту — а на проспекте сзади стреляют в воздух, не уймёшь.

Туда им, шалоумым, передать им: что делают?

— Что делают? Перестаньте стрелять! Мы все из-за вас погинем!

Там, за мостом, если стоит охрана — подумают, это мы по ним бьём. Лупанут и по нам.

Побежали, побежали по мосту, присогнувшись, в любую минуту упасть на торёный снег, если что.

Бежать, бежать! Победили, победили — а здесь, на мосту, остановиться —

и всё кончено. Если не двигаться и новой подсобы не подбуждать — всё кончено, петля!

Вдруг — уткнётся кто в мостовую. Думал пуля? Подымайся, нету!

И — ходом, и — набегом, вот уже и за серединой моста.

И увидели: там, за горбом, солдаты цепью стоят. И пулемёты у них. И ещё — казаки сбоку.

Ну, пропали, тут нас и покосят беззащитно.

И руки вскидывая, Кирпичников, Орлов кричат туда, на заставу:

— Не стреляй! Мы — свои, не стреляй!

Кучка замялась. Нет, теперь уж — бежать. Наше спасенье — только вперёд! (А там подкатит и наш грузовик с пулемётами.)

А казаки — расширились, перестроились в короткую лаву, и наезжают медленно.

Эти — шутя порубят.

Хотя ж — не трогали все дни.

— Братья казаки! Мы — за вас! Не трожьте нас!

Медленно наезжают.

Но шашек не вынимают. И не рысят в атаку.

83

Ещё в утренней темноте по пути из казарм два караула от Московского батальона шли со своими командирами рот долго вместе по Лесному проспекту и по Нижегородской, и капитаны Маркевич и Нелидов имели время поговорить.

По раннему вставанью, по невыспанности, по темноте казалось мерзлее, чем было, а Нелидову и отстать от строя стыдно, и шагать со своей полуотнятой ногой тяжело.

В утренней памяти первый встал вчерашний мятеж в Павловском батальоне. Всё время поворот: отчего ж и не у нас? Легла неуверенность и подозрительность к строю солдат, наполовину совсем неизвестных.

Безрадостно.

Несчастные ранения занесли их от прямых, открытых честных боёв в эту сумрачную уличную затиснутость.

А — каковы казаки? 1-й Донской полк был сейчас во всём Петрограде единственная строевая часть — с кадровым, обученным и неизраненным составом. А — как они себя вели? В субботу Нелидову досталось производить дознание об избиении насмерть в пятницу полицмейстера Шалфеева у Литейного моста. Сразу открылось, что избиение произошло беспрепятственно благодаря полному попустительству присутствовавшего и наблюдавшего казачьего наряда. Когда же Нелидов поехал в казачье расположение в Михайловский манеж, то они хмуро уклонялись представить свидетелей или отвечать на вопросы.

На углу Нижегородской и Симбирской расстались: Нелидов завел свою команду в клинику Турнера, уговорясь с Маркевичем, что выходит на подмогу при стрельбе с моста.

Ещё небольшие команды отделились на Финляндский вокзал и к тюрьме Кресты.

А капитан Маркевич вывел свою заставу к мосту.

Его главная задача и вчера и позавчера была: не выпускать толпу по Литейному мосту с Выборгской в центр. Рано с утра ещё никто не шёл, надобности в оцеплении не было. Когда вполне рассвело и с Выборгской возникло движение, стали подтягиваться рабочие,— он поставил оцепление против Выборгской. Но после вчерашнего события в Павловском батальоне и большого неспокойствия также в центре, следовало быть готовым охранять мост и против центра. Не было сил охранять мост по ту сторону или растягиваться по мосту — он расположил своих стрелков и пулемёты с этой стороны, чтобы встретить прорыв, если он произойдёт.

Сменными группами отпускал людей греться в ближний подвал.

Тут на удивленье Маркевича подъехал казачий наряд в четверть сотни, вчера их не было. Вообще-то наряд должен был подчиняться пехотному начальнику, но не очень Маркевич теперь рассчитывал на казачье послушание. Да и загораживать ли было ими мост, если уже известно, что казаки пропустят толпу между собой и под брюхами лошадей.

С Литейной стороны стала доноситься явная стрельба.

И всё гуще.

И близилась.

А если хлынет сюда? Тогда открыть огонь из обоих пулемётов.

Главная цепь Маркевича стояла, охраняла от выборгской толпы, а толпа тоже слышала стрельбу — и возбужденье её росло, они могли пытаться прорвать.

А что за солдаты были у Маркевича? Почти ни одного настоящего.

На предмостной горбатой площади рядом с невским обширным простором и под безрадостными петербургскими облаками с подклубом тумана — чувствовал капитан Маркевич себя и свою заставу беспомощно-ничтожными, куда слабей, чем со взводом в нескольких звеньях окопа. Не нашлось никого больше подкрепить их у этого ключевого моста, на этом разгульном просторе.

Через Неву нарастал и слитный гул, как бы многих голосов.

А мост оставался пуст.

Встретить возможное оттуда движение всё же был смысл послать казаков по мосту. Зачем же они, вот им и задача. Хотя бы — увещать предварительно, не открывать же сразу огонь по ещё не разгляженной толпе, издали.

И указал подхорунжему — выдвинуться развёрнутым строем, и если будут бежать сюда — остановить и оттеснить назад.

Подхорунжий вяло отдал команду, казаки медлили и слишком долго занимали положение.

А с той стороны, из-за накатной округлости моста, в морозном пару, показались бегущие сюда — но не чёрная рабочая толпа, а серые солдаты.

Отступающие от толпы?

Что-то кричали и усиленно махали с ясными знаками — не стрелять.

Но различались на них, на штыках — красные тряпки.

— Вперёд, казаки! Оттеснить! — крикнул Маркевич подхорунжему.

Но — не молнией кинулись казаки, как умели они, а перебирали шагом, нехотя,— и даже не успели взойти на мост, а что только успели — загородили пулемётам всю видимость, закрыли поле обстрела.

А по мосту — набегали!

А пулемёты стрелять не могли.

Да будут ли? Нетвёрдые лица.

Да открывать ли огонь без предупреждения?

И рожка не было, предупредить о стрельбе.

Маркевич скомандовал стрелкам на изготовку.

Взяли — но не уверенно. Совсем не уверенно.

А сзади — враждебно загудела сдерживаемая толпа.

А тем временем гурьба по мосту добежала до казаков, сравнялась! Но казаки не только не остановили её — ни шашками, ни нагайками, ни конями, ни слитным движением,— нет, по новой своей привычке они раздались по сторонам, обтекая,— и открыли её, набегающую, в сорока шагах от пулемётов.

Вот она?

Поздно?

Маркевич махнул и скомандовал пулемётам стрелять!

Но они не ударили.

А бегущие были уже — в двух десятках шагов!

Набегали, кричали — дикий солдатский разброд — но без попытки стрелять, и не в штыки.

Пулемётчики так и не ударили.

Стрелки опустили ружья.

84

В понедельник с утра и не было назначено общее заседание Государственной Думы. Законопроект о передаче продовольствования городским властям ещё не был готов, чтоб его утверждать. Обсуждать дальше доклад Риттиха с таким же успехом можно было и во вторник. Окунаться в нескончаемо невылазное волостное земство — никому не хотелось, да чувствовалось, что не время. И, как всегда, пропущен был мимо ушей призыв Чхеидзе в пятницу продолжать общую-преобщую дискуссию о правительстве и моменте. И всего-то были назначены с 11 часов заседания некоторых комиссий.

Итак депутаты, ещё не знающие об ударе, нанесенном в эту ночь, собирались не все и по петербургской привычке не рано. И только те поспешили, кто с утра уже прослышал о военном бунте. Некоторым, жившим поблизости, как Милюков или Керенский, ничего не стоило добраться до Таврического пешком. За другими посылали автомобили, вызывая. Так приехали с Петербургской стороны Шингарёв и Шульгин, а Шидловского привезли под флагом Красного Креста, иначе б ему и не прорваться.

В это петербургское туманно-морозное скромное утрецо как-то и не предвиделось и не хотелось никаких событий. На пороге сваливалась унизительная новость, узнавалась от одного к другому: что думцы уже не существовали в совокупности. Как ни грубили они властям последние две недели, а перед тем все осенние месяцы,— всё-таки не ждали такой решительности от потерянного, запуганного правительства!

Когда распускали 1-ю или 2-ю Думы, то вешались замки на двери, ставилась предохранительная стража, и депутатам негде было собираться и сговариваться, кроме частных квартир. В этот же раз уже тою смелостью было довольно правительство, что рискнуло послать указ Родзянке, и не помышляло закрывать сам дворец. Да ведь не был это и роспуск Думы, а лишь перерыв на месяц-полтора, до „не позднее апреля".

На местах стояли дежурные думские приставы с бляхами через шею, на местах швейцары — и так же с улыбками и поспешностью, как всегда, бросались раздевать депутатов. В купольном зале электрический свет держали умеренный, в Екатерининском — никакой, и зал долго сохраняли темноватым через тягучее петербургское просветление, и сумрачно переблескивал паркет, слегка отражая белые колонны.

Депутаты бродили в растерянности. Так уверенно шествовали они к разгрому негодного правительства — и вдруг оступились. Они нуждались в наставлении от своих лидеров. Но их Председатель сидел, никому не видимый, за дубовой громадой своей председательской двери, и никто не знал, что он там решал. И лидеры Блока были обескуражены и уклонялись от руководства, ускользали в свою комнату заседать, и оттуда выходили только за новостями. А депутаты прохаживались по залам, встречались, расходились, снова стягивались недоуменными и негодующими кучками.

А следующие приходящие подкрепляли слухи: да, восстала какая-то рота! Говорят, убили офицера! Нет, двух офицеров. Восстал целый батальон! Два батальона! И всё — поблизости от Думы, в Литейной части! Говорят, целая толпа восставших солдат повалила к Литейному проспекту. Убивают городовых!

Чем больший размах событий доносился извне, тем больше все думцы ощущали тишину и растерянность своего дворца, такого бывало грозного, шумного, неумолимого — до последнего дня.

Кроме единственного только вот этого последнего дня.

Какие, однако, упорные волнения, и всё не кончаются.

Нет, это даже в высшей степени странно, что их и не пытаются подавлять! Тут что-то искусственное.

Ах, да не инсценировка ли это?

Да что вы, господа, да это же ясно: сперва нарочно спрятали хлеб, чтобы вызвать крупный голодный бунт, а потом этим бунтом оправдаться, почему они вынуждены были заключить сепаратный мир! И вот сейчас они нам его и навяжут. И для того они нас распускают, чтобы развязать себе руки: Дума — сдерживающая, патриотическая сила. И не успеем мы снова собраться, как уже будет подписан сепаратный мир!

В темновато-встревоженных залах и переходах Думы становилось жутко. За спиной всего Прогрессивного блока, за спиной либеральной Думы тёмные силы крались на чёрное предательство великого дела Тройственного Согласия и собственной родины. А думцы ничем не могли помешать, они оказывались, вот, совсем не готовы, совсем бессильны, только и могли стоять кучками да обсуждать, как обыватели.

И даже самые левые, Чхеидзе, Скобелев, были в настроении, что всё пропало и спасти может только чудо.

„Член Государственной Думы" — очень звонкое и почётное звание, у себя в губернии да даже и в столичной прессе. Но в своём отведенном дворце и в массе пятисот человек член Государственной Думы — песчинка: мало значит его отдельный вид и голос, а соединиться с другими он не может без думских лидеров. А лидеров — в эти роковые, смутные, бессознательные минуты вот и не было. И зналось, за какими они дверьми — но не смели их потревожить, члены Думы очень не равны по значению.

А члены бюро Блока в 11-й комнате сидели в разброде и непомыслии. Да ведь всего вчера после полудня они заседали в этом же составе, в этих же креслах, над этим же зелено-бархатным столом, и тоже им виделась мучительно-бессмысленной обстановка,— но какой, оказывается, то был мирный, неценимый день, вчера! — а сегодня... Да ведь это же государственный переворот? И с каким пренебрежением: государев указ, когда хорошо известно, что Государь в Ставке и со вчера ничего подписать не мог. Открытое издевательство!

И чем ответить?

И вдвойне угнетало несчастное совпадение роспуска Думы с непрекращёнными волнениями в Петрограде. Именно сейчас, когда так требовался спускной думский клапан,— его и закупорили. Ах, не было бы хуже!

Но уже и раньше теоретически рассуждая о возможном роспуске Думы, лидеры Блока условились не предпринимать никаких демонстраций: потому что на самом деле нет никакой реальной силы оказать сопротивление, вся их сила — говорение с трибуны, пока она есть.

Теперь же, когда по улицам бегали взбунтовавшиеся солдаты и убивали городовых,— теперь примирительное решение должно было соблюдаться сугубо. Дума очень взрывчатые слова бросала эти месяцы и недели,— но именно же для того, чтобы не взорвалось на улицах. А сейчас, когда уже начало рваться,— от Думы ни искорка не смела пролететь дополнительная.

Так вот печально, безвыходно, бескрыло: приходилось перетерпеть.

Сидели понуро, бездеятельно, и язвительный Шульгин вдруг высказал:

— А по-моему, господа, наш с вами Блок закончил существование.

Тут черноусый угольноглазый неуравновешенный Владимир Львов, о котором никогда никто и сам он не знал за две минуты, что́ брякнет — за крайне правых или за крайне левых, выдвинул зловещим голосом:

— А давайте — не расходиться! Заседать как Конвент!

Но на него зашикали, посмотрели, как на известного сумасшедшего. И особенно презрительно — Милюков.

Милюков сегодня остро столкнулся с событиями ещё утром, у себя дома. Он жил на дальнем краю Бассейной, и надо ж было, чтобы так долго ожидаемое народное движение родилось не где-нибудь в стране — но наискось от его окон, в казармах Волынского. С большой осмотрительностью, боковыми улицами, чтоб ни с кем не столкнуться, прокрался он в Думу. А её тут — распустили! Милюкову, с его политическим опытом, явнее всех была беспомощность положения Блока и непроверенность ситуации. Эту ситуацию надо было логически исследовать как в продольном направлении, так и в поперечном, и найти новые опоры. Во всякой новой обстановке всегда в Милюкове прежде всего перевешивала осторожность. Труднее всего ориентироваться в настоящем времени.

Лидеры фракций всё не имели силы духа выйти к своим депутатам.

И во всём дворце только может быть единственный Керенский не впал в душевную потерянность в эти часы,— а потому что им овладело мужество

отчаяния. После его последних безумно-смелых речей в Думе — против него, он предполагал, тайно готовилось следственное дело. Но — начались уличные волнения! Но — эти волнения могли его вызволить ото всего! Хотя, по революционным сведениям, никто ничего серьёзного на эти дни не замышлял,— а вдруг??!

И о роспуске Думы и о восстании запасных он узнал из телефонных звонков ещё у себя на квартире утром,— и ещё с квартиры звонил, кому только мог: чтобы повлиять, чтоб войска бунтовали и дальше — и чтоб они шли к Государственной Думе!

А теперь по Таврическому дворцу он метался, с осиною талией, на пружинистых ногах, в приливе отчаянных сил. Быть может, великий момент? Из хлебных погромов да военный мятеж — это может стать грозным событием! Но эти восставшие солдаты без офицеров, без цели и плана, нуждались в вожде, нуждались в указующей руке и пламенной речи! Такая речь — таких десять, двадцать, сто речей уже кипели в неистощимой, хотя и узкой, груди Керенского. Его рука уже сама вытягивалась в повелительный жест. Он содрогновенно чувствовал, что может стать вождём этих восставших солдат!

Но — не мог сам сделать первый шаг, не мог искать этих бунтующих солдат по улицам: там он не имел бы пьедестала, терял бы положение, стал бы ещё одним мятущимся обывателем, никто б его не слышал в шуме и не заметил в толчее.

Эти неразумные солдаты должны были сами догадаться — прийти сюда, к ступеням Думы. Но они никак не могли догадаться сами (запасные, наверно, не так хорошо и знают Думу?) — и, значит, кто-то другой должен был направить их сюда, крикнуть среди толпы — „к Думе! к Думе!". Ведь для толпы бывает достаточно возгласа одного.

И Керенский, прильнувши к телефону, звонил-звонил-звонил своим эсеровским и лево-адвокатским друзьям: просил идти туда, в толпу, или посылать кого-нибудь, кого попало, хоть из прислуги, и кричать: „к Думе! к Думе!".

Там — бушевали никем не возглавленные солдаты, здесь — слонялись тени нерешительных депутатов. Презирая костенение Прогрессивного блока, никогда ни в чём не дерзнувшего шагнуть,— Керенский прожигающей искрой метался от телефона к окну, и к другому, и к третьему, откуда лучше видно, и к двери, и посылал кого-нибудь расторопного посмотреть в соседних кварталах: да идут ли уже? не идут ли? не приближаются?..

А иначе — будет страшный конец!

Продолжение следует

Шарль ДОБЖИНСКИЙ

Открытое письмо советскому судье

В Ленинграде воцарился порядок, товарищ судья,
Вы уничтожили хищного зверя,
Вы изгнали из городских стен тунеядца, паразита,
Врага общества,
Поэта.
В ваших глазах, товарищ судья,
Что такое поэт? Это камень, висящий
Мертвым грузом на шее общества.
Я не знаю Иосифа Бродского, товарищ судья,—
Украшая собою скамью подсудимых,
На что он похож?
Может быть, его волосы рыжи, подобно закату,
А в глазах голубизна Невы, не знающей слез?
Можно ли прочесть в его взгляде
Преступность поэзии?
Может быть, у него безумный хаос в мыслях
и темная тоска в сердце,
Как бывает у тех, кто коротает ночи
в рудниках языка,—
Рудокопы слов, чьи лица черны
От сажи непознанных истин?
Я не защищаю его стихов —
Может быть, они рыжи, как грозовая туча,
Которая не знает, что служит вместилищем молний
(Разве туче доступна идея электрического разряда?),
Может быть, они просто-напросто очень плохие,
Не все ли равно —
Неужели вы взаправду уверены в том, что плохие стихи
Наносят ущерб Государству?
Если вы думаете, что едва родившийся крик,
Еще не пробившийся сквозь толщу сердца,
Представляет опасность для идеологии,
Это значит, что вы, товарищ, не верите в народ,
Что вы боитесь молодости
(Столько плохих стихов написано во славу социализма,
но вы ведь не реагировали на них!).

Шарль Добжинский — один из крупных современных поэтов Франции, автор многих стихотворных сборников и поэм, к тому же много сделавший для взаимопонимания народов и культур. Как поэт-переводчик он, пожалуй, сегодня не имеет равных в своей стране. В настоящее время он — главный редактор журнала «Европа», одного из самых содержательных и высококультурных толстых журналов во Франции.

В 1964 году, сразу же после того, как в «Фигаро-литтерер» была опубликована запись суда над Иосифом Бродским, сделанная Фридой Вигдоровой, Шарль Добжинский написал небольшую поэму — «Открытое письмо советскому судье»; оно тогда же было опубликовано в журнале «Аксьон поэтик». Это «Открытое письмо» интересно во многих отношениях — разумеется, в связи с судьбой и поэзией нобелевского лауреата 1987 года, но и в связи с судьбами поэзии в сталинско-брежневском мире вообще. Поэтому я и предлагаю его читателям «Невы» — в моем переводе.

Е. ЭТКИНД

Я не защищаю Иосифа Бродского,
Может быть, он стихотворец, лишенный таланта,
Но разве кодекс облекает вас правом
Судить о таланте?
Говорят, что он очень одаренный переводчик,
Это большая ценность, товарищ судья,—
Даровитый переводчик стихов,
Сплетающий в другом языке
Ариаднину нить недоступных напевов,
Голосов, без него обреченных на гибель в ночи,—
Известно вам это, товарищ судья, вам это известно?
Я не защищаю того, кого вы сочли дармоедом,
Но мне кажется чудовищным вот что:
В этой вашей стране, где чтят человека,
Где для него пролагают пути, ведущие к счастью,
В этой стране, где поэзии громко обращается к людям,—
Поэта, пусть он сорванец и бродяга
(Таким был Есенин, поэт-хулиган),—
Поэта сажают на скамью подсудимых!

Возможно, что он — бедолага,
Вид у него несчастный, его беды тревожат меня,
В его искренность трудно не верить,
Но вы, доискались ли вы до корней недовольства,—
Почему молодой человек восстает против мира,
Даже если мир справедлив?
Но вы, товарищ судья,
Вы, возмущенный ничтожностью его доходов
(Чем он живет, если он не работает?),
Вы не понимаете,— ах, вы неспособны понять —
Что можно пожертвовать хлебом насущным
Ради любви к поэзии.
Вы не понимаете, судья-фарисей:
Можно пренебречь производством материальных благ
Ради того, чтобы найти позабытую розу,
В целине ощущений и слов
Бесполезную розу, богатую только одним:
ароматом, несущим погибель.
Странный в социалистическом мире судья,
Который сталкивает хлеб и розы,
Мечту и реальность,
Поэзию и труд.
Конечно, поэзия прокормить не может,
Поэзия бесполезна для того, кто неспособен понять,
Что она суть нашего бытия.
Поэзия — это скандал,
В особенности, когда она не желает
Подчиняться общепринятым нормам,
В особенности, когда она выражает мятеж,
А вы считаете мир, в котором вы хозяин,
Настолько совершенным,
Что всякий мятеж в нем немыслим?
Всякое восстание сердца, всякий заговор чувств
Немыслим раз навсегда?
Неужели вы думаете, товарищ судья,
Что вы создали образцовую гармонию
человека и его среды,
Человека и его совести,—
После двадцати лет сталинизма?
Это вы, товарищ судья, это вы,
Пользуясь острым клинком вашей власти,
Окровавленной плетью фанатизма,
Лаем свирепых догм, готовых искусать любого,
Это вы повинны
В озлоблении и отчуждении людей.

Это вы, товарищ судья, это вы,
Или подобные вам, говорящие те же слова,
Твердящие те же истины, подобные монументам,
С той же ледяной убежденностью,
Это вы укрепили статую тирана
Бетоном глупости
И тупого повиновения.
Это вы — тот, кто лгал, кто покрыл мутью,—
Может быть, и сам того не зная, но это еще печальней,—
Зерцало правого дела.
Иосифа Бродского я не вижу.
Говорят, что сегодня он на свободе,
Ибо неправда невечна в стране,
Где народ впервые в истории взял в свои руки
Ключи от своей судьбы.
Но глупость — болезнь,
От которой нелегко излечиться,
Социализм еще не придумал птичьего молока.
В то время как спутники летят к планетам,
В Ленинграде судят поэта.

У него несчастный вид; его беды меня угнетают.
Ведь это беда — быть поэтом, начинающим, одиноким поэтом,
Которого никто не признает тем, кем он бы хотел быть,—
Тружеником слов, ювелиром мечтаний;
Который не имеет права зарабатывать деньги,
Если мечтанья его не те, что у всех.
(Но, товарищ судья, если вы давите цыпленка в скорлупе,
Как же вы узнаете, в какой день
Курица снесет золотые яйца?)
Я не защищаю поэта,
Я защищаю поэзию,
Которую вы горько оскорбили, товарищ судья,
В лице этого несчастного юноши,
Который верил в нее всеми силами души
И видел в ней смысл жизни.
Я защищаю поэзию, товарищ судья,
Поэзию, гонимую общей ложью,
Поэзию, которую вы обрекли на то,
чтобы где-нибудь ее вздернули на виселицу,
Потому что она не говорит на вашем языке —
Специально-административном жаргоне,
Которую вы приговорили к трудовой повинности,
Потому что она, на ваш взгляд, не нужна,
Ее не учитывают при подведении
официальных производственных итогов,
Статистика не исчисляет ее в тоннах,
И еще потому, что она скроена не на ваш аршин.
Кому же могла прийти нелепая мысль
Построить здание всей своей жизни
На зыбучих песках слов?

В самом деле, разве надо было, товарищ судья,
Привлекать человека к суду советского трибунала
За то, что его профессия — писанье стихов?
Разве надо было, товарищ судья,
Оскорблять его, обесчестить публично,
Потому что газета назвала его тунеядцем?
(Да еще в зале суда читают стихи,
От которых он отрекается...)
Я не знаю его стихов,
Которые вы называете порнографией,

Но вы бы, ничуть не впадая в сомнение,
Товарищ буржуазный судья,
Вынесли приговор Шарлю Бодлеру,
Осудили Верлена и Рембо.
Обличили Лотреамона.
Между вашими суждениями и стихами
Простирается океан крови —
Крови Есенина, смешанной с кровью Маяковского.
Конечно, поэты не все умирают по одной и той же причине.
Но все они умирают оттого, что слишком любили
Жизнь и поэзию.
Так вот, товарищ судья,
Я отвожу ваши обвинения,
Иосиф Бродский не Маяковский,
Но и вы не царь Соломон,
Ваше правосудие носит шоры, а вы —
Странный пережиток палеолита,
Судья для музея восковых фигур.
Социализму необходимо
Столько же (нет, больше!) поэзии, сколько угля.
Столько же любви и правосудия,
Сколько стали и зерновых.
Понимание — это свойство человека,
Оправданье судьи,
Но вы — вы не способны понять.
Я не защищаю обвиняемого
По этому смехотворному процессу
(Разве был предан публичному суду автор
Недавней расистской книжонки?)
Я защищаю поэзию,
Которую вы оскорбили во имя закона,
Считающего (вместе с вами), что поэт — тунеядец;
И во имя поэзии, во имя правосудия,
Без чего социализм был бы мертвой буквой,
Я отвожу вас, товарищ судья.

Перевод Е. ЭТКИНДА

Борис
РОЩИН

РАССКАЗЫ ВЗВОДНОГО КОМАНДИРА

ПРОМАШКА

Одной из причин, из-за которой не поднялся я в армии по служебной лестнице выше должности командира взвода, явилось, по моему мнению, то обстоятельство, что был я беспартийным. Беспартийный офицер в армии — большая редкость. Сам понимал — нельзя меня ставить на роту, где имеется, как правило, партгруппа или партийная организация, какой я буду ротный командир, ежели стою в стороне от партийной жизни подразделения. И подумывал подать заявление о приеме в партию, да отохотил меня от этого решения никто иной, как замполит полка подполковник Мокин, имеющий среди солдат и офицеров очень цепкое прозвище — Баба Маня. С прозвищем его дело доходило порой до курьезов. Сам слышал однажды, как командир полка отдавал своему заместителю такое приказание: «Позвоните бабе Мане и передайте...» Короче говоря, подполковник Мокин, несмотря на свою должность, уважением ни среди солдат, ни среди офицеров не пользовался. Внешне он на военного человека походил мало — сутулился, ходил враскачку, а на безбровом женском лице его постоянно жмурился то левый, то правый глаз. Казалось, что подполковник панибратски подмигивает вам. Однажды Мокин о чем-то беседовал с одним моим солдатом-первогодком. Я поинтересовался у солдата: о чем? «В военно-политическое училище предлагал поступать,— ответил солдат.— Сказал, что после училища работа — за все болей, ни за что не отвечай». «Неужели так и сказал?» — удивился я. «Так и сказал»,— подтвердил солдат.

Так уж получилось, что многие замечательные офицеры в моей памяти забылись, а подполковник Мокин остался. Поскольку по возрасту я сейчас, наверное, старше тогдашнего Мокина, да и по званию не ниже (член Союза писателей СССР), позволю его иногда называть так, как все в полку звали,— Баба Маня. Но — все по порядку.

У солдата моего взвода рядового Кононенко загуляла жена. Прислала ему мать с Украины письмо и все, как есть, расписала про неверную невестку — потеряла Галина женский стыд и совесть, на глазах всего села милуется с Миколой Божаном.

Солдат в стрессе — ни ест, ни спит, молчит. Из веселого статного парня за два дня превратился в какую-то вялую тень с желтыми пятнами под глазами.

— Что могу для тебя сделать, Кононенко,— спрашиваю,— чем могу помочь?

— Домой надо съездить, разобраться, товарищ старший лейтенант,— солдат отвечает.— На колени перед вами стану, только помогите с отпуском.

А я, надо сказать, к этому времени уже опытным командиром взвода был, обкатанным отпускными солдатскими ухищрениями. Человеку гражданскому не всегда понятно, что значит для солдата отпуск с поездкой на родину. Непосвященным в армейскую жизнь так скажу: для солдата отпуск, что для девушки замужество. Мечту об отпуске он постоянно в душе носит, лелеет ее, холит. Но, увы, не всякая мечта сбывается. Заслужить отпуск одним лишь солдатским рвением удается не всегда и не каждому. Вот почему иные армей-

ские ловкачи находят для себя отпускную лазейку — «отпуск по семейным обстоятельствам». Встречаются «таланты», которые по телеграммам «заверено врачом» несколько раз домой съездят — и маму «похоронят», и папу, и сестер с братьями. А потом смотришь — к круглому сироте тетя с дядей приехали, пирожками его кормят. Подойдешь, спросишь — кто такие, зачем приехали, отвечают: родители мы, родители! Короче говоря, аргумент из маминого письма «жена гуляет» для отпуска по семейным обстоятельствам не тянул. Однако, вижу, у Кононенко не тот случай, чтобы отмахнуться. Чую, на большом серьезе у него все и на уме худое. Приказал сержантам глаз с солдата не спускать, к оружию и взрывчатке его не допускать. Посоветовался с ротным командиром насчет отпуска Кононенко, ротный головой отрицательно покачал — с отпусками в роте перебор. Решил к замполиту полка идти на прием, к подполковнику Мокину.

Принял меня Мокин. Объясняю ему ситуацию, прошу ходатайства перед командованием части об отпуске рядовому Кононенко, кстати сказать — отличнику боевой и политической подготовки.

Слушает меня Баба Маня, то бишь Мокин, внимательно, но морщится, лысой головой-шаром крутит и то один глаз на меня прищурит, то другой. Наконец, произносит:

— Ну что — гуляет!.. Все гуляют... А может, и не гуляет?

— Вот и пускай разберется с женой на месте, товарищ подполковник,— говорю,— и разрешит свой семейный вопрос в принципе. Солдат сам не свой, а ему в карауле с автоматом стоять. Ледоход скоро — на защиту мостов надо ехать. Как я его к взрывчатке подпущу?

— Так сделаем,— Баба Маня решает,— в караул его пока не ставить. Пошлем запрос в его село на имя председателя сельсовета. Если факт с женой подтвердится, тогда посмотрим...

Послали письмо-запрос на родину рядового Кононенко. Ответ пришел неожиданно быстро. В письме-ответе говорилось, что Галина Кононенко, вопреки людским наговорам, женскую честь свою неустанно блюдет и все мужские поползновения на нее решительно отвергает. К сему стояла печать и подпись председателя сельсовета М. Божана.

Когда я ознакомил с этим письмом-ответом рядового Кононенко, солдат заплакал. Бросился на кровать, зажал лицо подушкой и... не приведи господь видеть плачущего солдата. С трудом я добился от него, что председатель сельсовета М. Божан и есть тот самый его обидчик, о котором писала мать.

Отправился я вновь к Мокину разъяснять обстановку на личном фронте рядового Кононенко. Говорю, а слова во рту застревают — Баба Маня на меня сразу оба глаза прищурил и, чувствую, слова мои не воспринимает. Вдруг перебивает меня:

— Вы почему не в партии, старший лейтенант?

Опешил я от неожиданного вопроса и раздосадованный тем, что не слушает меня Баба Маня, с некоторым вызовом отвечаю:

— Не созрел ешшо, товарищ подполковник.

— Смотри, не перезрей,— Мокин говорит,— на взводе закиснешь. А в партию вступишь — роту получишь, перспектива службы откроется.

Что значит молодость! Скажи мне сейчас такое — что здесь особенного? А тогда слова Бабы Мани чем-то меня здорово задели. Вспыхнул, говорю:

— Перспективу службы партийным билетом открывать себе не собираюсь!

— Чем же вы ее собираетесь открывать? — Баба Маня спрашивает и, прищурив один глаз, смотрит на меня с усмешкой.

— Как же быть, товарищ подполковник с рядовым Кононенко? — вопросом на вопрос отвечаю.

Поморщился Мокин, вздохнул, дает совет:

— Не копайтесь вы, старший лейтенант, в чужом белье, без нас с вами разберутся. Солдату полгода служить осталось, мне бы его заботы... А насчет партии подумайте, крепко подумайте.

На том мы с Бабой Маней и расстались.

Спустя несколько дней рядовой Кононенко, укрывшись в ротной ремонтной «летучке», повесился.

Увы, если бы даже на этом поставить точку!

На похоронах Кононенко в родном его селе присутствовал и я — по долгу службы. Стоя перед открытой могилой рядом с председателем сельсовета Миколой Божаном — белокурым красавцем-мужчиной, глядя на ползающих по заколоченному гробу воющих женщин — жену и мать солдата, я уже знал: Галина Кононенко ни в чем не виновата перед мужем, она былв верной и любящей женой, председатель сельсовета не кривил душой в своем ответе подполковнику Мокину. А письмо, стоящее солдату жизни, сфантазировала от начала до конца его мать. В звериной тоске по сыну, в желании увидеть его решилась она на этот шаг — поистине людская глупость не знает границ. Однако, чем больше я размышлял над поступком матери, тем менее склонен был считать его голой глупостью. Скорее, это был трезвый расчет холодной головы. Мать понимала, что после ее письма без внимания ее сына в армии не оставят. Сын будет в угнетенном состоянии и его непременно отпустят домой уладить личные дела. Она рассказала бы сыну о своей уловке, попросила прощения у него и у невестки, и они вместе бы посмеялись над материнской хитростью, пускай и жестокой. Не получилось. Ошиблась она в своих расчетах на армейскую чуткость — внимание к сыну, подвел Мокин, подвел я, но, главное, не столь холодной и расчетливой оказалась душа ее сына. По себе ее мерила (да и мы с Мокиным по себе), и перетянули струну — лопнула...

После такого ЧП в моем взводе вопрос о приеме меня в партию сам собою отпал. При встрече со мной Баба Маня щурил то правый, то левый глаз, смотрел куда-то в сторону и вяло вскидывал руку к козырьку — в ответ на приветствие.

ДЫРОДЕЛ

С возрастом, когда на меня вместе с сединой уже мудрость служебно-житейская начала оседать, любил я наблюдать своих коллег — молодых взводных командиров, приходящих в роту из училищ. Ребята они были, как правило, в военном деле грамотные, до краев наполнены желанием проявить себя по службе, а на меня, взводного с десятилетним стажем, смотрели, как на некое служебно-ходячее недоразумение. И хотя взводным я, повторяю, был опытным, куда уж мне было тягаться с молодыми. Физподготовку взять или строевую. Молодые лейтенанты на турнике «солнце» крутят, а у меня уже брюшной вес — три раза на перекладине подтянуться только и могу. На строевой подготовке у молодого взводного словно пружина в штанах заложена, нога струной на уровне пояса летает, а у меня, когда в колене выпрямлю и всей ступней по плацу топну, в поясницу отдает. Да и знания по специальной подготовке у молодого, только что из учебного заведения выпущенного, куда свежее, чего греха скрывать, моих знаний. И методическая подготовка у них на уровне, педагогами, можно сказать, приходят на взвод.

А вот чего не хватает, по моим многолетним наблюдениям, молодым взводным командирам, так это принципиальности. Не перед солдатами своими принципиальности — перед ними ее хоть отбавляй, а перед начальством, перед вышестоящими командирами. Особенно это к тем взводным относится, кто на академию в ближайшее время нацелен, на быстрый служебный рост. Помалкивают они зачастую там, где голос подать требуется, мнение свое командиру-начальнику высказать откровенно, а не конъюнктурно. Вот тут-то мой час и наступает!

В последние годы службы в армии я уже некоторую даже приятность начал ощущать от смелых своих критических выступлений, беспартийной принципиальности своей, нацеленной на негативные стороны армейской жизни. Увидел я, к примеру, как рядовой Голощапов в ротной ремонтной мастерской занимается несколько необычным делом — приваривает к железному молотку пулю от автоматного патрона, изготовляет «дыродел». Здесь, чтобы полная в дальнейшем ясность была, про «дыродел» поясню подробно.

Солдаты, как известно, стреляют по мишеням. Увы, даже самые дисциплинированные и старательные солдаты не всегда в эти мишени попадают. А что

значит не попасть в мишень, когда надо попасть? Это значит: подвел свой армейский коллектив, своих командиров, которые нацеливали тебя на попадание на занятиях в стрелковом классе, на стрельбище, на ночных и дневных стрелковых тренировках и, наконец, на комсомольском собрании, предшествующем инспекторской проверке стрелкового солдатского мастерства. И вот, чтобы повысить показатель попаданий в мишень из автомата и, следовательно, повысить оценку подразделения по стрелковой подготовке, и существует «дыродел». Приспособление это, сразу скажу, нелегальное и строго наказуемое. Принцип действия его таков. При выполнении упражнения стрельбы из автомата короткими очередями по появляющейся мишени мишень, при попадании в нее хотя бы одной пули, должна мгновенно убираться, исчезать. В идеале мишень убирается автоматически. Однако полностью механизированных стрельбищ в мое время было не так уж и много, и потому все происходило проще. Под мишенью в глубокой траншее сидел солдат, в задачу которого входило при попадании пули в мишень, поворачивать фанерную мишень к стреляющему ребром — убирать. Ну, а если стреляющий не попал? Тогда и говорит свое фальшивое слово «дыродел». Размахнется солдат молотком на длинной рукоятке и, не поднимаясь из траншеи, хрясть молотком-пулей по мишени. Сколько надо попаданий — столько и пожалуйста! И не один проверяющий с огневого рубежа работу «дыродела» не заметит. Да и сами солдаты зачастую не знают про «дыродел», и офицеры не всегда знают.

Теперь, когда принцип действия «дыродела» для непосвященного читателя несколько прояснился, вернемся к ефрейтору Голощапову, которого застал я в ремонтной мастерской за изготовлением нелегального механического приспособления.

— Кто приказал «дыродел» делать, Голощапов? — спрашиваю.

Молчит ефрейтор, не отвечает.

— Отвечай,— говорю,— Голощапов, я от тебя не отстану, ты меня знаешь.

Опустил ефрейтор голову, сопит, молчит. Однако я, как опытный командир взвода, понимаю, что запирается от меня ефрейтор, можно сказать, чисто символически, потому как «дыродел» солдату в его службе принципиально не нужен. Легонько нажимаю на ефрейтора:

— Хотя я, Голощапов, и не твой командир взвода, но обещаю тебе: будешь молчать — завтра в увольнение не пойдешь. А к тебе, насколько в роте известно, дама сердца приехала.

Здесь, надо сказать, я, видимо, несколько пережал палку. Ефрейтор взвыл:

— На кой мне этот «дыродел», товарищ старший лейтенант! Пропади он пропадом! Старшина приказал сделать. Старшина Шипов.

— Перед народом подтвердишь свои слова,— спрашиваю,— Голощапов?

— Старшина меня съест, товарищ старший лейтенант...

— Ради службы и пострадать иногда требуется,— отвечаю.— Подтвердишь?

— А если старшина увольнение зажмет? — ефрейтор торгуется.

— Тогда твою даму, Голощапов, лейтенант Дунаев на танцы пригласит. Он тоже холостой, а она тебе не жена. Помнишь, к сержанту Васнецову девушка приезжала, а замуж за старшего лейтенанта Григорьева вышла.

На эти мои слова ефрейтор Голощапов неопределенно хмыкнул и махнул рукой:

— Ладно, товарищ старший лейтенант, подтвержу!

То, что старшина Шипов приказал изготовить «дыродел», меня в общем-то не удивило. Шипов был скользким и вороватым человеком. Я невзлюбил его с той поры, когда у него трагически погибла жена. Гнала на кухне самогон, стала поднимать на полку трехлитровую банку с жидкостью, банка лопнула. Облитая с головы до ног самогоном спиртовой крепости, женщина задела платьем пламя газовой горелки... Спустя два месяца после трагедии, проходил я мимо финского домика Шипова и увидел случайно, как он на веранде обнимает какую-то женщину. Вскоре узнали мы, что Шипов вновь женился. С тех пор мнение мое о Шипове, с учетом отношения его к службе, было однозначным — гнать из армии. Но то — мое мнение. Для командира роты капитана Соловейчика старшина Шипов являлся человеком незаменимым. Хозяйственные каптерки старшины ломились от краски, запчастей и прочих дефицитных материалов. Не возникали вопросы с подменным обмундированием, с ремонтом сапог, другими ротно-хозяйственными проблемами, в которых командир роты без опытного помощника — старшины мог утонуть. Кроме того капитана Соловейчика и старшину Шипова, как и жен их, связывала личная дружба, которая базировалась на общей любви к зеленому змию и амурных делах. Это я знал доподлинно, так как жил в одной коммунальной квартире с капитаном Соловейчиком. Жена его Раиса с покойной женой старшины Лелиан Шиповой не раз будили меня по ночам и просили найти их загулявших муженьков. И я вынужден был садиться на мотоцикл и разыскивать их в знакомых деревнях, как шкодливых котов. Наедине я не раз высказывал Геннадию Соловейчику все, что о нем думаю. Геннадий, будучи по возрасту младше меня, выслушивал все молча и виновато, не возражал. Но когда однажды я предложил убрать из роты старшину Шипова, он взвился и высказался в том смысле, что скорее уберет из роты меня, чем Шипова. Честно говоря, слова капитана Соловейчика больно задели меня. Кому-кому, а ротному обижаться на меня было грешно.

В тот же день удалось поймать мне в курилке всех трех командиров взводов. Рассказал я им про «дыродел», так и так, говорю, мужики, давайте решать, что будем делать?

— Главное, слона из мухи не надо раздувать,— Коля Белашов отвечает, самый старший из молодых взводных.— Ефрейтора Голощапова наказать, остальных предупредить — и дело с концом.

— А как быть со старшиной Шиповым? — спрашиваю.— «Дыродел» — его инициатива. Более того, мы с вами не дети и должны понимать, что старшина на такое дело никогда не решился бы без согласия нашего командира, пускай и молчаливого.

— Командира роты обсуждать не наше дело,— тот же Белашов говорит,— на то имеются вышестоящие командиры и начальники.

— Ну, а ты, Валя, как думаешь и что скажешь? — самого молодого взводного спрашиваю, лейтенанта Кащеева, который недавно капитану Соловейчику рапорт подал с просьбой отпустить на учебу в академию.

— Что я скажу,— лейтенант Кащеев с обычной своей полузастенчивой улыбочкой отвечает,— Шипов от всего откажется, и мы останемся в дураках.

— А Голощапов? — возражаю.— Он живой свидетель, он подтвердит, он обещал.

— А если не подтвердит? — Кащеев спрашивает.— У меня в Голощапове уверенности нет.

— Ну, знаешь, Валя,— удивляюсь,— если у тебя в таких, как Голощапов, уверенности нет, о чем с тобой говорить? С кем тогда ты, как Жванецкий говорит, в разведку без мыла и зубной щетки пойдешь?

— Что конкретно предлагаешь? — Белашов спрашивает.

— Предлагаю перед командиром полка вопрос ставить. Все как есть о положении дел в роте рассказать. Ходатайствовать, чтобы старшину Шипова из роты убрать. Он в казарме худую погоду делает.

Замялись мои молодые коллеги, запереглядывались, по всему видно — сор из избы выносить им вовсе не хочется. Тогда придется и с капитаном Соловейчиком отношения портить...

— Ладно,— говорю,— салажата, понимаю вас. Придется старому взводному подать вам личный пример смелой принципиальности. К вам лишь одна просьба имеется: не давать старшине Шипову, пока я его из армии не уберу, съедать ефрейтора Голощапова. Главное — чтобы увольнение ему не зажимал.

После того разговора стал ждать я общеполкового офицерского собрания. Представлял себе, как после выступления начальника штаба, замполита или самого командира полка подниму руку и, получив разрешение на вопрос, так скажу:

— Разрешите, товарищ полковник (или подполковник), выступить с критикой некоторых фактов нашей ротной жизни, которые мешают поддерживать

в полку высокую боевую готовность и хороший морально-политический настрой?

Полковнику (или подполковнику), конечно же, не хочется выслушивать критические разглагольствования от младшего офицера по своему полковому хозяйству. Ему куда привычнее и легче критические замечания от вышестоящего командира или начальника слушать. Однако после моего вопроса в помещении офицерского собрания тишина повисает, офицеры в зале ждут ответа. Знают все, что я по воробьям стрелять не стану и коли прошу слова, значит, есть что сказать. Понимает это и полковник (подполковник) и ожидающую тишину в зале улавливает. И еще понимает: все офицеры, сидящие в зале, знают и помнят слова Ленина о критике и самокритике. Потому-то самый свирепый по характеру командир вынужден с моим вопросом считаться. И вот, получив неприветливое «говорите», поднимаюсь я, разворачиваю сверток и достаю молоток с наваренной на него пулей.

— Вот,— говорю,— товарищи, каким способом добиваемся мы отличных результатов в роте по стрелковой подготовке. Полюбуйтесь,— и пускаю молоток по рукам. И, конечно же, очень тонко, чтобы не было похоже на ультиматум, намекаю командованию полка: ежели старшина Шипов останется в роте, «дыродел» этот может дойти не только до командующего округом, но и до самой Москвы...

Увы, все получилось не так. Недооценил я старшину Шипова как противника. А для человека военного недооценить противника — значит потерпеть поражение.

Незадолго до общеполкового офицерского собрания выехала наша рота полным составом в колхоз на уборку картошки. Дело не хитрое и два дня — субботу и воскресенье — солдаты, соскучившиеся по гражданскому труду, работали на поле в свое удовольствие и к удовольствию управляющего отделением. Офицеры на поле с солдатами, а старшина Шипов, как и положено старшине в подобной обстановке, занимался вопросами солдатского питания, изыскивал к нему дополнительные резервы в виде колхозного молока и овощей. По всему поведению старшины чувствовалось, что о моем намерении изгнать его из роты Шипов знает. При встрече он не смотрел в глаза, щекастая физиономия его покрывалась белыми пятнами, а шея багровела. В какой-то момент мне показалось, что Шипов, разговаривая с управляющим колхозным отделением, кивнул головой в мою сторону...

Закончила рота работу на поле, собрались мы уезжать, управляющий говорит мне:

— Вы, я слышал, недавно женились?

— Да,— отвечаю,— свершил такой шаг.

— Тогда в хозяйстве пара ящиков картошки вам не помешает.

— Ну что вы,— говорю,— спасибо большое, зачем?

— Вам спасибо, что помогли, а мы не обеднеем,— и махнул солдатам рукой, давая понять, чтобы бросали в кузов картошку.

Ну, солдат долго уговаривать не надо, а я возражать не стал. Подумаешь, в самом деле, пара ящиков картошки. И впрямь колхоз не обеднеет.

Приехали в часть, и тут я внимание обратил, что старшина Шипов раньше всех из машины выскочил и в проходной КПП исчез. Не успели солдаты мои из машины выгрузиться, смотрю, из проходной спешит в нашу сторону заместитель командира полка по тылу майор Сазонов, а следом за ним старшина Шипов катится. Подал я солдатам своим команду «смирно!», доложил майору по всей форме о прибытии подразделения из колхоза, майор командует:

— Отправляйте взвод в казарму с помощником, самим остаться.

Остались мы с майором и старшиной Шиповым возле машины одни, Сазонов в кузов заглянул и спрашивает:

— Чья картошка?

— Моя,— отвечаю,— управляющий пару ящиков дал.

— То есть как дал? — майор грозно спрашивает.— Вы деньги за картошку платили?

— Нет, не платил.

— Выходит, похитили картошку?

— Нет, я с разрешения...

— Похитили — с разрешения?

— Украл с разрешения! — ответил я резко, запоздало понимая, что подкузьмил меня старшина Шипов крепко и теперь завертится колесо.

Так и произошло. Через несколько минут о картошке моей знали уже командир полка и замполит. Понятно, что ко мне, любителю критиковать начальство, спрос был по самому высокому счету, здесь мне обижаться не приходилось. Но более всех удивил меня Шипов. В присутствии командира полка он, обычно бессловесный возле начальства, разразился вдруг целой речью:

— Мне стыдно было, товарищ полковник, за командира взвода перед солдатами,— гневно проговорил он, багровея щекастой физиономией.— Офицер ворует картошку на глазах у своих подчиненных! Я пятнадцать лет в армии, но такое вижу впервые. Это хуже, чем «дыродел»...

— Какой «дыродел»? — насторожился командир полка.— Что — «дыродел»?

— Ефрейтор Голощапов из второго взвода изготовил «дыродел» к стрельбам, товарищ полковник! Я пытался разобраться с этим делом, но старший лейтенант изъял «дыродел» у Голощапова и даже не разрешает мне наказать ефрейтора. Я подал об этом письменный рапорт командиру роты.

— Что у вас в роте творится! — прорычал командир.— Безобразие! А вы, старший лейтенант, вместо того, чтобы наводить порядок в подразделении, позорите звание офицера, а на собраниях упражняетесь в критическом красноречии!

— Товарищ полковник, разрешите объяснить...

— Не разрешаю! — заревел командир полка.— Картошку лично вернуть назад в колхоз. Сейчас же, немедленно! После этого отправляйтесь на гарнизонную гауптвахту. Объявляю вам за воровство картошки арест!

Вот так быстро и по-глупому превратился я из старого принципиального взводного командира в беспринципного болтуна и мелкого воришку. Заткнул мне рот старшина Шипов двумя ящиками колхозной картошки. На собраниях офицерских никогда больше не выступал. Все казалось мне: начну говорить, критиковать недостатки, а кто-нибудь в ответ — помолчал бы ты, ворюга! И что тут возразишь?

Пока сидел я на гауптвахте, досталось от старшины Шипова и ефрейтору Голощапову. В увольнение не ходил, все личное время проводил в казарменном туалете — толчки драил.

Когда вернулся я с гауптвахты, прилипло ко мне прозвище — Дыродел. Похоже, что с легкой руки ефрейтора Голощапова. Так и ходил Дыроделом под усмешливые взгляды старшины Шипова до тех пор, пока в другую часть служить не перевели.

Глеб
СЕМЕНОВ
(1918—1982)

Друзья

Столкнемся у булочной под вечер —
соседи, и даже друзья.
И каждый — без мысли, что сподличал,—
спрячет свои глаза.

Не спрашивать, в самом-то деле,
как, дорогой, живешь? —
Быть может, не на неделе,
завтра умрешь!

А то еще вопль о хлебе!..
...губы искривлены...
...стены шатаются...
...в небе
осколок луны...

Уж лучше молчанье потное...
Боже, людей храни:
не выпускай нас по двое
из булочной в эти дни!

1942

Бессмертие

Смерти нет в сорок первом году!
Может, завтра и я на ходу
упаду —
не дойду
до того поворота.
Пропадающий хлеб мой имея в виду
(с чем сравнима такая забота!),
вынет теплые карточки кто-то,
не взглянув на меня свысока.
Будет липкой от пота
рука
добряка.
И медаль через годы,
светла и легка,
усмехнется с его пиджака!

1942

◆◆◆

По одному приходят, по двое.
Деревню крутит самогон.
Дворняги взлаивают, подлые,—
их вразумляют сапогом.
Кто без ноги, а кто с контузией,—
отвоеваться бы, кажись!
А уж кого-то отволтузили,
поговорив сперва за жисть.

То председательшу по матери,
то нам харкотина вослед,—
Не то, чтоб злости не истратили,
но что за шум, коль драки нет!

Кто спит с женой, а кто с невесткою —
эк без братана извелась!..
...А ну ругнись-ка на советскую,
на кровью политую власть!

1944

◆◆◆

Живем на колесах
и в комнатах едем.
Оставим свой посох
великим наследьем!
Разлука разлукой
и встреча как встреча.
Какой-нибудь угол —
мечта человечья.

Вторжением гуда:
— Откуда? — Оттуда...—
Страна кочевая
навылет продута —
безруким жаргоном,
безногим акцентом...
Бездомнейший гомон
аккомпанементом!

Вдовство и сиротство...
Родство и юродство...
Похлебки не стоит
твое первородство!
И как на салюте,
на гульбище века:
все люди и люди —
и нет человека...

1946

◆◆◆

...И заняли город снега.
Воздушным десантом, с налета,
вломились, и вся недолга:
в свои продувные тенета
нас походя ловит пурга.

Воззванья по городу сплошь
расклеила власть снеговая.
Гляди не гляди, не поймешь,
какой это номер трамвая,—
любой в эту пору хорош!

Нет, правда, пешком не ходи,
все может случиться, дружище:
ты думаешь, тень впереди,
а это кривляется нищий
с осколком медали в груди...

1947

Песни

На баррикадах — *Марсельезу,*
в гнилых острогах — *Варшавянку,*
влача кандальное железо —
Интернационал...
И вот — попав, как сельди в бочку,—
они понюхали Лубянку,
где навсегда поставил точку
тем песням трибунал.

А нас кормили вместо мяса —
У самовара моей Машей,
болел живот от перепляса
Катюш, Андрюш, Марфуш.
Навеки *Ярость благородна-
я* застряла в глотке нашей,
и до сих пор скрипят поротно
протезы наших душ.

Живем под *Марш энтузиастов,*
сдвигаем *Ленинские горы,*
стыдимся мальчиков вихрастых,
ведь им не объяснишь!
И то сказать, подходит старость,
Хана, как говорится, скоро,
а что от *козлика осталось? —*
Один *шумел камыш!*

1956

◆◆◆

Круглый год не до сна им,—
чешутся ноги.
Что мы, русские, знаем
кроме дороги?
Запах гари и пыли,
даль все туманней,
кем бы русские были
без расставаний?!
Невозвратным прохожим
быть — не потеря.
Мы ведь, русские, можем —
верить не веря...

1956

◆◆◆

Сделайте мне операцию,
вырежьте память!
Пусть на костыль опираться
буду...
в пивной горлопанить
буду...
чужими губами
девку мусолить...
и в бане
парить культяпку души...
Только и света на свете —
дети!
Господи, как хороши!

1960

◆◆◆

Глухо у нас во дворе в декабре.
Целая вечность еще до развязки.
А в коридоре, в мышиной дыре,
споры и ссоры, песни и пляски.

Так и живу себе, так и молчу.
И на прогулке
может похлопать меня по плечу
каждый фонарь в переулке.—
Мол, разлюбезное дело — не спать!
Челюсти сводит: заснуть бы...
И до рассвета вникаю опять
в чьи-то хвостатые судьбы!

Там свои шлюхи, свои дураки,
даже мыслители, даже евреи...
Так и живу себе... И — ни строки! —
Этак хитрее!

Сердце сбивается — не беда...
На то и сердце, чтобы сбиваться!..
Самое страшное,
это когда
стихи начинают сбываться!

1960

◆◆◆

В мире пахнет паленым,
в мире жгут Человека.
Не возиться ж мильонам
с единицами века!

До того ли, голубчик,
в наше подлое время?
Даже лучше без лучших:
все равны перед всеми!

Ну, а правы ли, нет ли —
это старая песня.
Крутит мертвые петли
самолет в поднебесье.

Сквернословит планета,
отражаясь в бутылке.
Холодок пистолета
у нее на затылке.

1965

Вы горите, вы за все в ответе,
даже за чужую срамоту.

Даже за кривую душу рабью,—
дальняя, а все ж таки родня.
Разрастайся зарево над хлябью,
правда только чище от огни!

Красная площадь

(август 1968)

Свято место пусто не бывает.
Лобное — тем более в чести.
Русская земля не забывает
на костер достойных возвести.

От стыда денница кумачова...
Спасу нет от галочья опять...
Кавово-то в чине Пугачева
вам на Красной площади пылать?

На главнейшей площади России,
посредине родины своей!
А кругом — как лезвия, косые
взгляды из урочищ и степей.

А кругом — Емельки злые дети
с ярыми охулками во рту...

Успение

Крестный ход. Успенье лета.
Купола светлым светлы.
Но взглянул — и меньше света,
но вздохнул — и больше мглы.

Стужей близкого покоя
веет за версту вода.
Невзначай махнул рукою —
как простился навсегда

с этой пожней, с этой пашней,
с колокольным этим днем,
с красотой позавчерашней,
с вороньем —
все бесшабашней
празднующим вороньем.

1970

Михаил
ВЕЛЛЕР

УЗКОКОЛЕЙКА

Рассказ

Литвиненко раньше был начальником колонии. Леспромхозом же директорствовал Иван Иванович Шталь. Он не всегда был Иваном Ивановичем. Он до сорок первого года именовался Иоганном Иоганновичем и был председателем колхоза в Республике немцев Поволжья. А потом всем, так сказать, колхозом очутились в Коми. Валили лес для государства и растили картошку для себя — ничего, жили.

В пятьдесят шестом году сняли колючую проволоку вокруг бараков, увезли на самолетах охрану, и леспромхоз полностью перешел на свободную рабсилу. Многие, надо сказать, так на месте и остались: ехать некуда. Обзавелись семьями, получили зарплату, хозяйство развели — опять же ничего, жили.

Но, естественно, производительность труда несколько упала, а себестоимость леса несколько выросла. И организация ухудшилась, поскольку руководить людьми стало не в пример труднее: как средства наказания, так и возможности поощрения свелись к минимуму. Что называется, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Чем ты можешь напугать человека, который и так валит лес в приполярной тайге?..

Областное начальство получило втык из Москвы, устроило разнос районному, местная власть прибыла на Ли-2 в леспромхоз и, оценив на месте обстановку, приняла простое и мудрое решение: Иоганна Иоганновича восстановили в партии и дали задание: вывести леспромхоз из прорыва.

И Иоганн Иоганнович с немецкой деловитостью навел порядок. Он отправил толкача в Мурманск — проталкивать продовольствие Севморпутем, ибо завозили всё в короткую северную навигацию, а также в Сыктывкар — вышибать из местных Минфина и Минлеспрома максимум денег в заработный фонд, ну и перехватывать вовремя технику и ГСМ. И дело понемногу пошло.

Но затем в шестидесятые годы заработки стали урезать. Если раньше за каждый заработанный сверх наряд-задания рубль платили еще рубль премии, то теперь — шиш. План рос из года в год, чего нельзя было сказать о доходах. В результате выработка стала уменьшаться обратно пропорционально росту плана. А Иван Иванович начал с криками просыпаться по ночам, мучимый кошмарами о ревизиях, вскрывающих приписки.

Через десять лет такой жизни Иван Иванович, награжденный к тому времени орденом Дружбы народов, отчаявшись уволиться добром, полетел в Сыктывкар и лег на обследование. Мужик он был жилистый, выносливый, водкой не злоупотреблял, но подобная биография редко способствует укреплению природного здоровья: Иван Иванович получил неопровержимую справку, которая гласила о противопоказанности его изношенному организму местного неласкового климата, и отбыл па материк, на Запад, в Эстонию.

— Куплю хутор, заведу корову,— мечтательно сказал он.— Сил моих больше нет. Посадят. А за что? С меня хватит.

Надо сказать, что уговаривали Ивана Ивановича остаться не только начальство, но и работяги. Народ имел некоторое представление о том, что делается в соседних леспромхозах, и Ивана Ивановича любил. Знали, что справедлив, за грех не спустит, но заработать всегда даст и лишнего не потребует. Так что на про́водах речи произносились вполне искренние, и даже лились слезы,— правда, и выпито было соответствующе.

Несколько месяцев все шло вкривь и вкось под управлением бесхарактерного главного инженера, а потом прислали им Литвиненко.

Литвиненко прилетел со всем семейством, одетый, разумеется, в гражданское. В этих краях его прошлая карьера популярности не способствовала. Разумеется, и так все вскоре оказалось известно. Но это ничего, это бывает, мало ли чем человека могут поставить руководить. Однако добра большого не ждали, и в этом ожидании, как обычно случается, оказались правы.

Литвиненко очутился, следует признаться, в положении незавидном: сверху давит начальство, а снизу не хотят давиться подчиненные. Что называется, между молотом и наковальней. Но поскольку молот шарахает по наковальне, а не наоборот, то с ним в первую очередь и приходится считаться.

Литвиненко осмотрелся и начал действовать. Собрал собрание и произнес речь, призывая трудящихся поднатужиться, усилить, выполнить, оправдать и добиться, дабы достичь сияющих вершин. В ответ были брошены явно провокационные вопросы о заработках, продуктах, жилье, детсаде и прочем, что хотели урвать несознательные работяги от разваливающегося леспромхоза.

— Как поработаете, товарищи, так будете жить.

— Мало вламываем, что ли?

— Чтоб он так жил, как мы работаем,— прозвучало анонимное пожелание из зала.

Литвиненко, как человек прямой и в чем-то даже военный в прошлом, стал честно выполнять обещанное. В чем не преуспел.

Он попросил временно снизить план, в ответ на что ему было указано на политическую несознательность и непонимание государственных интересов.

Попросил увеличить премиальный фонд, на что было сказано, что его задача — повышать рентабельность хозяйства, а не понижать.

Попросил увеличить фонды на соцнужды, на что ответили, что рады бы, но помочь пока не в силах, есть узаконенные нормы...

Также не было новой техники, запчастей к старой, культтоваров, солярки и барж в навигацию.

— А как же выполнять распоряжение? — с офицерскими субординационными нотками вопросил он.

— Улучшать организацию труда,— командным тоном дало начальство ответ в высшей степени туманный.— Крепить трудовую дисциплину! Изыскивать внутренние резервы.

Литвиненко хотел возразить, что на прежней работе изыскание внутренних резервов было делом ясным, а на нынешней как? Но, во-первых, был приучен всей прошлой жизнью начальству не возражать, а во-вторых, убоялся, что такой вопрос могут счесть желанием вернуться к старым и осужденным как ошибочные методам управления.

Прилетев домой мрачнее тучи, Литвиненко скомандовал жене подать закуски и, следуя старому русскому правилу поисков выхода из трудного положения, нарезался со страшной силой. Мужик он был массивный, крепкий, и выход осенил его к концу третьей бутылки.

От бутылок этих, стоимостью в те времена три рубля шестьдесят две копейки или же четыре двенадцать, плюс северная наценка, деятельность леспромхоза зависела весьма сильно. Впрямую зависела, можно сказать.

Усть-Куломский леспромхоз состоял из трех поселков: собственно Усть-Кулома, Машковой Поляны и Белоборска. Такое расчленение имело свои выгоды и недостатки.

К выгодам относилось то, что финорганам для выплаты всем работникам зарплаты хватало одной шестой от общей номинальной суммы: одними и теми же дензнаками дважды в месяц платили в три очереди. Чтоб было яснее: выдавался аванс в Усть-Куломе, толпа суток волновалась у кассы, и затем два-три дня никто не работал: деньги бесперебойно перетекали в сейф магазина, а оттуда — в отделение банка, расположенное через дорогу. Когда практически вся выплаченная сумма возвращалась в банк — в основном через магазин, частично через сберкассу, занимавшую половинку того же дома,— деньги запаковывали в мешок и отправляли в «газике» с охранником в Белоборск, где повторялся аналогичный цикл. А Усть-Кулом тем временем приходил в себя, отпивался рассолом и чаем и выезжал в лес на работу. За месяц деньги должны были обернуться шесть раз, поэтому иногда случались задержки: в Машковой Поляне уже волнуется очередь у кассы, а в Белоборске еще не рассосалась очередь в магазин, и молоденький завотделением банка орет па завмага, чтоб давала подмогу в винный отдел.

Некоторые купюры стали жителям старыми знакомцами, поскольку бумага на деньги идет качественная и служит долго. Егор Карманов, машинист мотовоза, как-то из интереса специально пометил крестиком новенький червонец, и с тех пор дважды в месяц кто-нибудь кричал:

— Егор, а вот и твой крестник! Меняемси на двадцатку! — И все смеялись.

Однажды случилась катастрофа: баржу с водкой не то затерло льдами по случаю ранней остановки навигации, не то случился сбой в работе порта, но только водку на сезон не завезли. В результате усть-куломцы не истратили своих денег, и белоборцы остались без зарплаты. Зубчатое колесо товарно-денежного оборота замерло. Пустили яд слухи. Народ лупил кулаками по стенке кассы. Бледный банкир спецрейсом вылетел в Сыктывкар за деньгами, ибо в ответ на отчаянные радиотелефонограммы было много советов, но совсем не было денег. Он вымолил все-таки денег, которых хватило на треть желающих, но за настырность и неумение выкрутиться получил выговор. Когда обстановка накалилась до угрожающего предела, министерство нажало на рычаги: из Красноярска пришел Ил-18 с водкой, которую Ли-2 доставил до мест. Прошедшая неделя стоила Литвиненко сердечного приступа, нескольких седых волос и партийного выговора. В справедливости выговора он, не приученный сомневаться, не сомневался, но было ему тошно.

Это о выгодах. Что же касается недостатков, то к ним относились неритмичность работы (верней, ритмичность-то как раз была, но уж больно горестная) и регулярные простои техники. В то время как в двух местах ее не хватало, в третьем она стояла, а не хватало к ней рабочих рук; и так — по кругу. Поначалу Литвиненко пробовал самолично ходить утром по домам, дубасил в двери и окна, чуть не на себе доволакивал людей до рабочего поезда: пока два часа будут ехать до лесных кварталóв — протрезвеют,— но тут же одному вальщику отчекрыжило «Дружбой» ногу, сучкоруб шмякнул топором себе по голени, кого-то хлопнуло верхушкой упавшего дерева, мотовоз четырежды за день забурился с рельс в насыпь, шесть платформ-«половинок» с хлыстами вывалились под откос... (К осени такие хлысты, уже высохшие, пилят на чурки и везут домой на дрова: чем пригонять кран и доставать их, раскатившиеся, останавливая на полдня вывоз леса по магистрали,— проще свалить и погрузить новые.) Партбюро строго указало Литвиненко на нарушение техники безопасности и возросший травматизм, хотя нет у нас леспромхоза, где не ковыляло бы несколько инвалидов, по пьяному делу вступивших некогда в соприкосновение с бензо- или, хуже того, электропилой.

И вот Литвиненко придумал гениальный способ, как минусы превратить в плюсы, чтоб недостатки стали достоинствами.

Сообщались между собой три поселка отвратительно. То есть дороги как таковые имелись: по зимнику преодолевались часа за полтора, а в теплое время — уж как бог положит и кривая вывезет. «Газик» на двух ведущих мостах плыл, как яхта в шторм, а «Урал» жрал горючего столько, что в обрез хватало мотовозам. Но если Машкова Поляна ютилась на отшибе, то Белоборск был расположен иначе: хоть и далеко, и за речушкой, зато если мерить от него напрямик к основной усть-куломской железной дороге — «магистрали»,— то по карте выходило всего восемь километров, и как раз до разъезда «39-й км». А лес сейчас брался в кварталáх именно от разъезда и до шестидесятого километра. Итак, если б возить белоборцев прямиком через непролазную тайгу в усть-куломские квартала, они тратили бы на дорогу времени меньше даже, чем сами усть-куломцы: час вместо двух. (А то в половине седьмого утра скрипеть по снегу в леденящей мгле на рабочий поезд, и в половине седьмого вечера во тьме же возвращаться домой — это для привыкших нормально, а редких приезжих бросает в оторопь:

— Зачем вы здесь живете-то? С такой работой — в лесу, по грудь в снегу?

— А чего? Ничо. Надбавки. Пенсия максимальная. В вагончиках мужик приставлен, печки нажарит: тепло!.. Едем, в карты играем, разговариваем.)

Время стояло летнее, до конца года далеко, подбивать бабки выполнению плана нескоро... И Литвиненко вышел на связь с райкомом:

— Я решил сманеврировать средствами,— доложил четко.

— Это как? — настороженно осведомились сквозь треск помех.

— И людскими ресурсами!

— Какими?

— Мы можем в год перемонтировать четырнадцать километров «усов», так?

(Усы — это боковые ветки, идущие от магистрали по кварталам. Когда квартал выработан, рельсы снимают и кладут в новое место,— кругляк под шпалы, конечно, бросают, там нарезают новый.)

— Ну,— изрекло начальство после раздумья.

— Ветку в Белоборск! — полыхнул гордостью Литвиненко.— Возить народ туда-сюда, на случай простоев, и вообще... Экономия оплачиваемого времени на дорогу — раз; экономия топлива — два; повышение коэффициента использования техники — три; благоустройство сообщения — четыре.

В райкоме посовещались, поразмышляли, обсудили вопрос.

— А за сколько построишь?

— Брошу две бригады дорожников, выделю технику — за три месяца управимся. На это время леса в теперешних выработках хватит.

— Молодец, Литвиненко! — грянул голос.— Вот видишь — всегда есть внутренние резервы, если поискать!

Идея была санкционирована и обрела очертания приказа. Литвиненко загорелся.

Переходящее знамя мерещилось ему, оркестровый туш, первое место в соцсоревновании, повышение, орден, перевод в Москву... мало ли чего может померещиться в тайге похмельному человеку, особенно если на него давит начальство.

На планерке он довел до руководящего заена леспромхоза свой план. Гениальность плана подчиненные не разглядели — как и полагается подчиненным, когда начальник намного умнее. Литвиненко ощутил себя Наполеоном, вынужденным выигрывать Аустерлиц со сплошными бездарностями. «Будущее мне воздаст»,— подумал он, и в этом, наверное, был прав.

— Шталь на такой план не пошел,— промямлил начальник сплавного пункта. Литвиненко стало неприятно, что подобный план кому-то уже приходил в голову.

— Не видел твой Шталь дальше своего носа! — гаркнул он.

Ему поддакнул бригадир дорожников Прокопенюк. Хитрый Прокопенюк отлично понял, к чему клонится дело.

— Короче — план одобрен и согласован,— известил Литвиненко.— Учетчикам вальщиков — доложить объем невыбранного леса по кварталам!

Леса определенно должно было хватить.

— Так. Объект ударный, поставим лучшую бригаду. Материальное обеспечение — в первую очередь ей. Какие поступят предложения?

Прокопенюк поймал его взгляд и слегка кивнул, как чему-то само собой разумеющемуся:

— Мои хлопцы не подведут.

— Отлично! — громыхнул Литвиненко.

Развернул карту, полководческим жестом бросил на нее циркуль и линейку:

— За сколько справишься?

— Так если мне еще молдаван дадите, которые у нас по договору...— начал торг бригадир. (Молдаване работали здесь за лес, который в оплату их работы поставлялся в родной молдааский колхоз, где по части леса росли преимущественно заборы и виноград.)

Литвиненко в сопровождении Прокопенюка и главного инженера сел в прицепленный к мотовозу вагончик (ездить в кабине, как все делали, он полагал не по чину) и отбыл на рекогносцировку.

— Еле тянется,— цедил, супя мохнатые брови.

— Иначе забурится,— ласково пел Прокопенюк.

— Узкоколейка, чего с нее взять,— кашлял инженер.

Припилили за полтора часа. Литвиненко поместил на ладонь компас, командирским движением задал направление. Углубились в лес. Прокопенюк взятым у машиниста топором делал затески — метил трассу.

— Вот в таком духе,— сказал Литвиненко, отмахиваясь от зудящей тучи комарья и застревая в буреломе.— А это что?..

Лишь сейчас заметил он, что они стоят как бы на заброшенной, заросшей наглухо тропе, угадывающейся узким проемом в уходящих вдаль вершинах. На стволах желтели давние, заплывшие смолой и натеками коры затесы.

— А это здесь лет пятнадцать, говорят, назад, геодезисты из Москвы трассу метили.— Инженер зло пришлепнул овода.

— Зачем?

— А в Белоборск же.

Литвиненко посопел.

— И что ж? Бросили?

— А денег не было,— объяснил Прокопенюк.

— Денег,— хмыкнул Литвиненко.— Надо понимать, когда жалеть, а когда тратить!

— Вот это точно,— согласился Прокопенюк.

Уложив в голове старую геотрассу как козырь в поддержку своего плана, Литвиненко счел рекогносцировку законченной:

— Поехали! Прикинем смету...

Смету прикидывали сутки, взяв за жабры плановиков и бухгалтерию. Те только покряхтывали.

— И мотовоз с платформой в личное мое распоряжение,— загибал пальцы Прокопенюк.

Диспетчер встал на дыбы, но был осажен.

— И чокеровщик.

— Получишь.

— В вальщики Сысоева мне дашь,— незаметно он перешел с начальством на «ты». Литвиненко поморщился, смолчал,— не время портить отношения, пусть заведется на работу.

— Аккорд — сорок процентов, и пусковые.

— Само собой.

— Пусковых — двадцать процентов. И премию.— На глазах всего народа Прокопенюк сосал кровь из начальства.

— Сделаешь в срок — будет премия.

— В размере квартальной,— вконец обнаглел Прокопенюк.— За ударный труд на особо важном объекте.

Бухгалтер вытер плешь концом старого шелкового галстука. Потом им же протер очки.

— А не треснешь? — полюбопытствовал он.

— Не тресну,— заверил Прокопенюк.— Лишь бы ты не треснул. И бригаду разборщиков — под мое начало. И лапы им сварить новые, не из тех ломов, что гнутся, а закаленных, сам отберу.

Начальник мастерских пожал плечами.

— Все? — спросил Литвиненко.— Но смотри: чтоб завтра в девять приступили!

— Есть! — молодцевато подыграл Прокопенюк. И отправился по домам — переговорить с машинистом, помощником, аальщиком и трактористом. Организовать дело он умел, этого у него не отнимешь.

И — работа закипела! Именно так и подумал назавтра Литвиненко: «Работа закипела!» — лично глядя, как рушатся сосны и кедры, как сверкают топоры сучкорубов, с ревом ворочается, оттаскивая стволы, трелевщик, с визгом врезается в них бензопила, разделяя на двухметровые свежие кругляши, ложащиеся в линию шпал будущей дороги.

В Белоборске заняли позицию выжидательную. Горячие умы прикидывали новый маршрут до усть-куломского магазина. Дебатировался вопрос о разделе заработков. Сомневались насчет постройки моста: пусть речушка плевая, вброд переходили, однако — инженерия!..

Каждый вечер в половине седьмого Прокопенюк являлся к директору докладывать о ходе работ. Половицы победно скрипели под его кирзачами, брезентовая куртка вкусно пахла скипидаром и хвоей, взгляд из-под кепочки являл достоинство. Ребятки выказывали рвение, крутая нахота не сгибала: дорога рвалась вперед полным ходом.

К первому июля он доложил:

— Два километра девятьсот — как одна копеечка!

— Спасибо за работу! — ответил Литвиненко и стиснул ему руку.

Первое августа:

— Есть пять семьсот!

— Спасибо за работу!..

— Спасиба в стакан не нальешь,— хмуровато сказал Прокопенюк.

Зашедший за подписями бухгалтер в негодовании потряс кулачками. Жора, молодой бригадир молдаван, одобрительно хрюкнул.

— Тебе что — мало? — угрожающе протянул Литвиненко.— Твои бездельники в этом месяце по...

— ...шестьсот двадцать,— услужливо подсказал бухгалтер.

— А вламывали как?

Усть-Кулом постепенно разделился на два лагеря: команда Прокопенюка — и все остальные. Прокопенюковцы получали шестьсот — семьсот на круг. Им продавали в неделю по две банки тушенки и сгущенки, хотя полагались они всем работающим в лесу, а также индийский чай, который на прилавок не выставлялся и шел как бы через спецраспределение. В день получки по личному распоряжению директора им отпустили в специальной кладовке орсовского склада по бутылке коньяка, который в магазине отродясь не стоял: исключительно водка и красное.

Обделенный же лагерь нарек эту рабочую гвардию рабочей аристократией и в свою очередь расслоился на две неравные части: первая, составлявшая подавляющее большинство, завидовала завистью обычной, то есть черной, и ратовала привести прокопенюковцев к общему знаменателю и даже репрессировать за рвачество; вторая же, меньшая часть завидовала завистью белой, то есть строила козни, как бы самим проникнуть в привилегированный круг, и при этом условии была согласна примириться с создавшимся положением. Продавщицы вели с Прокопенюком взаимовыгодные переговоры об устройстве своих мужей. Смазчик Пронькин, известный алкаш, после аванса гонялся за Прокопенюком с цепью от пилы, требуя восстановить равноправие.

А из райкома регулярно запрашивали с доброжелательной требовательностью:

— Как осваивается фронт работ?

— Согласно графика! — кричал Литвиненко, прижав для лучшей слышимости руку рупором к трубке.— С превышением нормативов!

— Ты подсчитал, на сколько процентов повысится использование техники?

— На одиннадцать и семь десятых! — бухал он без боязни: контора подгонит нужный результат.

— Так это же прекрасно! — ликовала трубка.— А производительность труда?
— Экономисты мои обсчитывают,— врал Литвиненко.
— Прикидочную цифру можешь назвать? Нам надо включить в отчет.
— Шесть процентов,— придумала экономистка правдоподобную цифру.
— Семь с половиной процентов,— передал Литвиненко.
— Молодец, Литвиненко!

В кабинете между портретом и сейфом Литвиненко повесил крупномасштабную карту района и каждый вечер скрупулезно отмечал красным карандашом пройденный отрезок на идеальной прямой, соединявшей 39-й километр с Белоборском. К сентябрю красная стрела подползала к голубой ниточке реки, что соответствовало на местности расстоянию в семь километров семьсот метров. (Конечно, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить, могло оказаться там и больше восьми километров, кто в тайге эти километры мерил, могли и в сторону метров на пятьсот уйти — и это не смертельно, там скруглим, дело обычное, не транссибирскую магистраль строим, рабочую узкоколейку.)

Он весело хлопнул Прокопенюка по литому круглому плечу:
— Ну как, бисова душа, реку-то уже видно?
— Куда ж она денется,— ровно ответил Прокопенюк.— Мы свое сделаем, не подведем.
— Завтра вас навещу!
— Милости просим...

Плавно ответвляясь от насыпи, железнодорожная колея с радующей глаз прямизной рассекала тайгу. Посверкивающие рельсы были намертво пришиты к оранжевым кружкам шпал, еще не успевших потускнеть. В конце пути безостановочно продолжалась отрадная деятельность: деревья валились, трелевщик урчал, топоры тюкали, вперестук гнали эхо молоты костыльщиков, с одного маха вгоняющих четырехгранные костыли в податливую сосновую древесину.

— Прокопенюк свои гро́ши отрабатывает,— с мрачноватой горделивостью предъявил картину Прокопенюк.
— Сколько уже сделали?
— Семь километров и восемьсот двадцать метров. Сегодня уже девятнадцать звён уложили, это сто четырнадцать метров. (Он не врал: столько показал и спидометр мотовоза.)
— Так...— молвил Литвиненко, сурово вглядываясь в перспективу.— К реке вышли?
— Все по плану,— пожал плечами Прокопенюк.
— Так вышли?
— Да куда ж она денется.
— Вышли или нет?! Сколько осталось?
— Ну, может, самая ерунда осталась...
— Сколько?!
— Да что я, речник,— грубовато сказал Прокопенюк.

Литвиненко достал компас, линейку, циркуль, расстелил на траве карту. Проверил.
— Должны уже выйти,— скрывая растерянность, произнес он.
— Должны — значит, выйдем,— успокоил Прокопенюк.
— Все будет в ажуре,— заверил богатырь Жора, бригадир молдаван, скаля белейшие зубы с зажатой в них беломориной.
— А ну пошли, посмотрим,— решил Литвиненко.
— Рабочий день кончился,— сказал Прокопенюк.— И так уж задержались, вон темнеет уже.
— Ничего!

Но в чаще темнело быстро, люди за спиной недовольно медлили, Литвиненко както сразу устал, выдохся, и машинист все время подавал гудки, нервировал (торопился домой, к хозяйству). Действительно, подумал Литвиненко, а вдруг тут не пятьдесят метров, а пятьсот, на ночь глядя лезть в лес, и правда, без толку, и промерить расстояние точно надо будет.
— Но завтра — обязательно!
— Само собой.

Но назавтра его срочно вызвали на совещание в район, по срывам подготовки к итогам третьего квартала и окончанию сплавного сезона, вернулся он только через два дня, сплавщики как обычно не справлялись, и весь день он проторчал на сплаве, а потом был день получки, потом суббота, так и затянулось.

Из райкома теребили:
— Сообщите процент выполнения плана по железнодорожному строительству!
— Сто двадцать два процента! — орал Литвиненко.
— Сколько погонных километров?

— Семь девятьсот!
— К реке вышли?
— Так точно!
— А мост?
— Мостовая бригада сформирована. Инженер произвел расчеты. Поставим в кратчайшие сроки!
— Не подкачай! — вибрировала мембрана в трубке.

В среду Прокопенюк вернулся из лесу в час дня. Шагая весомо и мерно, с непроницаемым лицом, он стукнул в директорский кабинет, сел, снял кепку и пробасил:
— Ну вот, значит. Я свое слово сдержал.
— Готово?! — радостно вскинулся Литвиненко. Обнял, стиснул: — Молодец, бисова твоя душа! Ну, поехали — покажешь!

Вагончика под рукой не было, встали по-простому в кабину.
— До берега дошли?
— Все, как обещали,— повторил Прокопенюк.

Точно на стрелке Литвиненко списал для верности цифры со спидометра. Напряженно вглядывался в размытую расстоянием табачно-зеленую даль, куда летело синее двойное лезвие рельсов. Прокопенюк молча курил, сев на корточки в углу под окошечком.

Через пятнадцать минут Литвиненко начал бледнеть. Но он молчал, надеясь убедиться, что видимое ему только кажется, что на самом деле все так, как должно быть.

— Приехали,— сказал машинист Егор Карманов, сдвигая ручку газа и глуша дизель.

Литвиненко стоял каменно, как памятник самому себе. У рта Прокопенюка струйка дыма застыла в воздухе, прекратив свое движение. Было слышно, как высморкался рабочий, сидевший на последнем звене уложенных рельсов.

Дорога упиралась в тайгу.

— Ты что, охренел? — заревел Литвиненко, хватая Прокопенюка за шиворот и пытаясь приподнять и потрясти. Прокопенюк не сдвигался, словно из чугуна его отлили.
— Восемь километров, как одна копеечка,— чугунным голосом прогудел он.

Литвиненко оторопело сверил запись со спидометром.
— Восемь ровно,— подтвердил Егор, улыбаясь доброй улыбкой человека, не причастного ни к чему плохому.

Литвиненко спрыгнул на спиленный заподлицо пень. Работяги встали. Выражение его лица было таково, что побросали окурки и даже как бы подтянулись по стойке «смирно»,— слегка оробели.
— Су-у-у-ки!! — завопил Литвиненко.— Га-а-ды!! Вы куда же дорогу построили, падлы?!
— Так это... мы что...— пробормотал Жора.— Куда было указано. А мы работали на совесть, смотрите сами...
— Дорога хорошая...
— Отрихтовали до сантиметра, хоть у машиниста спросите...
— Ни одного костыля не пропустили, проверьте сами.
— Шпалы все, как по линеечке... подбирали даже специально...

Литвиненко, одурев от абсурдности ситуации, в отчаянии и ярости топал ногами:
— Линеечки!! в глотку тебе линеечку!! чтоб голова не болталась!!! Белоборск где?!
— А где ж ему быть,— рассудительно отозвался из кабины Прокопенюк.— Стоит себе, где стоял.
— А мы где?! — надсаживался Литвиненко, топая, как бы показывая этим топом место, где они находятся.
— А это дело не мое,— здраво отрекся Прокопенюк.— Линию вы проложили сами, дистанцию задали сами, мы выполнили. Проверяйте сами.
— Проверю,— скрежетнул Литвиненко,— я тебя так проверю, что мама родная не узнает, тебя еще так проверят — жить будешь, а бабу не захочешь, вредитель.
— А вы мне ярлыки не вешайте,— с достоинством сказал Прокопенюк.— Я вам не зэка, и жаргончик бросьте. Вон у меня бригада свидетелей. Давайте — вызываем комиссию! Пусть проверяют. Еще поглядим, кого из нас и где проверят... проверяльщик.

Багряный туман пал на Литвиненко, и телеграфным звоном зазвенела в нем невидимая струна... Очнулся он от ощущения холодной воды на лице. Он лежал на брезенте, над ним хлопотали.
— Ничего,— нежно сказал Жора.— Ничего, вы не волнуйтесь. Мы в крайнем случае дальше ее протянем.

Литвиненко встал (его поддержали), схватил компас и с треском, как кабан, вломился в заросли. За ним последовали гуськом.

— Егор, ты в кабине останься,— велел машинисту предусмотрительный Прокопенюк.— Каждые пять минут подавай гудок. А то — тайга, как природный коми, сам понимаешь.

Через полчаса Литвиненко взялся за сердце, размазал с потом комаров и опустился на сырой мох. Гудок глухо доносился издали.

— Лезь на сосну! — ткнул пальцем в Жору.— Не на эту! Вот на ту лезь, она выше и на отшибе стоит.

— То кедр,— сказал Прокопенюк.

— Я не умею,— конфузливо сказал Жора.— У нас лесов нет... откуда научиться...

Полез рябой парнишка: снял солдатский ремень, охлестнул вокруг ствола и двинулся, упираясь ребрами сапог.

— Дальше лезть? — прокричал он с вершины, полускрытый ветвями.— Тонко уже здесь!

— Реку видишь?

— Нет!

— Лезь!!

Нет, не было реки.

Выбрались обратно. Литвиненко молча влез в кабину, цыкнул:

— Домой, жив-ва!

Мерил карту, тупо смотрел на пляшущую стрелочку армейского компаса, недоумевал.

— Может, карта неверная? — предположил добрый Егор Карманов.— Или компас барахлит? У нас был вот в армии случай...

— Да заткнись ты со своими случаями!.. Дуй давай.

У конторы впрыгнул в свой «газик» и зловеще приказал:

— В Белоборск! И только встань по дороге — в лесу сгною, завтра же сучки рубить отправишься.

Шофер Сашка Манукян, отбывающий здесь ссылку после срока, униженно ответил: «Слушаюсь, гражданин начальник», и в особо зловредных промоинах даже подстанывал от усердия в тон воющему мотору.

Белоборск, как и предсказывал справедливо Прокопенюк, стоял на месте. Неожиданное появление директора вызвало удивление.

Встали на бережке. Разложив злополучную карту на капоте, Литвиненко упорно пытался понять, где ошибка. Никакой ошибки не было: все сходилось, все было указано правильно — и длина дороги, и направление... вот здесь, в каких-то двадцати метрах, за медленной темной водой, должны сейчас лежать рельсы. А не лежат.

— А ну давай на тот берег.

— Почти по пояс, зальет, что вы...

— Пошли со мной!

— Да вон здесь брод удобный, полста шагов.

Разделись до пояса (снизу, естественно), и, мощно ворочая задом, Литвиненко взбурлил воду.

Выбравшись на осклизлый берег, затрубил:

— Э-ге-гей! Прокопеню-у-ук!

Эхо отозвалось какое-то матерное. Никаких иных звуков не воспоследовало.

— Пошли!

— Куда?

— К дороге.

— Так она где ж?

— Там.

— Так а если в стороне?

— Идем на 39-й километр.

— Я не пойду,— тихо сказал Сашка.

— Почему еще не пойдешь?

— Заблудимся...

Литвиненко поозирался, подумал хоть в ухо ему дать... и повернул назад. На середине передумал:

— Садись в машину и через каждые две минуты — сигналь! Через час не вернусь — привезешь народ на поиски.

Через час вернулся — без успеха, злой — и закручинился...

Самый-то кошмар начался назавтра. Ударная бригада объекта особого назначения в полном составе сидела на бревнах под окнами кабинета, деликатно куря.

— Ну, значит, это...— встал Прокопенюк.

— Почему не на работе?!

— На какой такой работе? У нас аккордный наряд на восемь километров. Сделали. За четыре дня до срока.

Литвиненко сдержал гнев:

— Ты мне дурака не валяй. В лес сейчас же все.

— В лес — это можно,— согласился Прокопенюк.— Всю жизнь в лесу. За этим дело не станет. Но сначала это... объект официально принять надо.

— Да что ж у тебя принимать?!

— Дорога железная узкоколейная, восемь километров рельсы ТИП-22 на круглых шпалах без подъемных работ по просеке,— наукообразно вывалил Прокопенюк.

— Приму, когда дойдете до Белоборска.

— Этого в наряде нет,— возразил Прокопенюк.— В наряде указано — восемь километров. Так что — надо принять.

Литвиненко задумался тяжко. Положение нарисовалось безвыходное.

— Вот что,— пообещал он.— За работу получите сполна. Но сначала надо дойти до Белоборска.

— Так хлопцы работать не будут,— возразил Прокопенюк.

— Отчего же не будут? Им что, не все равно?

— Я в суд подам,— сказал Прокопенюк в ответ.

— Подавай,— усмехнулся Литвиненко. Закон — тайга: кое-какие связи у него еще оставались.

Прокопенюк оценил ухмылку правильно — сманеврировал:

— Тогда я катаю жалобы в райком, министерство и все газеты,— пригрозил бестрепетно.— Комиссии наедут. Слушайте, оно вам надо?

Литвиненко начал наконец осознавать, что из хозяина положения превратился в его раба. Комиссия из райкома будет крахом его планов, его карьеры... всего.

И тут, разумеется, по закону подлости — или закону нагнетания драматических эффектов, если угодно,— зазуммерил радиотелефон-вертушка. Литвиненко махнул Прокопенюку — мол, выйди, но тот уставился в окно, как бы не замечая желания выпроводить его.

— Да! — вытянувшись, кричал Литвиненко.— Да, подходим! Да, обязательно! Конечно!

— Ты смотри,— пищала трубка,— мы тебя в маяки выдвинули. Ты у нас теперь основатель почина, держись на высоте. Поддержим.

Долго горбился над телефоном, сжав виски кулаками.

— Что мне сказать ребятам? — разбил тишину Прокопенюк.— Ребята летом в отпуск не ходили, товарищ директор. А?

— Заплачу́,— решился и рубанул Литвиненко.— Обещаю.

— Так — когда?..

— Сейчас!

— И аккорд?

— И аккорд.

— И пусковые?

— И пусковые.

— Тогда позвоните в бухгалтерию, пусть подпишут наряды-то.

Приемная комиссия в составе самого Литвиненко, главного инженера и старшего экономиста проехала по восьми километрам безукоризненной дороги и уперлась в тупик.

— Дорога в порядке,— твердо приговорил Литвиненко и скрепил бумаги своей подписью. Зыркнул приказующе, опасно.

В бухгалтерии поморщили бровки, посвистали носиками, но формально все было чисто: деньгу на бочку.

Вечером Литвиненко крепко врезал и расхаживал по комнате, борясь с отчаянием.

— Главное — не выметать сор из избы,— повторял зацикленно,— главное — не выметать сор... Если узнают наверху... Нет!! — грохнул кулаком по стене так, что упала фотография в рамке.— Так дойду ж я до Белоборска! Сдохну — дойду!

Он виделся себе сказочным богатырем, окруженным врагами, мелкими и погаными, пытающимися мешать ему в праведном и победном намерении.

«Первое: никакой утечки информации. Дуракам полработы не показывают. Победа все спишет! И не такое делали.

Продолжать работы!!!»

Назавтра он не подписал отпуска двум девочкам из бухгалтерии, трактористу из сплавной конторы и крановщицу.

— Товарищи, сейчас не время. На нас смотрит вся республика. Именно нам доверили проводить ответственный эксперимент по маневрированию рабочими ресурсами, по использованию внутренних резервов. Надо понимать — это особое положение. Сделаем дорогу — отпущу в отпуска всех. Причем бесплатный проезд обеспечу не только тем, кто не летал на материк уже три года, но и всем остальным,— оформим вперед. Даю слово. Это согласовано наверху,— убедительно врал он.

Оплаченный проезд понравился. Отпуска временно не оформлялись.

Точно так же временно прекратились любые командировки.

— Подождешь,— говорил он завгару.— Снимай детали со старых машин. Потерпи — выбью дополнительные фонды. Кончим объект — лично слетаю на завод, получишь все. Обещаю!

Упоминание о личном визите на завод подействовало.

Теперь следовало озаботиться приезжающими сюда. Литвиненко вызвал к себе начальника метеослужбы. Разговор долго кипел за закрытой дверью. Секретарше Любочке удалось разобрать отдельные слова: «Грузооборот!», «Совесть!», «Государственные интересы!» — и еще несколько, повторить которые она отказалась. Метеоролог вывалился перекошенный, пряча в карман записку к завскладом. С этого дня в Усть-Куломе прочно установилась нелетная погода — такой ненастной осени не припоминали даже старики-ветераны местной авиации.

Перекрыв такими мерами каналы возможной утечки информации, Литвиненко отбыл на объект — уже на девятый километр. Его сопровождал электромонтер с кошками и монтажным поясом. На месте Литвиненко облюбовал высочайшую мачтовую сосну, отобрал у монтера причандалы и полез наверх лично.

Наверху шумел ветер. Пахучая смола липла к пиджаку. Пачкаясь, он поднес к глазам бинокль... Черт его знает: зеленое море тайги, будь оно проклято, шумело кругом, высокие соседние кроны закрывали обзор, и ничего было не разглядеть...

— Продолжать работы! — приказал он, спустившись.

На десятом километре бригадир разборщиков доложил:

— Рельсы кончаются... Где брать?

— Снимай со старой ветки. Скоро придет еще баржа с рельсами.

Это он чушь ляпнул, все понимали, что сейчас баржа никакая уже не придет, поздно, пришла бы в июле, заказывается все на год вперед, но промолчали. Тем более что заработки были хорошие.

На одиннадцатом километре Литвиненко с горя задумал обратиться к помощи науки. Призвал в кабинет школьного учителя географии и сторожа мастерских, в прошлом младшего лейтетанта артиллерии, и указкой по карте изложил проблему.

Учитель пришел со своим компасом. Он долго вертел его, устанавливал, потом вертел карту, потом мерил расстояние, потом листал учебник.

— Ну?! — подстегнул Литвиненко.— Чему тебя учили? Сходится по твоей биогра... тьфу, географии?

— Да по науке вроде сходится...— испуганно согласился учитель.

Сторож-артиллерист посоветовал:

— Стадвадцатндвухмиллиметровая гаубица достала бы. Ахнуть раз — и отметиться по разрыву в Белоборске, и все ясно тогда бы.

— Вот ахну тебе раз! — плюнул Литвиненко. И отослал консультантов подальше, озлившись.

Вечером учитель робко постучался к нему домой, он родил спасительную научную идею.

— Однако теодолит нужно,— сказал учитель.

— Где я тебе возьму теодолит?! Нет у нас теодолита!

— Дорогу нельзя без теодолита. Потому и не выходит.

Выяснив, что в дортресте у самих приборов в обрез, Литвиненко предпринял трехдневную речную экспедицию в соседний леспромхоз. Теодолит ему обменяли на пол-ящика водки, списав его у себя по ведомости как пришедший в негодность из-за работы под дождем.

Теодолит торжественно вручили дорожному мастеру Левину, безгласному и безвредному соглашателю, и немедля отправили в лес — готовить научные объяснения к приезду начальства. Левин укатил на дрезине, бережно обняв драгоценный прибор, каковой при высадке и расколол необъяснимым образом вдребезги о рельсы.

Пред расстрельными очами Литвиненко он дрожал волнистой мелкою дрожью, как жалимый слепнем лошак, и лепетал о стрессе, азимуте и недостатке практики после института.

— Под суд пойдешь! — с бешеным наслаждением определил Литвиненко.— Мастер-ломастер... вредитель! Прибор уничтожил? Дорогу завел неизвестно куда? А диплом имеешь! Вот за все и ответишь — по полной строгости!

Назначив Левину роль громоотвода, Литвиненко слегка воспрял духом: найти виновного — решить полпроблемы.

Ночью Левин сбежал, не дожидаясь дальнейшего развития событий. Расследование установило, что он захватил чемодан с вещами и воспользовался одной из лодок на берегу. Настичь дезертира не удалось: видимо, он плыл в темноте, а днем прятался в зарослях. По слухам, Левин сплыл аж до Мезени, а там сел на самолет.

Предупреждая рецидивы, Литвиненко оснастил причалы автомобильным прожектором и приставил к нему сторожа. Спохватившись, надавил на начальницу почтового отделения, и тайно ввел перлюстрацию писем: никаких упоминаний о секретном объекте. (Он сам не заметил, как мысленно стал именовать объект из ударного — «секретным».)

Переход на блокадное положение завершился. Усть-Кулом блокировал сам себя.

А дорога росла, и страх перед грядущим разоблачением рос вместе с нею. И одновременно рос интерес вышестоящих инстанций — интерес профессиональный, специфический:

— Каковы показатели за последний месяц?

— Сто два процента по сравнению с предыдущим!

— А себестоимость снижаете?

— Неуклонно! Сейчас снимаем рельсы с ближнего уса, расстояние подвоза сократили втрое.

— Производительность труда растет?

— Плюс три с половиной процента. Люди работают героически! Ставим жилые будки прямо на трассе, экономится время на дорогу.

— Давай, Литвиненко, жми!

Литвиненко жал. Иногда ему со злорадством хотелось увидеть лицо начальственного абонента при известии, что путь протянулся уже на семнадцатый километр.

В неделю раз он не выдерживал и на «газике» мотался в Белоборск. Оттуда регулярно высылались поисковые экспедиции — и, проплутав в чаще, приплетались ни с чем. Самое поразительное, что (по донесению информатора) орлы Прокопенюка не единожды хаживали напрямки в Белоборск за водкой — и добывали! Но прижать их с поличным не удавалось, а припертые в угол они все отрицали всё категорически!..

Уже ложились белые снеги, уже в две смены вкалывали на узкоколейке снятые с кварталов бригады, уже... кошмар.

Ах, самолет бы ему, вертолетик бы, дирижабль — хоть на день, на один часочек: взмыть над землей, окинуть с высоты, увидеть, понять. Не было вертолетов: ни геологов на связи, ни военных под боком, хоть ты тресни. Однажды, когда по его приказу была объявлена летная погода,— хоть в пару недель раз должен прилетать борт, иначе неправдоподобно, и так-то дико, что обратных пассажиров нет! — он пытался воздействовать на командира экипажа. Командир мямлил, что плоховато знает своих людей, штурман новый... лимит горючего, полетный лист, права не имеют... Кого колышет чужое горе! Плевать ему было на узкоколейку. Таких благ, чтоб его соблазнить, у Литвиненко не оказалось.

— Тысяча рублей! — грубо предложил он.

Летчик понял, что тут пахнет чем-то нехорошим, опасным, возможно даже угоном самолета и побегом преступной группы, и отказался наотрез.

Если раньше Литвиненко испытывал чувство нереальности, то теперь постепенно у него, как и у всех, нескончаемость дороги стала какой-то привычной, как часть пейзажа или особенность климата. Ну, раньше валили лес — теперь строили дорогу: в принципе-то ничего не изменилось. Так же выполняли план, закрывали наряды, получали зарплату, лаялись на планерках...

Сверху давили:

— Больше!

— Быстрее!

— ...дешевле!

— ...экономичнее!

По дорожному строительству они прочно держали первое место по отрасли, их стали отмечать в сводках и докладах.

Главным лицом в поселке сделался Прокопенюк. Прокопенюк больше всех зарабатывал. Прокопенюк мог выгнать с объекта, а мог принять, объявив ценным специалистом. Прокопенюк мог расценить работу так, а мог эдак. А главное — Прокопенюк стянул все вожжи в свои руки — выглядел необходимым, незаменимым.

В проблесках Литвиненко сознавал, что гибнет, но пути назад не было. Телефон зудил, телефон терзал его:

— Темпов не снижать!

— Почему не растет прирост производительности!

— Усилий не ослаблять!

К торжественной дате грянула новая напасть:

— Пришла разнарядка на правительственные награды. Вам решено выделить орден Красного Знамени. Представь кандидата. Записывай данные: пол — мужской, партийность — партийный, возрастная группа — от сорока до пятидесяти, национальность — интернациональная, не русский, но и не местный, не коми, а представитель братского народа... но — братского, ты понял? Так, образование — среднее, социальная принадлежность — рабочий. Повтори!

Прокопенюк укладывался в эти данные, как бильярдный шар в лузу: Литвиненко лишь фамилию и место рождения проставил.

— У вас там что, сплошные метели нынче? Ничего, прилетим: жди гостей! Кстати, чтоб пустил рабочий поезд из этого... как? Белоборска. У нас республиканская телехроника заказана. Так что — готовься показать товар лицом!

— Есть! — мертвым голосом ответил Литвиненко.

Считая дни, перешли на круглосуточный трехсменный график. Усы снимали уже не только с выбранных кварталов — с рабочих, подряд. Да там все равно уже никто не работал: вальщики стояли вдоль новой трассы, удаляющейся в дальнюю даль...

В полном составе леспромхоз лихорадочно вел дорогу.

Добыча леса происходила только в документах, и в многочисленных и противоречивых документах этих все было в исключительном порядке: контора функционировала отменно, ей без разницы было, какой лес считать — реальный или воображаемый, четыре действия арифметики соблюдались неукоснительно.

Бессонной ночью у Литвиненко родился очередной гениальный план. На восьмом километре надо вырыть реку. Ну, не реку — длинный и узкий пруд, загибающийся влево-вправо в тайгу, чтоб не видно было. Через него — мост. Воду привезти в цистернах. Дома построить или даже — разобрать и перевезти белоборские строения. Жителей переселить. И дело с концом!

Он звонком поднял с постели экономиста и приказал обсчитать проект. Экономист посмотрел на него с ужасом и пошел домой считать.

Утром Литвиненко пригласили в больницу. Главврач, по специальности гинеколог, а по совместительству также травматолог и невропатолог, завел туманную беседу о числах месяца, возрасте и прошедших событиях.

— Я не сумасшедший,— ответил Литвиненко проницательно.— Просто я работаю в экстремальных условиях, доктор. А вот с экономистом я бы на вашем месте разобрался, уложил на обследование: в своем он уме или рехнулся, принимая во внимание все обстоятельства, стучать на начальство?.. Да я его живьем сожру!!!

Главврач с кряхтеньем признал здравость суждений пациента и прописал пить элениум, выцыганив заодно полтонны бензина для санитарной машины и тридцать рулонов рубероида для ремонта крыши этой развалюхи, больницы его вшивой.

Литвиненко перекрестился и стал готовиться к встрече.

Сколь веревочке ни виться, а гром грянет.

Торжественная и ответственная комиссия вылезла из самолета, неся зачехленное переходящее знамя. Следом вывалились телевизионщики, нацеливая свою аппаратуру. Попросили комиссию вернуться в самолет и сойти по трапу еще раз. Попросили летчиков взлететь и сесть еще раз. Летчики отказались.

Литвиненко отрапортовал, по укоренившейся привычке вздев ладонь к шапке. Оркестр оторвал звенящий ликующий туш. Нарядный Прокопенюк тянулся перед строем своей бригады, всосавшей все явные и скрытые трудовые ресурсы леспромхоза.

Знамя расчехлили и вручили.

Прокопенюка наградили, обняли, облобызали и поздравили.

Потом Литвиненко тоже наградили, обняли, облобызали и поздравили.

Произнесли поощрительную речь и две ответные.

Оркестр сыграл «Славься» и «Марш энтузиастов», музыканты вытряхнули из мундштуков слюну на блестящий под солнцем снег.

Прокопенюк, не застегивая пальто, поминутно трогал на лацкане новый, как игрушечный, орден.

Телевизионщики заставили молдаванина Жору раздеться до пояса и обтираться снегом, при этом улыбаясь: «У вас киногеничные зубы».

Литвиненко верноподданнически таращил глаза, помня лишь одно: не пустить комиссию выбраться из поселка, не пустить, не пустить!!

Операция развернулась.

— А теперь пожалуйте отведать наших хлеба-соли! — сказала секретарша Любочка в национальном костюме неизвестного народа, улыбаясь льстиво и протягивая на рушнике, специально вышитом женой Литвиненко, румяный каравай, специально выпеченный Данилычем; старый армейский пекарь Данилыч тренировался неделю и извел полтора мешка канадской муки без примесей, пока добился результата. В каравай была всунута деревянная в резных узорах солонка, оставшаяся Егору Карманову от бабки и временно реквизированная.

Начальство общипало каравай, демократично пожевало хлеб-соль.

Превзошедший крутую службу Литвиненко задирижировал, чутко играя на психике гостей.

— А сейчас — просим — дорогих гостей — пройти к поезду! — продекламировал он.— Поедем — на открытие — нашей новой — трассы! — взмахнул рукой, как конферансье перед распахивающимся занавесом. Прокопенюковцы зааплодировали.

— Ур-ра!!

Начальство чуть растерялось под этаким напором, сминающим предусмотренную программу. Темп был навязан. Разобравшись в колонну по старшинству, послушно потянулись с маленькой приаэродромной площади по сплошной ковровой дорожке. Дорожку эту в количестве пяти рулонов завезли некогда в орсовский магазин, и вот годы спустя все куски вновь собрались воедино, тщательно подобранные друг к другу по степени истоптанности и сшитые.

По центральной улице нарядная воспитательница конвоировала нарядных детишек.

— Скажите дядям хором «здравствуйте»! — прощебетала она.

— Здра-ствуй-те! — отрепетированно грянули юные граждане.

Начальству следовало отечески умилиться. В отеческом умилении неловко было бы игнорировать милый призыв заглянуть в наш садик. Садик был надраен до состояния идеальной казармы. Веяло распрысканным одеколоном и гастрономическими изысками.

— А это наша кустовая больница. Как только закончим дорогу — закладываем новый корпус!

— Смета уже есть?

— А как же. Причем очень экономичная.

На белом крыльце встречал белый главврач в белой шапочке, белом халате, белых шароварах и белых тапочках. Сестры тянулись по ранжиру. Свежая краска липла к подошвам. Больные выглядели самыми здоровыми больными в мире. Они и были здоровыми: больных на этот день спихали с глаз подальше в инфекционное отделение.

Вся жизнь большинства поселков сконцентрирована на центральной улице. В зависимости от величины поселка растет обычно не количество улиц, а длина одной — центральной. На этом и основывался план. К середине улицы делегаты, люди хоть и тренированные, изрядно притомились, да и время обеда приспело.

За обедом же, сервированным в отскобленной до глянца столовой (век столовая такого обеда не видела и впредь не увидит), гостей опекали индивидуально, умело, споро — со всеми вытекающими отсюда последствиями, и текли те последствия щедрой рекой. После первых тостов добавили водочку особую, усиленную питьевым спиртом, замороженную до полной потери вкуса и запаха, один смак в ней остался да тайный градус, и летела она, как говорится, птицей — под рыжики соленые, медвежатинку копченую с черемшой, лосиный окорок с клюковкой моченой, карбонат шкворчащий из дикой кабанятинки, филе глухарей тушеное (не вовсе еще оскудела тайга, найдутся деликатесы для нужного случая!), зайчатинку под соусом, рябчиков и куропаток, нежно похрустывающих, в топленом маслице, беломясую рыбку чир малосольную, тающую — и не хочешь, а выпьешь, и закусишь, и повторишь. Из-за стола гостей разносили по спальням.

Короче, наутро улетать, а тут дай бог опохмелиться и выжить.

Опохмелились, выжили. Подсуетились. Телевизионщики были старые волки, из тех, что снимут хоть Ниагарский водопад в кухонной раковине; без материала возвращаться не привыкли.

Запив шампанским соду и анальгин, давя икоту и отрыжку, заползли в праздничный поезд, два вагончика при мотовозе, украшенных транспарантами и сосновыми лапами, тронулись... (Машинисту наказано было везти *плавно!*)

Церемонию качественно отсняли на разъезде у пятого километра. Там уже ждал рабочий поезд, также украшенный.

Вид первый — приближающийся поезд, счастливые рабочие машут с подножек, с площадки локомотива. Вид второй — ответственные товарищи с достойной радостью выходят из вагона. Вид третий — братание: объятия и поздравления. Вид четвертый — как бы летучий митинг. Вид пятый — перерезание ленточки, запасливо прихваченной с собой. И вид последний — удаляющийся поезд.

— Стоп! Отлично! Всем спасибо. А теперь, товарищи — кто-нибудь не мог бы спилить дерево, побольше такое, чтоб оно упало?

Сняли падающее дерево.

— И хорошо бы укладку последнего звена, смычку.

В минуту разболтили, расшили пару рельсов, оттащили, подтащили...

— Что, руками? А крана нет?..

— Какой же кран, это узкоколейка, сто тридцать килограммов весь рельс...— посмеялись.

Из справедливости надо заметить, что съемка абсолютно ничем не отличалась бы от той, которая изображала бы всамделишное явление поезда из Белоборска. Да и от тысяч других нормальных хроник.

На аэродроме винты взмели снег — «Барин сел в карету и уехал в Питер».

Такое дело хорошенько обмыли, допили-доели угощение, погуляли — чтоб было что вспомнить; разобрали дорожку на коврики, вселили больных на место; обсудили, успокоились, зажили.

Надо было жить и работать дальше.

Перевыполняли план, брали обязательства, закрывали наряды, составляли сводки, подписывали отчеты, получали премии.

Дорога исподволь стала предметом гордости. Таких больше нигде не было. Втянулись, полюбили.

В перспективе прикидывали мысль класть ее в две колеи — прогресс.

Начальство следило за успехами, координировало действия, подстегивало, поощряло.

Установившееся неодолимое внутреннее влечение тянуло Литвиненко еще и еще раз взглянуть на трассу, пожать родственные руки работягам, втянуть мерзлый железный запах ломов и рельс. Выезжал с волнением, с томительной отрадой отзывалось тело подрагиванию колес на стыках, до боли вглядывались глаза в знакомый наизусть, до мельчайшей приметы, единственный и родной пейзаж. В чертову дикую даль летела дорога, прямая, как выстрел, натянутая, как нерв, стремительная и бесконечная, как звездный луч, стальным штыковым блеском прорезая заснеженную тайгу, замерзшие болота, застланные пади, над которыми кривым огнистым ятаганом стояла комета и переливалось апокалиптическими сполохами великое северное сияние.

Впрочем, днем было светло.

Вероника ДОЛИНА

◆◆◆

Чем меньше, чем мельче подробность —
Тем паче, тем чутче огонь.
Но вздрогнуть, но тихо потрогать
Такую чужую ладонь...

И вот он, морозец по коже,
И ртуть подползает к нулю.
Едва ли теби перемножу.
Скорее — опять разделю.

Маленькая растерянная песня

Я теряю тебя, теряю.
Я почти уже растеряла.
Я тираню тебя, тираню.
Позабудь своего тирана.

Вот бескровный и безмятежный
Островок плывет Чистопрудный.
Заблудился мой голос нежный
Над Неглинною и над Трубной.

Я теряю тебя, теряю.
Просто с кожею отдираю.
Я теорию повторию.
А практически умираю!

И играет труба на Трубной,
И поют голоса Неглинной
Над моей головой повинной,
Над душою моей невинной.

Так идем: по стеклянной крошке,
Напряженные, алые оба.
Намело на моей дорожке
Два совсем молодых сугроба.

И оглядываюсь еще раз,
И беспомощно повторию:
Ну, услышь мой дрожащий голос —
«Я теряю теби, теряю...»

◆◆◆

Мой самый трогательный стих
Во мне самой еще не стих.
Так пусть летит, твои сухие тронет губы!
Во мне любые пустики
Переплавляются в стихи,
Прозрачно-горькие,
как сок грейпфрута Кубы.

Но ты, я знаю, не таков.
И ты не терпишь пустяков.
А я сутулая, усталая улитка.

И ты смеешься надо мной,
В глаза, а также за спиной,
И на груди моей горит твоя улыбка.

Но самый трогательный стих
Во мне самой почти затих...
А ведь звучал, а ведь дрожал
и не сдавался.
Хоти душа удивлена,
Хотя душа утомлена,
Но все ж цела! А вот и стих
образовался...

Одна она

Судьбу свою пройди до середины,
Берусь сказать немного наперед:
Мы будем жить, мы будем невредимы!
Одна любовь нас дальше поведет.

Едва таясь, томись и задыхаясь,
Скажу еще, дойдя до полпути:

Одна она, ее дремучий хаос
Чего-то стоит, господи прости.

Остановлюсь, найдя себя такою.
Детей своих увижу вдалеке.
Да и прижмусь холодною щекою
К ее сухой, горячечной руке.

Борис ЧИСТЯКОВ

◆◆◆

Так, сердце!.. Что стóит земное блаженство — узнало?
Пожалуй, нескоро захочешь начать все с начала!
Ну, что ж ты затихло — и ребра мои не крушишь?!
Стучало, гремело — теперь затаилось, как мышь...
Давно ли — припомни! — мы звездную книгу листали,
Бродили с Верленом, бывали в гостях у Паскали;
Давно ли ходили с тобой в Зурбаган и Париж,—
Что ж к ребрам присохло — как желтый цыпленок дрожишь?!

Ну, хочешь, как прежде, поедем в Гель-Гью на трамвае —
Там можно прибиться к летящей в Ниневию стае:
Я знаю местечко, где синий живет крокодил —
Он добрый, он мудрый,— и он с фараоном дружил,—
А в древней пещере, где дремлют ночные туманы,
Увидишь, какие чудные стоят истуканы...
Не хочешь? — Ты просишь поехать туда, где больней?
Ну, знаешь!.. А впрочем... Тогда шевелись поживей!

◆◆◆

Прорабы общих избиений,
Заплечных шуток мастера,
Еще на месте дли сожжений —
Следы недавнего костра;

Еще казненных ищут вдовы —
В былое кол проклятый вбит...
А вы и живы и здоровы,
И каждый — сыт.

◆◆◆

Раскатилась весна мятежами,
Ветер сыт ароматом лугов,—
Распрощавшись вчера с миражами —
Вновь спешу на неведомый зов.

И опять неразумное мило,
Все рассветы опять хороши...
Есть какая-то темная сила
В приходящем ознобе души!

◆◆◆

По утрам все в слезах лопухи,
К перелету готовится птицы,—
Лист, сорвавшийся с ветки ольхи,
С неизбежным не хочет смириться.

То заносит его выше крыш —
То мелькает внизу, над рекою...

Одинокий — не лист и не стриж —
Спорит с ветром и спорит с судьбою.

Позади — и дома, и мосты.
Впереди — только воды залива...
«Сумасшедший!» — вздохнули кусты,—
А волна лепетала: «Счастливый...»

◆◆◆

За перевал сознания
Ушел безликий день,—
Гвоздят воспоминания
Без промаха мишень:
Бьют (подставляй лишь голову!) —
Давнишней болью бьют!
Химеры сердце голое
Размеренно жуют...

Эх, сколько судеб вспорото!
Попировал психоз...
Все лозунги, все золото
Не стоят детских слез!
Не позабыть — не вымести...
И душно! — до сих пор:
Привыкли души к сырости
Своих убогих нор...

◆◆◆

Так трудно умирает звук —
Ночной, беспомощный, случайный...
В каналах — тьма. И тьма вокруг.
Но приземленная... Без тайны.

И мерзнет ночь. Душа темна:
Ей снятся давние апрели —
Такая длинная весна...
Такие долгие метели!

◆◆◆

Смена лет не волнует теперь.
Годы стали темней и короче.
Ярче светит созвездья потерь
В середине сентябрьской ночи.

На болоте — туман и дожди,
И нахальная нежить трясины,—

И уже далеко позади
Усмиренные первопричины.

Дней далеких не смею жалеть —
Простодушных и невоплощенных...
Устилает осенняя медь
Бездорожье
для новых влюбленных.

Олег
МАЛЕВИЧ

Два лика

Даниилу Гранину

Из крестьянского сруба дворец сотворил
царь, вершивший историю плахой и дыбой...
Был он тощ и нескладен, и вдруг воспарил,
гордо вздыбив кони над гранитною глыбой.

В этом городе каждый прохожий слыхал
непрестанно звучавшее: «Слово и дело!»
Он мне в душу чугунной решеткой вростал,
и корабликом шпиля за сердце задело.

Я по улицам гулким бродил до утра
и шагами отмеривал белые ночи,
и в огромной и вечной твердыне Петра
был, как домик его, невелик и непрочен.

Но гранитная вечность плыла сквозь меня,
и в течении этом свой смысл обретала
ярость всадника, непокорная сила кони
и тупая незыблемость пьедестала.

Баллада об отце

Кронштадтский мятеж, антисоветский, 28 февр.— 18 марта 1921 в Кронштадте... Ликвидирован частями Кр. Армии при участии делегатов 10-го съезда партии.

Советский энциклопедический словарь

Я с утра выхожу на нетронутый лед
и бегу по нему, как по контурной карте.
Над заливом кровавое солнце встает,
как вставало в том давнем, в том памятном марте.

Ветер надо встречать не спиной, а лицом.
Я иду напролом, хоть судьбе не перечу.
Я полвека не виделся с мертвым отцом.
А теперь и спешу на нежданную встречу.

Светит солнце давно позабытого дни.
Кумачевое, огненное, заревое.
Мой отец, ты был вдвое моложе меня
и, быть может, честней и наивнее вдвое.

Над заливом какой-то плакатный закат.
И все временей вдали очертанья Кронштадта.
Мы замерали, но знаем: ни шагу назад.
Я прикроюсь полой твоего маскхалата.

Суеверный узбек совершает намаз.
Он еще не забыл повеленья Аллаха.
Тонко свистнула пуля, минувшая нас.
И навылет пробита чужая папаха.

Сколько раз здесь смешаются кровь и мазут.
Опускается солнце подводною лодкой.
А курсантские цепи ползут и ползут...

Их в тридцатых накроют прямою наводкой.

◆◆◆

Октябрь... Пора отлета птиц...
Ель, подойди к ограде сада,
следит за ними долгим взглядом
из-под игольчатых ресниц.

И вся продрогшая, качаясь
в осенней лиственной пурге,
стоит сосна — зеленый аист
на зябкой розовой ноге.

◆◆◆

Опадает с золотистых яблонь
розовый и легкий пух зари.
Утро просыпается, как зяблик,
на ветвях раскидистой земли.

У озер, где ночью холодели
лилии на лаковой воде,
осторожно стряхивает зелень
белый пух и перья лебедей.

Рыбу звезд вылавливают сети...
Небо раскололось в камышах...
И звенит на розовом рассвете
зяблика озябшая душа.

Как-то летним днем знаменитый робот-конструктор Трурль подстригал у себя в садике кибербарис и вдруг увидел на дороге оборванца, видом своим возбуждающего жалость и ужас. Руки и ноги у этого робота обмотаны были шпагатом и укреплены прогоревшими печными трубами, голову заменяла старая дырявая кастрюля, в которой мышление его гудело и, искря, прерывалось; кастрюля та крепилась к шее обломком кола, выдернутого из плетня, в разверстом животе мерцали закопченные катодные лампы, и бедняга одной рукой придерживал их, а другой неустанно подкручивал разболтавшиеся ручки настройки. Когда же, хромая, он мииовал садовую калитку, у него полетели сразу четыре предохранителя, и, окутанный клубами дыма, источая смрад горящей изоляции, несчастный робот прямо на глазах начал рассыпаться на части. Конструктор, исполненный сострадания, тотчас же схватил отвертку, плоскогубцы, полимерные бинты и бросился путнику на помощь. Бедняга несколько раз с ужасным скрежетом передач терял сознание вследствие общей десинхронизации, однако Трурль в конце концов кое-как привел его в себя и усадил, уже подремонтированного, в гостиной. И хотя путник еще жадно подзаряжался от батареи, Трурль, сгоравший от любопытства, принялся расспрашивать, что же это привело его в столь плачевное состояние?

— Милосердный мой благодетель,— отвечал незнакомец, все еще дребезжа магнитами,— зовут меня Добриций, я пустынник-анахорет, вернее, был им; ровно шестьдесят и семь лет провел я в пу́стыни, предаваясь благочестивым размышлениям. Но од-

нажды утром меня осенила мысль: а верно ли я поступаю, живя отшельником? Смогут ли все мои всеобъемлющие раздумья и воспарения духа удержать в своем гнезде хотя бы малую заклепочку, коли той суждено выпасть? И не является ли первейшим моим долгом нести помощь ближним, а о собственном спасении печься в последнюю очередь? И разве...

— Понятно, понятно...— остановил его Трурль.— Душевное твое состояние в то утро мне более или менее ясно. Что же было дальше?

— И отправился я на планету Фотуру, и там случайно познакомился со знаменитым конструкционистом Клапавциусом...

— Ах, не может быть! — воскликнул Трурль, услышав имя своего закадычного друга и соперника.

— Вы что-то изволили сказать?

— Нет, ничего. Продолжай.

— То есть я не сразу с ним познакомился, ведь Клапавциус — важный барин; он ехал в автоматической карете, с которой мог беседовать, точь-в-точь как мы с вами; карета та, когда я стоял посреди улицы, ошеломленный городским движением, обругала меня столь непристойными словами, что я, не помня себя, огрел ее посохом по фаре; тут она совсем разъярилась, но хозяин приструнил ее, а меня пригласил занять место рядом с ним. Я поведал ему, кто я и почему покинул пу́стынь, а также, что не знаю, как быть дальше; он же, похвалив мое рвение, представился и долго повествовал о своих трудах и заслугах, а под конец рассказал очень трогательную историю о Хлориане Теориции по прозванию Клапостол, великом мыслянте и мудролюбе, при горестной кончине коего он присутствовал самолично. Из всего, что поведал он мне о трудах этого великого робота, наибольший отзыв в душе моей нашла повесть об энэфэрцах. Вы, милосердный мой благодетель, когда-нибудь слышали об этих существах?

— Конечно. Это ведь единственные в Космосе существа, достигшие Наивысшей Фазы Развития, да?

— Истинно так. Сведения ваши совершенно точны!.. Так вот, когда я сидел в карете со знаменитым Клапавциусом, и карета неумолчно осыпала ужаснейшими проклятиями толпу, неохотно уступавшую нам дорогу, пришло мне в голову, что кому-кому, а уж существам, развившимся до того, что дальше уже некуда, наверно, лучше, чем всем прочим, известно, как надобно поступать, когда чувствуешь такую тягу к добру и такую жажду нести ее ближним своим, какая горит во мне. И спросил я Клапавциуса, где живут энэфэрцы и как их отыскать? Он же только загадочно усмехнулся, покачал задумчиво головой и не ответствовал мне. Я не осмелился настаивать, однако позже, когда мы сидели в трактире за кувшином доброго ионного пива, ибо карета, совершенно охрипнув, потеряла голос, так что дальнейшее путешествие пришлось отложить до утра, настроение господина Клапавциуса заметно поправилось и, глядя на пары, отплясывающие лихой киберок под звуки разухабистого оркестрика, он снизошел до конфидентности со мной и поведал такую вот историю... Но, может, я наскучил вам своим рассказом?

— Нет, нет! — запротестовал Трурль.— Мне чрезвычайно любопытно!

— «Мой честный Добриций,— обратился ко мне господин Клапавциус, глядя, как из танцоров летят искры,— знай, я тоже принял близко к сердцу историю несчастного Клапостола и решил незамедлительно отправиться на поиски этих совершеннейших существ, необходимость которых он доказал теоретически и логически. Но я предвидел главную трудность предприятия в том, что расспросами ничего не добьешься, поскольку каждая космическая раса почитает себя достигшей совершенства, лететь же наобум почел неразумным, ибо, по моим подсчетам, в Космосе существует свыше четырнадцати центигигагептатрибиллионардов сообществ разумных существ; сам понимаешь, что при поисках могли бы возникнуть значительные трудности. Я долго размышлял, вертел проблему так и этак, рылся в библиотеках, копался в старинных книгах и обнаружил, наконец, весьма дельное указание в труде некоего Трупуса Бредовиуса, примечательного тем, что он пришел к такому же выводу, что и Клапостол, только на триста тысяч лет раньше, однако, невзирая на свое открытие, был забыт. Как видишь, нет ничего нового ни под одним из солнц, и даже кончил Трупус точно так же, как и Хлориан... Но речь не об этом. Так вот, расшифровав его рукопись, я узнал, как надлежит искать энэфэрцев. Бредовиус полагал, что надобно перетрясти звездные скопления в поисках невозможного, а когда таковое отыщется, это значит — ты у цели. Конечно, указание было весьма туманно, но ведь недаром же я наделен быстрым разумом. Тотчас же снарядил я свой корабль и пустился в дорогу. О том, что я в пути познал, умолчу; скажу только, что наконец увидел я звезду, тем отличающуюся от всех прочих, что имела она форму куба. Ах, какое это было потрясение! Ведь даже малому ребенку известно, что все без исключения звезды должны быть округлыми, ни о каких углах, тем более о правильной кубической форме, и речи быть не может! Я тотчас направил корабль к этой звезде и вскоре обнаружил рядом с ней планету, которая тоже была кубической и притом по углам окована. Чуть подалее вращалась другая, совершенно нормальная

планета; я нацелил на нее объективы и увидел орды роботов, крушащих дубинами друг другу черепа; картина эта отнюдь не соблазнила меня совершить посадку. Я вернулся к оставленной за кормой планете-сундуку и еще раз основательно обследовал ее через телескоп. О, какая радость охватила меня, когда на одном из ее великолепных наугольников узрел я увеличенную линзами, богато инкрустированную монограмму, слагающуюся из трех букв — „НФР"».

— Великое небо! — воскликнул я.— Это здесь!

— «Но однако ж, летая до головокружения вокруг планеты, я не мог обнаружить на ее песчаных равнинах ни единой живой души. И только приблизившись на расстояние шести миль, увидел скопление черных точек, которые при рассмотрении через супертелескоп оказались обитателями сего небесного тела. Было их чуть поболе ста; они в беспорядке валялись на песке, и безжизненность их порядком меня обеспокоила, однако вскоре я убедился, что время от времени то один, то другой принимается почесываться; видя эти неоспоримые признаки жизни, я решил совершить посадку. Я выскочил из ракеты, не дожидаясь, пока остынет обшивка, раскалившаяся, как и положено, от трения об атмосферу, и, перескакивая через три ступеньки, помчался к лежащим, крича уже издали:

— Простите, это не тут ли Наивысшая Фаза Развития?

Ответом мне было молчание; более того, никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Огорошенный столь равнодушным приемом, я смешался и стал осматриваться вокруг. Равнина была залита светом кубического солнца. Из песка тут и там торчали ломаные шестеренки, тряпки, бумажки и прочий мусор; туземцы же в беспорядке валялись среди них, кто на животе, кто на спине, а один задрал обе ноги и лениво целил ими в зенит. Я осмотрел того, что лежал поблизости. Это был не робот, но и не человек или какой другой белковец из породы студенистых. Правда, голова у него была с пухленькими румяными щечками, но вместо глаз торчали две маленькие свистульки, а в ушах тлел ладан, обволакивающий его клубами благовонного дыма. Одет же он был в орхидеевые панталоны с синими лампасами, на которых болтались листочки грязной исписанной бумаги; обут в какие-то чоботы наподобие полозьев, а в руке держал бандуру из глазированного пряника с уже надъеденным грифом. При этом он тихо и мерно похрапывал. Вытирая слезящиеся от дыма глаза, я попытался прочесть каракули на бумажках, вшитых в лампасы, но разобрать сумел далеко не все. Это были весьма удивительные надписи, например, такие: „№ 7 — бриллиант, наивысший вес семь центнеров"; „№ 8 — пирожок драматический, при съедении плачет, в животе читает морали, надоедает тем больше, чем глубже находится"; „№ 10 — голкондрина для поклябывания, взрослая" — и другие, которых уже не упомню. Когда же, очень всем этим удивленный, я дотронулся до одной из бумажек, намереваясь ее расправить, в песке возле самой ноги спящего образовалась ямка, и из нее раздался тоненький голосок:

— Что, уже?

— Кто это? — воскликнул я.

— Я, голкондрина... Можно начинать?

— Нет, нет, не надо! — ответил я и поскорее отошел.

У следующего туземца голова была в виде колокола с тремя рогами и около дюжины рук разной величины, причем две самые маленькие массировали ему желудок; длинные, обросшие перьями уши, а на голове шапка с ярко-красным козырьком-балкончиком, на котором кто-то с кем-то скандалил, наверно, невидимки, потому что я видел только, как там летают и разбиваются крохотные тарелочки. Существо это полулежало, привалившись спиной к бриллиантовой подушке; когда я остановился возле него, оно сорвало с головы один рог, понюхало, с отвращением отбросило и насыпало внутрь к себе несколько горстей грязного песка. Рядом лежало нечто, что я принял сперва за сиамских близнецов; потом, решив, что это обнимающиеся любовники, хотел деликатно отойти, но, оказывается, это было не одно существо, и не два, а всего-навсего полтора. Голова у него была обычная, как у человека, и только уши время от времени отрывались от нее и порхали вокруг, словно мотыльки; веки были плотно сомкнуты, но зато из множества родинок на щеках и на лбу на меня весьма недружелюбно смотрели крохотные глазки. Широкая рыцарственная грудь этого странного творения была пробита во многих местах, и из неаккуратных пробоин торчали клочья пакли, политой малиновым сиропом; ногу он имел одну, но невообразимо толстую, обутую в сафьяновый башмак с фетровыми колокольчиками, а локтем опирался на кучу огрызков — не то яблок, не то груш. Безмерно изумленный, я побрел дальше и увидел робота, у которого из носа торчала шарманка с золотыми рыбками; и другого, лежащего в луже клубничного варенья; и еще одного, у которого в спине были распахнуты дверцы, так что взору открывались его хрустальные внутренности — там заводные гномики разыгрывали разные сценки, но до того непристойные, что я покраснел и, как ошпаренный, отскочил прочь от дверец. При этом я поскользнулся и упал, а встав на ноги, увидел перед собой еще одного обитателя планеты: совершенно голый, он чесал золотой палочкой спину и от наслаждения покряхтывал, хотя и был без головы. Голова же, удобно установленная на песке, занималась тем, что языком пересчитывала зубы в широко раскрытой пасти. Лицо у этой головы было медное с белой каемочкой, из одного уха торчало колечко, а из другого палочка, на палочке печатными буквами было написано: „Можно". Не знаю почему, я дернул за палочку и вытянул из уха этого голыша нитку с леденцами и визитной карточкой, на которой была надпись: „Дальше!" Я потянул еще, пока нитка не кончилась,— на конце ее висела бумажка со словами: „Что, интересно? А теперь вали отсюда!"

От подобной наглости я лишился дара речи, способности мыслить и сознания. Наконец, придя в себя, я поднялся и продолжил поиски кого-нибудь, кто, на мой взгляд, сумел или захотел бы ответить хоть на один вопрос. Мне показалось, что маленький толстячок, сидящий ко мне спиной и склонившийся над чем-то, лежащим на коленях, как раз тот, кто мне нужен. У него была одна голова, два уха, две руки, и потому, еще не дойдя до него, я начал:

— Простите, если не ошибаюсь, вы соизволили достичь Наивысшей Фазы Ра...

Слова замерли у меня на устах. Толстячок не пошевельнулся; похоже было, что он не слышит ни одного моего слова. Да и то сказать, он был очень занят: держа на коленях собственное лицо, снятое с головы, и тихо посапывая, ковырялся пальцем в носу. Мне стало не по себе...

Однако вскоре изумление мое переросло в любопытство, а любопытство в жажду непременно понять, что же, собственно, происходит на этой планете. Я принялся бегать от одного к другому, громко взывал к ним, и даже кричал, спрашивал, угрожал и умолял, приставал, уговаривал, а когда все это ни к чему не привело, схватил того, что ковырялся в носу, за руку, но, пораженный, отскочил, ибо она осталась у меня; он же, не обращая внимания, покопался в песке, вытащил оттуда новую руку, точь-в-точь такую же, но только с выкрашенными в апельсиновый цвет ногтями, дунул на нее, плюнул, приставил к плечу, и она тут же приросла. Когда же я стал с интересом обследовать оторванную руку, она щелкнула меня по носу.

Тем временем солнце двумя углами зашло за горизонт, ветерок утих, и обитатели Энэфэрии явно начали готовиться ко сну: почесывались, откашливались, отхаркивались; один взбивал бриллиантовую перину, другой аккуратно укладывал рядом с собой нос, уши, ноги. Быстро темнело, и, пометавшись еще немного, я с сожалением тоже стал устраиваться на ночлег. Вырыв в песке глубокую яму, я улегся в нее и уставился взглядом в черно-синее небо, усыпанное звездами. Размышляя, что же предпринять, я говорил себе:

„Да, похоже, что я действительно нашел планету, предвиденную Трупусом Бредовиусом и Хлорианом Теорицием Клапостолом, наивысшую цивилизацию Вселенной, слагающуюся из сотни с небольшим особей, которые валяются среди мусора и отбросов на брялиантовых перинах под алмазными одеялами и ничего не делают, а только чешутся да поплевывают. Тут кроется какая-то ужасная тайна, и я не усну, пока не докопаюсь до нее, чего бы мне это ни стоило!"

И я продолжал размышлять:

„Страшна, должно быть, тайна этой кубической планеты под кубическим солнцем, планеты, подсовывающей странникам бесстыдных гномиков, обитающих в утробе, и леденцы из уха! Я всегда полагал, что уж если я, простой робот, посвящаю жизнь наукам и просвещению, то сколь учены и просвещенны должны быть более развитые, не говоря уже об этих, совершеннейших! Но, похоже, беседовать, тем более со мной, у них нет ни малейшей охоты. Их нужно принудить к этому! Но как? Надо им так досадить, так приставать, такое сделать, чтобы надоесть до последней крайности. Правда, тут есть риск: разгневавшись, они могут раздавить меня, как мошку. Но вряд ли они прибегнут к столь суровым мерам, а жажда познания сжигает мне душу. Решено! Попытаюсь!"

Я вскочил и в полной темноте стал вопить, прыгать, пинать тех, что поближе, сыпать им в глаза песком, скакать, плясать, рычать, да так, что совсем охрип; тогда я остановился, проделал несколько гимнастических упражнений и снова, точно бешеный буйвол, набросился на них; они же только отворачивались и подставляли под пинки бриллиантовые перины да подушки. Когда же я проделал прыжков с пятьсот, в моей затуманившейся голове мелькнула мысль:

„То-то бы изумился мой закадычный друг, если бы увидел, чем я занимаюсь на планете, достигшей Наивысшей Фазы Развития".

Однако эта мысль ничуть не помешала мне выть и скакать. И вдруг до меня долетел шепот:

— Старина!

— Чего?

— Слышишь, что вытворяет?

— Ну, слышу...

— Он мне тут чуть голову не проломил...

— Надень другую.
— Так он спать не дает.
— Что?
— Спать, говорю, не дает...
— Должно, от любознательности,— присоединился третий.
— Здорово его разбирает.
— Так как, может, сделать с ним что-нибудь или пусть дальше мучает?
— А что сделать-то?
— Откуда мне знать. Характер, что ли, ему изменить?
— Да неэтично это как-то...
— А чего он такой настырный? Слышишь, как воет?
— Ладно, я сейчас...

Они все шептались, а я выл, ухал и скакал, концентрируя усилия в районе, откуда доносился шепот. И только я встал на голову, то есть головой на живот одному из них, как меня объяла черная ночь небытия; тьма затмила мои мысли, но длилось все это — по крайней мере, мне так показалось, когда я очнулся — не долее секунды. Все тело у меня болело от прыжков и приседаний, но находился я уже не на планете. Я сидел в навигационном салоне моего корабля, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, поскольку был придавлен горой банок с вареньями, плиток шоколада, марципановых медвежат, шарманок с бриллиантовыми бубенчиками, золотых талеров, дукатов, сережек, браслетов и самоцветных камней, от которых шло такое сверкание, что пришлось зажмурить глаза. С трудом выбравшись из-под груды лакомств и драгоценностей, я глянул в иллюминатор, но среди звезд не нашел ни намека на кубическое солнце; когда же я проделал расчеты, оказалось, что лететь до него на полной скорости пришлось бы шесть тысяч лет. Вот как избавились от меня Энэфэрцы, когда я чрезмерно досадил им; поняв, что и вернувшись на их планету, я ничего не добьюсь, ибо им легче легкого снова отправить меня гиперспециально или подпространственно туда, где раки зимуют, решил я, мой честный Добриций, взяться за дело с другого конца...» — и этими словами знаменитый конструктор Клапавциус закончил повествование.

— И больше он ничего не сказал? Да не может такого быть! — воскликнул Трурль.

— О! Сказал! Сказал, милостивый мой благодетель. И в этом-то корень моих бед! — простонал изувеченный робот.— Когда я спросил, что же он намерен делать, он склонился ко мне и изрек:

«Сперва я думал, что задача неразрешима. И все же я нашел способ. Ты, мой пустынник, простой, невежественный робот и не поймешь, какие трудности пришлось мне преодолеть, решая эту проблему, потому останавливаться на них мы не будем; в сущности, дело это довольно простое: надо создать цифровую машину, способную смоделировать все сущее. Надлежащим образом запрограммированная, она смоделирует Наивысшую Фазу Развития, и тогда-то можно будет задавать вопросы и получить окончательные ответы».

«Но как сделать такое устройство? — спросил я.— И уверен ли ты, сиятельный Клапавциус, что после первого же вопроса оно не пошлет нас, куда Макар телят не гонял, тем самым супергиперспособом, какой осмелились применить к тебе энэфэрцы?»

«Ну, это чушь,— ответил Клапавциус.— Положись на меня; я вызнаю у энэфэрцев их тайну, а ты, благородный Добриций, спросишь, что надлежит делать, дабы воплотить в жизнь прирожденное отвращение ко всяческому злу».

Не стоит и говорить, что меня обуяла великая радость, и я стал помогать Клапавциусу в строительстве машины. Оказалось, что великий конструкционист делал ее в точном соответствии с проектом трагически и преждевременно опочившего Хлориана Теориция Клапостола; то был задуманный им достославный Боготрон, устройство, которому в Космосе все по плечу. Однако господин Клапавциус, недовольный этим названием, все время придумывал новые, самые ученейшие, именуя строящуюся громадину то Всемогущницей, то Омнигенерическим Ультиматором, то Онтогельней. Впрочем, хватит о названиях... Скажу, что ровно через год и шесть дней мы закончили эту страшную махину, которую разместили ради экономии в пустых недрах Рапундры, большой луны недолаев. И впрямь, муравей казался бы менее ничтожен в чреве трансатлантического лайнера, нежели мы в ее медных безднах, среди нагромождений эсхатологических трансформаторов, гагиопневматических перфекционаторов и выпрямителей зла; должен признаться, волосы мои проволочные встали дыбом, а зубы начали выбивать дробь, когда господин Клапавциус посадил меня за Наиглавнейший пульт и оставил наедине с этой беспредельной машиной, а сам куда-то вышел. Точно звезды небесные, сияли ее сигнальные лампы, всюду сверкали грозные надписи «Осторожно! Высокая трансцендентность!», шкалы показывали миллионные значения логических и семантических потенциалов, а под ногами моими беззвучно переливались океаны сверхчеловечьей и сверхроботьей мудрости, заключенной в гектарах магнитов и парсеках обмоток, и мудрость эта была и передо мной, и надо мной, и подо мной, окружая со всех сторон, так что я, вполне осознав всю свою глупость, чувствовал себя ничтожной пылинкой. Однако же, превозмогши себя и призвав в душе на помощь всю любовь к Добру и страстное стремление к Правде, клокотавшие в каждом, самом крохотном моем соленоидике, я растворил занемевшие губы и задал вопрос:

«Кто ты?»

И тотчас теплое, легкое дуновение с металлической дрожью пролетело по стеклянной комнатке, и голос, кажущийся тихим, но такой могучий, что пронизал меня насквозь, ответил:

«Ego sum Ens Omnipotens, Omnisapiens, in Spiritu Intellektroniko Navigans, luce cybernetika in saekula saekulorum littera opera omnia cognoscens, et caetera, et caetera». *

Разговор шел по-латыни, и я, благодетель мой, для удобства переведу его, как могу, на язык более обиходный. Когда прозвучал голос машины и она мне представилась, я совсем оробел, и только вернувшийся Клапавциус сделал продолжение разговора возможным, уменьшив трансцендентность, а всемогущество сократив до одной стомиллиардной; я тотчас же попросил, чтобы Ультиматор соизволил рассказать все про Наивысшую Фазу Развития и ее жуткие тайны. Клапавциус же сказал, что не так надлежит действовать; он пожелал, чтобы Онтогельня смоделировала в своих серебряно-хрустальных безднах жителя кубической планеты, склонив его притом к разговорчивости, и тут-то все и началось.

Поскольку я, стыдно сказать, не мог пересилить икоты, напавшей на меня от страха, Клапавциус самолично сел за Наиглавнейший пульт и задал первый вопрос:

«Кто ты?»

«Сколько можно повторять одно и то же?» — возмутилась машина.

«Я хочу знать, человек ты или робот?» — объяснил Клапавциус.

«А какая тебе разница?» — отозвался голос из машины.

«Если ты будешь отвечать вопросом на вопрос, разговор никогда не кончится! — рассердился Клапавциус.— Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду! Отвечай!»

Я совсем оробел от столь смелого тона конструкциониста, но, видать, он знал, что делает, ибо машина ответила:

«Иногда люди создают роботов, иногда — роботы людей; безразлично, где живет мысль — в киселе или в металле. Я могу принимать любые обличья, формы и размеры, точнее, мог бы, потому что сейчас никто из нас такой чепухой не занимается».

«Да? — отозвался Клапавциус.— А почему вы валяетесь и ничего не делаете?»

«А что мы должны делать?» — поинтересовалась машина, а Клапавциус, сдерживая гнев, молвил:

«Откуда ж мне знать. У нас на низшей стадии развития масса дел».

«У нас в свое время тоже так было».

«А сейчас уже нет?»

«Нет».

«Почему?»

Тут смоделированный сперва отказался отвечать, заявив, что пережил уже шесть миллионов подобных собеседований, однако ни ему, ни спрашивающим они ничегошеньки не дали. Клапавциус, прибавив чуток трансцендентности и немножко подкрутив ручки, все-таки вытянул из него ответ.

«Миллиарды лет тому назад мы были обычной цивилизацией,— начал свой рассказ смоделированный.— Мы верили тогда в киберархангелов, в мистическую обратную связь всякой твари с Великим программистом и во все такое прочее. Потом среди нас появились скептики, эмпиристы, акцидентались и за девять веков доказали, что никого нет и все возможно, но не по высшему предначертанию, а просто — так себе».

«То есть как это — так себе?» — от изумления и я отважился вступить в разговор.

«Видишь ли,— отвечал голос из машины,— бывают горбатые роботы. Когда ты мучаешься от горба, но в то же время веришь, что ты такой потому, что Предвечный так и замыслил тебя и план твоего уродства заполнял туманность Его помыслов еще до сотворения мира, тебе легко примириться с судьбой. Но когда тебе сообщают, что горб твой произошел оттого, что несколько атомов поскользнулись и вскочили не на свои места, что тебе остается, кроме как выть по ночам?»

«Нет, остается, остается! — убежденно воскликнул я.— Горб можно выправить, искривленность — выпрямить; только для этого необходимо высокое знание!»

«Наслышан я этих песен,— грустно ответила машина.— Простаки думают, что это просто».

«А что, разве не так?» — изумились мы с Клапавциусом.

«Когда наступает время выправлять горбы,— сказала машина,— возможности становятся поистине безжалостными! Можно уже не только горбатых выпрямлять, но

* Аз есмь Существо Всемогущее, Всеведущее, Духом интеллектровическим путеводимое, светом кибернетическим все сотворенное во веки веков пронизающее и проч. и проч. *(лат.)*

и создавать новые головы, солнцам придавать кубическую форму, планетам приделывать ноги, штамповать синтетические судьбы, куда слаще настоящих; начинается это невинно — с удара кремня о кремень, а кончается строительством всемогущников и всемогущниц! Пустыня нашей планеты — вовсе не пустыня, а Супербоготрон, и он в миллионы раз мощнее примитивной консервной банки, которую сделали вы; создали его наши пращуры, поскольку все прочее казалось им чересчур легким — был у них, видно, приступ мании величия, и еще потому, что захотелось им мышление из песка черпать; только зря они так поступили: ведь если все возможно, то к этому уже ничего не прибавишь. Ну, слаборазвитые, теперь вам все понятно?»

«Да, да! — воскликнул Клапавциус, а я лишь дрожал мелкой дрожью.— Но почему вы вместо того, чтобы нести благо, только чешетесь да валяетесь в этом гениальном песке?»

«А потому, что всемогущество всемогуще только тогда, когда бездейственно. На вершину можно взойти, но все дороги с нее ведут вниз! К тому же мы слишком порядочны, чтобы что-то делать. Уже прапрадеды наши — просто так, для опробывания Боготрона — придали нашему солнцу форму куба, а планете вид сундука, переделав при этом высочайшие ее горы в монограммы. С равным успехом можно было бы разделить звезды и половину из них разжечь, а половину погасить, сконструировать существа, в которых обитали бы малюсенькие созданьица, да так, чтобы танцы лилипутиков соответствовали мыслям великанов, находиться в тысяче мест одновременно, переместить галактики, чтобы сложить из них узоры, приятные глазу... Но зачем, ответьте, заниматься нам всем этим? Что улучшится в Космосе, если звезды будут треугольными или на колесиках?»

«Чушь порешь! — возмутился Клапавциус, а я лишь сильней задрожал.— Уж коль вы равны богам, первейшая ваша обязанность — тотчас уничтожить все страдания, горести и несчастья, терзающие ваших братьев! А начать можете хотя бы с соседей, которые, как я сам видел, только и делают, что проламывают друг другу черепа! Как же вы смеете валяться в грязи, ковыряться в носу и подсовывать честным путникам, алчущим мудрости, леденцы из уха, когда кругом столько зла?»

«Не понимаю, чего тебе так дались эти леденцы? — удивилась машина.— Выкинь ты их из головы. Итак, если я правильно тебя понимаю, ты требуешь, чтобы мы кинулись всех подряд осчастлявливать? Этой проблемой мы основательно занимались веков пятнадцать назад. Она носит название фелицитологии и подразделяется на анезапную, или неожиданную, и постепенную, или эволюционную. Эволюционная основывается на том, чтобы и пальцем не пошевельнуть в предвидении, что каждая цивилизация помалу сама себе поможет; внезапно можно осчастливливать либо по-доброму, либо насильно. Насильное осчастливливание приносит несчастий, как подсказывают расчеты, в от ста до восьмисот раз больше, чем воздержание от всякой деятельности. По-доброму осчастливить тоже нельзя, ибо, как это ни невероятно, использование Боготрона приводит к таким же результатам, что и использование Инфернатора Адского, именуемого еще Геенницей. Слышал, может, о так называемой Крабовидной туманности?»

«Ну, слышал,— ответил Клапавциус.— Это остатки суперновой, взорвавшейся...»

«Суперновой,— хмыкнул голос,— держи карман! Была там, уважаемый, планета, в меру развитая и потому истекающая нормальным количеством слез и крови. Однажды утром мы сбросили на нее восемьсот миллионов Исполнялок Желаний, и не успели отлететь еще на расстояние световой недели, как планета разлетелась в пыль и продолжает разлетаться до сих пор. А с планетой гоминасов было... рассказывать или нет?»

«Не надо! — буркнул Клапавциус.— Но я не верю, что осторожно и обдуманно нельзя осчастливить!»

«Не веришь? Ну что я могу сказать? Мы пробовали шестьдесят четыре тысячи пятьсот тринадцать раз. Волосы встают дыбом на всех моих головах, когда я вспоминаю результаты. Верь мне, мы не жалели усилий ради счастья других! Мы изобрели специальные аппараты для дистанционной спектроскопии мечтаний, но ты ведь сам понимаешь, что если на планете свирепствует религиозная война и обе стороны мечтают вырезать противника, то мы отнюдь не собирались исполнять такие желания. Мы хотели осчастливливать, не нарушая идеи высшего добра. Но это еще не самое трудное; вся беда в том, что большинство космических цивилизаций в глубине души мечтают о таких вещах, о каких вслух не смеют признаться, и вот вам дилемма: помогать ли им в том, что они делают благодаря остаткам совести и стыда, или же в исполнении скрытых вожделений? Взять, к примеру, хотя бы дементов и аменситов. Дементы, жившие в нормальном средневековье, живьем жгли сношающихся с дьяволом распутников и, особенно, распутниц, во-первых, потому что завидовали их утехам с нечистой силой, а во-вторых, потому что казнить ближних в ореоле вершителей правосудия доставляло им несказанное наслаждение. Аменситы же ни во что, кроме собственного тела, не верили и всячески, но достаточно умеренно, услаждали его машинами, называя это проведением досуга; были у них стеклянные коробки, куда они закладывали всякие убийства, пытки, насилия и, любуясь ими, лишь разжигали аппетит. Мы сбросили на их планеты устройства для утоления желаний, после чего деменситы в шесть, а аменситы в пять недель занаслаждались насмерть. Может, такие методы ты имеешь в виду, недоразвитый?»

«Ты либо кретин, либо негодяй! — рявкнул Клапавциус, а я сжался от страха.— Как смеешь похваляться столь гнусными деяниями?»

«Я не похваляюсь, я рассказываю,— спокойно отвечал смоделированный.— Какие только способы мы не испробовали! Мы осыпали планеты всевозможными благами, заливали сытостью и богатствами, парализуя тем самым любую деятельность и инициативу; мы давали добрые советы, в благодарность за которые по нашим компьютерам, то бишь летающим тарелкам, открывали ракетный огонь. Ибо поистине прежде душу надо переделать в тех, кого осчастливить хочешь...»

«Могли бы и переделать!» — прохрипел Клапавциус.

«Могли бы, конечно, могли бы... Ну вот возьмем хотя бы наших дальних соседей, живущих на землеобразной планете,— антропанов. Занимаются они, в основном, выпендрянием и забочением, и все это из страха перед бабуарней, которая, по их верованиям, находится за гранью бытия и, разинув пасть, пылающую вечным огнем, поджидает грешников; следуя же заветам блаженных Ламцадрицианов и райского Лабудаса, а также избегая Мерзонии с ее мерзонцами, антропанские юноши постепенно становятся энергичней, лучше, благородней, чем их восьмирукие предки. Правда, антропаны воюют с байоранами, ибо они верят, что долг первичен, а толк вторичен, в то время как байораны утверждают первичность толка, но, заметь, в этих войнах гибнет только малая их часть; ты же требуешь, чтобы я, искоренив из их голов веру в выпендряние, бабуарню и прочую чушь, сделал их готовыми к рациональному осчастливливанию. Но ведь таким образом я совершу психическое убийство, ибо на свет явятся существа, которые не будут ни антропанами, ни байоранами...»

«Предрассудки должны отступить перед знанием!» — решительно заявил Клапавциус.

«Разумеется! Но ты забываешь, что там живут семь миллионов благочестивцев, посвятивших жизнь подавлению собственной природы, чтобы тем самым спасать ближних от бабуарни; и мне, значит, надо за несколько минут объяснить, да так, чтоб они и усомниться не смогли, что все их подвиги были ни к чему и жизнь свою они потратили зря? Знание придет на смену предрассудкам, но для этого нужно время. Возьмем того горбуна, о котором мы говорили. Живет он в блаженном неведении, считая, что горб его играет в деле творения роль чуть ли не универсальную... А если ему объяснить, что это следствие ошибки атомов, он станет только несчастней. Придется выпрямлять его...»

«Вот именно!» — воскликнул Клапавциус.

«Ха! Мы и этим занимались! Мой дед как-то одним махом выпрямил триста горбунов. Бедняга, как он потом терзался!»

«Почему?» — страшно удивился я.

«Почему? Сто двадцать из них сразу же после этого были сварены в кипящем масле, так как внезапное исцеление власти приняли за явное доказательство сношений с дьяволом; из оставшихся тридцать завербовались в солдаты и, сражаясь под разными знаменами, вскорости перебили друг друга; семнадцать на радостях тут же перепились до смерти; остальных погубили любовные излишества, ибо дед по доброте душевной одарил их к тому же великой красотой, так что плотские радости, которым они неумеренно стали предаваться после долгого воздержания, за два года всех их свели в могилу. Единственное исключение... а, и вспоминать-то не хочется!»

«Нет уж, кончай, раз начал!» — взволнованно закричал господин Клапавциус.

«Ну, если настаиваешь... Осталось их только двое. Один, повстречавшись с дедом, на коленях умолял снова сделать его горбуном, ибо, будучи калекой, он безбедно жил на подаяние, а после исцеления ему пришлось работать, к чему он совершенно не был приучен. И еще он говорил, что с горбом своим свыкся, а теперь, входя в двери, всякий раз расшибает лоб о притолоку...»

«А последний?» — спросил Клапавциус.

«Он был принц, из-за увечья лишенный права наследовать трон; после исцеления мачеха отравила его, так как хотела, чтобы коронован был ее сын...»

«Ну, ладно. Но ведь вы же можете творить чудеса»,— грустным голосом промолвил Клапавциус.

«Осчастливливание при помощи чудес — одно из самых рискованных предприятий, какие я знаю,— сурово ответила машина.— Кого ты предлагаешь осчастливливать? Избранных? Но чрезмерная красота ведет к распаду семьи, гениальность — к одиночеству, богатство — к безумствам. Нет, нет и нет! Отдельных индивидуумов осчастливливать нельзя, а цивилизации невозможно: каждая должна следовать своим путем, пройти по всем ступенькам лестницы развития, дабы за все хорошее и плохое

быть обязанной только себе и никому более. Для нас, из Наивысшей Фазы, в Космосе работы нет, а новых Космосов мы не создаем, поскольку это было бы просто-напросто непорядочно. Ради чего их создавать? Чтобы возвеличить себя? Но это же гадко! Тогда, может, ради сотворенных? Но ведь их нет, как же можно что-то делать для несуществующих? Делать что-то возможно лишь до тех пор, пока не станешь всемогущим. Потом нужно сидеть тихо и не рыпаться... А теперь прощайте!»

«Как так?! А средства какие-нибудь, чтобы хоть немножко исправить, улучшить, помочь? Ведь кругом столько страданий, ты только посмотри! Алло!» — взывали мы наперебой с Клапавциусом.

Машина зевнула и ответила:

«Да стоило ли вообще тратить на вас время? Неужто вы ничего не поняли? Вечно одно и то же! Ну, так и быть. Вот вам рецепт еще неопробованного средства, но предупреждаю: результаты могут быть самые неожиданные. А теперь — поступайте, как вам угодно. Единственное, чего я хочу,— покоя. Прощайте, Боготрон с вами...»

Машина умолкла, а мы сидели под остывающими созвездиями ее ламп возле Наиглавнейшего пульта, на котором лежала бумажка с таким текстом:

«АЛЬТРУИЗИН — психотрансмиссионный препарат, предназначенный для любых белковцев. Вызывает распространение всех чувств, эмоций и ощущений того, кто непосредственно их переживает, среди других существ, находящихся на расстоянии не более пятисот локтей. Основан на принципе телепатии. Непередача мыслей гарантируется. На роботов и растения не действует. Интенсивность ощущений переживающей особи, являющейся индуктором, усиливается благодаря вторичной ретрансмиссии реципиентов, находясь в прямой зависимости от количества соседствующих. В соответствии с идеей изобретателя АЛЬТРУИЗИН должен внедрить в каждое общество дух братства, дружбы и глубочайшей симпатии, поскольку соседи счастливой особи также испытывают счастье, и чем счастливей она, тем интенсивней их блаженство, потому они желают ей еще больше счастья — сперва в собственных интересах, а потом ото всей души. Если же кто-то страдает, все тотчас же поспешают на помощь, чтобы избавить себя от индуктированных страданий. Стены, заборы, изгороди и прочие преграды не ослабляют альтруистического действия. Препарат растворяется в воде; его можно вводить в водопроводные сети, реки, колодцы и т. п. Не имеет ни вкуса, ни запаха; один микромиллиграмм достаточен для сообщества, слагающегося из ста тысяч особей. По поводу побочных эффектов, противоречащих концепции изобретателя, претензии не принимаются. За представителя НФР — Всемогущница Ультимативная».

Клапавциус принялся сетовать: альтруизин, мол, найдет применение только среди людей, а роботы как были, так и останутся несчастными, но я осмелился оспорить его, упирая на то, что все разумные существа — братья и что надо помогать друг другу. И вот мы подошли к обсуждению практических вопросов, ибо было ясно, что акцию осчастливливания надо начинать незамедлительно. Клапавциус приказал вспомогательному блоку Онтогельни изготовить соответствующее количество препарата. Посовещавшись с великим конструкционистом, я решил отправиться на землеподобную планету, находящуюся в четырех днях пути и населенную человекообразными существами. Благодетельствовать я хотел анонимно, и потому мы решили, что лучше всего будет, если я замаскируюсь под человека; как известно, это чрезвычайно трудно, но конструкторский гений Клапавциуса и тут преодолел все преграды. Я отправился путешествовать в облике пропорционально сложенного молодого человека с маленькими усиками и челочкой; с собой у меня были два чемодана, в одном из которых находились сорок килограммов белого порошка альтруизина, а в другом — туалетные принадлежности, белье, пижамы, запасные щеки, глаза, волосы, языки. Клапавциус сомневался, стоит ли сразу использовать альтруизин в широком масштабе, и я, хоть не разделял его опасений, пообещал по прибытии на Геонию (так называлась эта планета) провести пробный эксперимент. Мне не терпелось начать сев всеобщего братства, и после сердечного прощания с Клапавциусом я, не мешкая, тронулся в путь.

Прибыв на планету, я остановился для опробования препарата в маленькой деревушке и поселился на постоялом дворе, хозяином которого был немолодой и довольно угрюмый мужик. Начало моего предприятия было вполне удачным: пока кучер перетаскивал чемоданы из коляски в комнаты, я ухитрился бросить щепотку порошка в колодец, находящийся возле самого дома. В усадьбе царила суматоха, кухонные девки бегали с лоханями горячей воды, хозяин сердито подгонял их, потом застучали копыта, и из брички торопливо выскочил пожилой человек с докторским саквояжем, но направился он не в дом, а в хлев, откуда по временам доносилось протяжное мычание. Как я узнал от прислуги, геонское животное, являющееся собственностью хозяина и именуемое коровой, собиралось родить. Это меня несколько обеспокоило, ибо о животных я, по правде сказать, как-то не подумал, но ничего изменить уже не мог и потому заперся в комнате, решив внимательно наблюдать за развитием событий. Долго ждать не пришлось. Я услыхал звон колодезной цепи — девки опять таскали воду,— и через минуту снова раздалось мычание, которому вторили несколько голосов; тотчас после этого из хлева, держась за живот, с воплем вылетел ветеринар, за ним мчались кухарки, а замыкал бегство скотник; страдая от родовых мук, они с криками разбегались в разные стороны, но когда на некотором расстоянии боли отпустили их, сразу же вернулись. Неоднократно принимались они штурмовать хлев, но всякий раз, вопя от боли, вылетали из него; огорошенный неожиданным поворотом событий, я решил, что эксперимент надо проводить в городе, где нет животных. Поспешно собрав вещи, я потребовал счет. Однако в усадьбе все мучались из-за рождающегося на свет теленка, и на мой зов никто не явился; возница и его клячи тоже соучаствовали в родовых муках, так что до ближайшего города мне пришлось идти пешком. К несчастью, когда я переходил по мосткам через реку, чемодан вырвался у меня из рук, ударился замком, раскрылся и весь белый порошок во мгновение ока высыпался в воду. Остолбенев, я смотрел, как в струях стремительного потока растворяются сорок килограммов альтруизина, но — делать было нечего, жребий был брошен, так как именно эта река снабжала питьевой водой город.

Шел я весь день, и, когда добрался до города, настал уже вечер, улицы сверкали огнями и были полны народа. Я остановился в небольшой гостинице и стал осматриваться, но никаких признаков действия препарата не обнаружил. Утомленный долгой дорогой, я прилег отдохнуть. Среди ночи сон мой был прерван страшными криками. Я вскочил с постели. Комнату озаряло пламя пожара, бушующего в доме напротив; выбежав на улицу, у самого порога я наткнулся на еще не остывший труп. Рядом шестеро каких-то негодяев схватили взывающего о помощи старца и рвали у него щипцами зуб за зубом, пока общий вздох облегчения не возвестил, что больной корень, мучавший их вследствие трансмиссии, наконец-то обнаружен и удален; бросив беззубого и полуживого старца, они, обрадованные, убежали.

Но не вопли этого несчастного разбудили меня; причиной был скандал, происшедший в питейном заведении напротив: некий пьянчуга врезал по физиономии приятелю и в тот же миг сам ощутил его боль, взбешенный этим, он почем зря принялся дубасить его; собутыльники, которым тоже стало больно, накинулись на них с кулаками; круг действия общих болезненных ощущений настолько расширился, что почти все постояльцы нашей гостиницы, еще толком не проснувшись, похватали трости, швабры, зонты и в одном нижнем белье помчались на поле битвы, где и мутузили друг друга, катаясь клубком по изломанной мебели и битой посуде, пока кто-то не сшиб керосиновую лампу, отчего и начался пожар. Под звон колоколов, вой пожарных машин и стоны пострадавших я бежал оттуда и, пройдя несколько кварталов, наткнулся на толпу, окружившую беленький домик, стоящий посреди розовых кустов. Как оказалось, в нем находилась пара новобрачных. Давка была невообразимая; я увидел там военных в мундирах, священников а сутанах и даже гимназистов; те, что были возле самого дома, лезли к окнам, задние карабкались им на плечи и кричали: «Ну, что там? Чего копаетесь? Долго нам еще ждать? За дело, живей!» Какой-то старикашка топтался позади и со слезами на глазах умолял пропустить его вперед, потому что на большом расстоянии он вследствие мозговой слабости ничего не почувствует; никто, конечно, не обращал внимания на его жалостные просьбы — одни от наслаждения падали в обморок, другие сладострастно тихо постанывали, а новички пускали носом пузыри. Семьи молодоженов сперва хотели разогнать наглецов, но, поддавшись общему настроению, сами влились в этот негодяйский хор, подзадаривающий любовников, причем настырней всех был прадедушка молодого, пытавшийся своим креслом на колесах вышибить двери супружеской спальни. Совершенно убитый этой сценой, я поплелся обратно к себе и по дороге астречал то побоища, то гнусно обнимающиеся толпы; однако все виденное мной бледнело перед тем, что происходило в гостинице. Уже издали я увидел, как из окон выскакивают постояльцы в нижнем белье и ломают при этом руки-ноги, несколько человек забрались на крышу, в доме же хозяин, его жена, швейцар и горничные метались, как сумасшедшие, визжали, лезли в шкафы и под кровати — и все оттого, что в подвале кошка гоняла мышей.

Я начал понимать, сколь опрометчив был мой поступок; утром альтруизин действовал уже с такой силой, что ежели у кого свербило в носу, то в радиусе мили все принимались чихать; от лиц же, страдающих тяжелыми формами невралгии, родственники, врачи и сестры милосердия бежали, как от чумы; возле них крутились только бледные, сопящие от наслаждения мазохисты. Много было и недоверчивых, которые затем только пинали и колотили ближних своих, чтобы убедиться — вправду ли существует эта чудесная трансмиссия, о которой столько разговоров; те, кого они били, в долгу не оставались, так что в городе все время раздавались глухие звуки ударов. Перед обедом, блуждая в отчаянии по улицам, я увидел странную картину: на рыночной площади толпа рыдающих забрасывала камнями одетую в траур старушку. Как оказалось, то

была вдова некоего почтенного сапожника, который два дня назад опочил, а сегодня утром был похоронен; страдания несчастной женщины так допекли соседей, ближних и дальних, что, не имея возможности утешить бедняжку, они изгоняли ее из города. При этом зрелище сильнейшее горе стеснило мне сердце, и я поспешно помчался в гостиницу. Но и там творились ужасные дела! Кухарка, готовя суп, ошпарила палец, а ротмистр с верхнего этажа, который в это время чистил оружие, от внезапной боли нажал нечаянно на курок и убил жену и четверых детей; скорбь его разделили все, кто еще не был отвезен с переломанными конечностями в больницу или сумасшедший дом; один же из сочувствователей, желая положить конец общим мучениям, которые стали для него невыносимы, в явном безумии поливал всех подряд керосином и поджигал. Я поспешно бежал от пожара и отправился искать хотя бы одного, хотя бы немного, хотя бы чуть-чуть осчастливленного, но повстречал только остатки толпы, возвращающейся с той брачной ночи.

Каждый из этих бывших солюбовников сжимал в руках толстую дубину, дабы отгонять встречных страдальцев; на ходу они обсуждали события прошедшей ночи, причем этим мерзавцам все было не так. И тут мне показалось, что моя кибердуша вот-вот треснет от сожаления и стыда, но я все равно продолжал поиски кого-нибудь, кто смог бы уменьшить мое отчаяние. От прохожих я узнал, где проживает великий мыслитель, гласящий максимы братства и священной терпимости, и направился туда в уверенности, что дом его окружен народными толпами. Увы! Только несколько кошек тихо мяукали под дверью, используя создаваемую мудрецом атмосферу благожелательности для защиты от собак, которые нервно облизываясь, сидели в отдалении. Мимо меня, хромая изо всех сил, проковылял увечный, восклицая: «Крольчарня уже открыта! Открыта!» — и я, исполненный грустного недоумения, стоял и размышлял, каким это образом открытая крольчарня может благотворно воздействовать на его ощущения?

Пока я так стоял, ко мне подошли двое. Один, пристально глядя мне в глаза, врезал изо всех сил по физиономии другому, я же, остолбенев от изумления, не только не схватился за лицо, но даже не охнул, ибо мне, роботу, ничуть не было больно; а надо было бы притвориться: ведь они оказались из тайной полиции. Разоблачив, они заковали меня в кандалы и повлекли в узилище. Там я во всем признался. Правда, я лелеял надежду, что благородство моих намерений, хотя полгорода уже горело, будет учтено, однако полицейские сперва легонько пощупали меня клещами, дабы убедиться, что это не причинит им боли, а, убедившись, всей оравой накинулись на меня и начали избивать, пинать, топтать, вырывать винты и всячески крушить фибры моего исстрадавшегося естества. Не счесть мук, перенесенных мной за благородное стремление дать людям счастье! Наконец мои останки забили в пушку и выстрелили ими в темный и тихий Космос. Я летел в небеса, моим полураздробленным очам с высоты открывалась планета, и я видел, как по ней распространяется действие альтруизина, ибо речные воды несли частицы препарата все далее и далее. Узрел я, что творится среди лесных пташек, монахов, коз, среди рыцарей, мужиков и баб, среди кур, девиц и матрон, и от картин этих такая во мне поднялась великая душевная скорбь, что последние мои целые лампы полопались, и вот после долгого полета упал я, милосердный мой благодетель, возле твоего дома едва живой, но зато на веки вечные излеченный от опрометчивого желания ускоренными методами осчастливливать ближних...

Перевод с польского

Л. ЦЫВЬЯНА

Роберт

КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Партнеры-противники

Я знаю, как любит немецкий народ своего Фюрера. Я хотел бы поэтому выпить за его здоровье.

Сталин, 24 августа 1939 г.

Сталинский взгляд на фашизм имел несколько особенностей. Конечно, фашизм был давно объявлен худшей формой власти буржуазии и «научно» провозглашен слугой монополистического капитала. Хотя, таким образом, само слово «фашизм» было в Советском Союзе одним из наиболее зловещих, его эффективность была значительно ослаблена тем, что «фашистами» в СССР было принято называть и социал-демократов («социал-фашисты»). В результате этой путаницы понятий германской компартии было приказано (против ее воли) бросить свои главные силы не против нацистов, а против буржуазно-социалистических коалиционных правительств — до такой степени, что в прусском референдуме 1931 и в транспортной забастовке 1932 года коммунисты активно сотрудничали с нацистами против умеренных. Ясное свидетельство такой направленности германской компартии, а также свидетельство того, что приказ исходил от Коминтерна, содержится в речи О. Пятницкого на XXII пленуме Исполкома Коминтерна.

Когда такая тактика привела к победе Гитлера, разгром германской компартии был представлен, согласно новому сталинскому стилю, как победа. По новой концепции Гитлер был своего рода «ледоколом революции» — он был последней отчаянной попыткой буржуазии удержать власть, и его падение должно было привести к полному краху капитализма. Эта точка зрения быстро входила в моду.

Когда, однако, Сталину стало ясно, что гитлеризм не находится на пороге падения — к этому заключению Сталин, вероятно, пришел после «ночи длинных ножей» в июне 1934 года, покончившей с Ремом и его сторонниками,— его продолжали удерживать от сближения с новым диктатором отнюдь не идеологические причины. Трудность была скорее в том, что Гитлер выглядел исключительно непримиримым антикоммунистом. Видя, как наращивает Гитлер германское военное и экономическое могущество, Сталин начал рассматривать проблему в комплексе. Очевидная военная угроза со стороны Гитлера могла быть блокирована двумя путями — силой или договором. Если решать проблему придется силой, тогда нужно строить мощный антифашистский союз. Если возможен договор, то лучше всего достичь его с позиции силы. По этим соображениям с середины тридцатых годов и советская внешняя политика и тактика Коминтерна были направлены на создание системы партийных и государственных союзов против Германии.

В 1936 году, после того, как внешняя политика Советского Союза была переориентирована указанным образом, наркому иностранных дел Литвинову, давно уже выступавшему за союз с Западом, стало легче работать. Однажды в ходе одного заседания Сталин положил руку на плечо наркома и сказал: «Видите, мы можем прийти к соглашению». Литвинов (так, во всяком случае, рассказывал Эренбургу З. Я. Суриц) «снял руку Сталина со своего плеча: „Ненадолго...“».

Часто высказывается мнение, что одним из мотивов сталинского террора, особенно в армии, было желание Сталина получить свободу маневра, результатом которой явился советско-гитлеровский пакт 1939 года. Прежняя, донацистская прогерманская ориентация не была ведь идеологической, и союз даже с очень «реакционной» Германией против «богатых» держав давно принимался как должное армией и большинством в партии. Изменения наступили только тогда, когда гитлеровский фашизм начал выглядеть открытой угрозой Советскому Союзу. После этого начались кампании народного фронта, проводимые Коминтерном, был заключен франко-советский пакт и т. д. Когда эти изменения наступили, они были приняты внутри СССР очень тепло. В стране и в партии новые союзы на государственном и партийном уровнях рассматривались как возможность «поворота направо», примирения с демократией. Тем временем Тухачевский и вообще военные с энтузиазмом работали над настоящей модернизацией армии, чтобы сделать ее способной противостоять не только полякам и туркам, но и высокому потенциалу мобилизованной Германии.

Однако для Сталина все кампании народного фронта и все пакты были результатами не убеждения, а расчета.

Пока и поскольку всякие там убеждения и муки совести были ощутимы в Коминтерне, сталинская свобода действий

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—12; 1990, № 1, 2.

в сближении с немцами была, понятно, ограничена. Ведь идеологические концепции, чувства социалистов были твердо антифашистского характера. Сталину было просто необходимо сокрушить независимые, недисциплинированные мнения в международном масштабе, чтобы иметь возможность торговаться свободно. Есть любопытное сообщение о том, что узники сталинских лагерей уже в 1938 году начали предсказывать возможность нацистско-советского пакта на основании того, какие категории людей арестовывались. Особенно выразительными были аресты зарубежных коммунистов.

Когда в августе 1939 года пакт был заключен, стал виден эффект интенсивной организационной работы и пропагандной кампании в Коминтерне. Во всем мире, с незначительными и временными исключениями, коммунистические партии согласились с переменой фронта и начали разъяснять ее необходимость — иногда в вечерних выпусках тех же самых газет, которые еще утром требовали борьбы до последнего против нацизма. Из руководства иностранных компартий вышли в отставку только отдельные личности.

Еще на XVII партийном съезде в 1934 году Сталин намекал на возможную альтернативу в виде соглашения с Германией: «Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной».

В августе 1935 года иностранный отдел НКВД представил Сталину пессимистический доклад о том, чувствуется ли в Германии стремление к договору с Советским Союзом. Однако есть сведения, что, по словам докладывавшего Сталину сотрудника, это на Сталина не подействовало, и он продолжал считать, что соглашение могло быть достигнуто.

Литвинов был прав. С самого 1936 года, угрожая своей возможной антигерманской политикой, Сталин зондировал почву среди нацистов через своих личных эмиссаров.

В советское посольство в Берлине прибыл под видом «коммерческого атташе» представитель личного секретариата Сталина, его старый прихвостень Давид Канделаки. Он стал деликатно нащупывать почву. В декабре 1936 года Канделаки встретился с Яльмаром Шахтом, чтобы выяснить возможности расширения советско-германской торговли. Шахт ответил, что условием для такого расширения должно быть прекращение коммунистической деятельности в Германии, поддерживаемой из Советского Союза. Канделаки вернулся в Москву, чтобы доложить Сталину, и к началу нового года был составлен письменный проект, предусматривающий открытие переговоров либо через послов, либо, если бы пожелали немцы, по секретным каналам. Проект содержал напоминание немцам, что подобное соглашение уже раньше предлагалось Советским Союзом. 29 января 1937 года Канделаки (он, кстати, позже был арестован и, видимо, умер в лагере) снова нанес визит Шахту совместно с доверенным лицом НКВД Фридрихсоном. Посетители сделали гитлеровскому министру устное предложение, исходившее от Сталина и Молотова, об открытии прямых переговоров. Шахт ответил, что это предложение должно быть передано в германское министерство иностранных дел, и снова добавил, что, по его мнению, следовало бы умерить коммунистическую агитацию. 10 февраля Нейрат советовался с Гитлером по поводу этих предложений и на следующий день написал Шахту, многозначительно заметив, что нет практического смысла вступать с советской стороной в соглашение по поводу прекращения коммунистической пропаганды. Что касается существа дела, Нейрат писал, что в существующей обстановке советские предложения не заслуживают дальнейшей разработки. Если, однако, Россия будет «развиваться далее по линии абсолютного деспотизма, поддерживаемого армией», то контакт определенно надо будет установить.

А тем временем в Советском Союзе шел суд над Пятаковым и другими — суд с резкими антифашистскими обвинениями. Но даже здесь Сталин действовал двойственным образом. Немецкий военный атташе генерал Кестринг, на чье соучастие в заговоре указывали подсудимые, не был даже объявлен «персоной нон грата». Есть сообщения, что решение это было принято под значительным давлением германского правительства. Мягко говоря, любопытное решение!

Пока что сталинский зондаж был бесплодным. Но ведь намек был сделан. Германские руководители имели теперь то преимущество, что им предложили соглашение.

А покуда шли реальные попытки Сталина установить связь с Гитлером, в СССР возводились обвинения в измене на основе контактов между высшим командованием Красной Армии и нацистами — контактов, которых на деле никогда не было.

Если уж говорить о контактах, то в темном мире секретных служб известная степень контакта уже поддерживалась в то время между НКВД и немецкой службой безопасности СД, руководимой Рейнгардтом Гейдрихом.

После подавления германской компартии операции против ее подпольных

остатков стали обыкновенной секретно-полицейской работой. И, как во многих сложных операциях подобного типа, тайная полиция нацистов оставила нескольких подпольных коммунистов нетронутыми, имея в виду поддерживать через них политический контакт. (Во время войны на оккупированных территориях гестапо тоже поддерживало контакт с местными коммунистическими партиями — по крайней мере в первый период, до начала германо-советской войны. Во Франции переговоры с французской компартией достигли стадии обсуждения того, чтобы разрешить выпуск «Юманите». В оккупированной Норвегии на короткое время разрешались коммунистические публикации. Такое же положение существовало в Бельгии.)

Махинации, имевшие целью скомпрометировать высшее командование Красной Армии, начались еще в декабре 1936 года. В начале декабря начальник иностранного отдела НКВД Слуцкий был занят поисками двух агентов, способных с этой целью разыграть роль немецких офицеров. Таковых нашли, их держали наготове в Париже, но, в конце концов, им сказали, что задание откладывается [1].

Среди русских зарубежных организаций, в которые стремились проникнуть как НКВД, так и германская разведка, был РОВС (Российский Обще-Воинский Союз) с главной квартирой в Париже. 22 сентября 1937 года НКВД выполнил специальную операцию — похищение и убийство руководителя РОВСа генерала Миллера. Это, по-видимому, была попытка поставить во главе Союза заместителя Миллера — генерала Скоблина. В течение долгого времени Скоблин работал как с советской, так и с германской секретной службой, и едва ли можно сомневаться, что он был одним из тех связующих звеньев, через которые проходил обмен информацией между службой СД и НКВД. Первый шаг в этом затеянном Сталиным темном деле состоял, по-видимому, в том, что НКВД послал через Скоблина в Берлин версию о том, будто высшее командование Красной Армии и, в частности, Тухачевский, находились в заговоре с германским генеральным штабом.

Хотя в кругах немецкой службы безопасности СД эту версию прямо рассматривали как подброшенную НКВД, Гейдрих решил ее использовать — в первую очередь против германского генштаба, с которым, как указывает английский военный историк Эриксон, служба Гейдриха была в постоянном соперничестве. Итак, для руководителя СД Гейдриха главным во всем деле было скомпрометировать руководство германской армии. Но, по мере развертывания операции, эта

[1] См. W. Krivitsky, p. 237.

сторона дела отошла на задний план и нас теперь не интересует.

В докладе секретаря ЦК польской объединенной рабочей партии В. Гомулки на XIX пленуме ЦК ПОРП мы находим подтверждение того, что к концу 1936 года в самых высших германских кругах, с участием Гитлера и Гиммлера, всесторонне обсуждалась компрометация Тухачевского. Было решено, что это обезглавит Красную Армию и потому попробовать стоит. Как советские, так и западные источники согласны в том, что слух о немецких контактах с Тухачевским был пущен нацистами через президента Чехословакии Бенеша.

Информация поступила к нему еще в последние месяцы 1936 года. Бенеш конфиденциально переслал ее французам, чья уверенность в надежности франко-советского пакта, по словам Леона Блюма, сильно после этого поколебалась. Кроме того, президент Бенеш, как подтверждает несколько советских источников, передал эти сведения Сталину в качестве жеста доброй воли. Гомулка сообщает, что эта ложная информация пришла за некоторое время до сфабрикованного «документального свидетельства», так что предварительные сведения об «измене» были в руках Сталина уже во время февральско-мартовского пленума 1937 года [1].

Подготовка хорошего «документального свидетельства» была поистине художественной работой и потребовала времени. В марте — апреле 1937 года Гейдрих и Беренс (впоследствии возглавлявший СС в Белграде, казненный в 1946 году правительством Тито) приказали сфабриковать фальшивое «досье» в виде писем, которыми германское верховное командование якобы обменивалось с Тухачевским на протяжении года. Как сообщил автору этой книги профессор Эриксон, эту тонкую работу выполнил гравер Франц Путциг, в течение долгого времени работавший на германскую секретную службу и изготовивший для нее немало фальшивых паспортов и других документов. «Досье», подготовленное Путцигом, состояло из 32 страниц, и к одной из них прилагалась даже фотография Троцкого, снятого вместе с немецкими официальными лицами. Существует несколько версий об этой фальшивке, среди них — версия полковника Нойокса, в прошлом одного из подручных Гейдриха. Согласно этой версии, германская секретная служба располагала подлинными подписями Тухачевского, взятыми с тайного соглашения 1926 года между руководством Красной Армии и высшим командованием Рейхсвера. Этим соглашением предусматривалась техническая помощь немцев советскому воз-

[1] См. «Trybuna Ludu», 23 ноября 1961 г. (Доклад Гомулки на XIX пленуме ЦК ПОРП).

душному флоту. Так было изготовлено письмо за подписью Тухачевского, воспроизводившее даже его стиль. На подложном письме были подлинные штампы «абвера» — «Совершенно секретно», «Конфиденциально». Все досье состояло из этого подложного немецкого письма и 15 других немецких документов, столь же фальшивых. Подписи немецких генералов были взяты с их банковских чеков. В начале мая это «досье» было показано Гитлеру и Гиммлеру, после чего вся операция получила окончательное одобрение. По соображениям безопасности служба СД решила не посылать эти документы по чехословацкому каналу, а сумела переслать их прямо Ежову. Наиболее вероятно, что это было сделано через двух захваченных в Германии агентов НКВД и еще какого-то третьего советского представителя, личность которого не выяснена по сей день. Так или иначе, документы были в руках Сталина к середине мая.

Лев Никулин в своей книге «Маршал Тухачевский» дает более или менее то же освещение всему делу, но, по-видимому, считает, как и почти все остальные источники, что немецкая разведка передала документы (фотокопию «досье») Бенешу, а не Ежову [1]. Черчилль согласует обе версии. По его словам, существуют данные, будто НКВД, получив документы от немецкой разведки, перепроводил их чехословацкой полиции, чтобы создать впечатление у Сталина (которому Бенеш их передал), что он, Сталин, получил их из дружественных иностранных рук.

Наличие «документального подтверждения» «измены» военачальников определило окончательную линию поведения властей во время удара по армии. Главным пунктом обвинения стала именно измена, а связи с Троцким и обвинение в терроре, хотя и оставались в деле, отошли на второе место. Уже 20 мая был расстрелян в тюрьме без всякой огласки Дмитрий Шмидт. А сохранение Шмидта в живых было бы необходимо до процесса генералов на случай, если бы главное обвинение против них пришлось строить на троцкизме. Но теперь Дмитрий Шмидт, как связующее звено между военачальниками и Троцким, был уже не важен: имелось ведь более существенное обвинение. И Шмидта ликвидировали.

В тот же самый день в кругах НКВД начали циркулировать панические слухи относительно только что раскрытого заговора. Есть на этот счет сообщение работника НКВД, покинувшего СССР 22 мая: он сообщил, что весь руководящий состав был охвачен паникой [2].

[1] Л. Никулин. Маршал Тухачевский. М., 1964, с. 193. Более подробная версия дается в «Огоньке» № 13, март 1963 г.: Л. Никулин. «Последние дни маршала».
[2] W. Krivitsky, p. 27.

22 мая последовал арест еще одного «участника заговора» — комкора Эйдемана. Его вызвали из президиума московской партийной конференции, проходившей в здании Моссовета, и тут же увезли в НКВД. Через три недели его судили и на следующий же день расстреляли. «Его жизнь,— пишет советский историк Д. В. Панков, пользуясь официальной формулой,— трагически оборвалась 12 июня 1937 года». Официальным поводом к аресту Эйдемана послужило то, что он подписал рекомендацию в партию Корку.

Подобно Якиру, Эйдеман представляется нам противником террора. Весной 1937 года по окончании одного из партийных собраний он тихо заметил своему знакомому: «Сегодня ночью у нас арестован еще один товарищ. Кажется, это был честный человек. Не понимаю...» [1].

Через день или два последовал арест комкора Фельдмана. Мы располагаем сегодня показаниями генерал-лейтенанта Я. П. Дзенига о его последних встречах с Тухачевским. По свидетельству этого офицера, Тухачевский выглядел угрюмо. Он сказал, что узнал сейчас очень плохую новость — арестован Фельдман. По этому поводу Тухачевский с болью сказал: «Какая-то грандиозная провокация!». Разумеется, Тухачевский уже знал, что попал в западню. Когда он, направляясь к новому месту службы в Куйбышев, ехал на вокзал, его шофер посоветовал, чтобы маршал написал Сталину и рассеял очевидные недоразумения. Тухачевский ответил, что он уже написал [2].

Прибыв 26 мая 1937 года в Куйбышев, Тухачевский в тот же вечер произнес короткую речь на окружной партконференции. Один из присутствовавших, хорошо знавший Тухачевского, отметил, что за два месяца, в течение которых он не видел маршала, в волосах Тухачевского пробилась седина.

На следующем заседании конференции Тухачевский уже не появился.

Тухачевского попросили по дороге в штаб округа заехать ненадолго в обком партии. Через некоторое время оттуда вышел бледный Дыбенко (которого Тухачевский должен был заменить на посту командующего округом) и рассказал своей жене, что Тухачевский арестован [3].

О передаче дела Тухачевского в следственные органы другие высшие командиры узнали вечером 28 мая — по официальным, но секретным каналам. Таким образом, ясно, что дальнейшие аресты, после Тухачевского, никак не могли быть громом среди ясного неба.

[1] Д. В. Панкратов в «Вопросах истории КПСС», 1964, № 12 («Солдат революции»).
[2] Л. Никулин, с. 189.
[3] Там же, с. 190.

Следующим на очереди был командарм Уборевич. 29 мая он, по словам дочери, «получил вызов из Смоленска в Москву» и был арестован в Москве сразу же по выходе из вагона. Две недели спустя, 11 июня 1937 года, он предстал перед судом и был расстрелян на следующий же день.

По словам генерала Горбатова, вскоре после ареста Тухачевского «на киевской окружной партконференции... И. Э. Якир, всегда веселый и жизнерадостный, выглядел за столом президиума сосредоточенным и угрюмым». 30 мая Якиру позвонил Ворошилов и приказал немедленно прибыть в Москву на заседание Военного совета. Якир сказал, что может немедленно вылететь самолетом, но Ворошилов велел ему ехать поездом — ясное указание на то, что нарком обороны знал планы НКВД во всех деталях.

В тот же день Якир выехал из Киева поездом, отправившимся в 1 час 15 минут дня. На рассвете 31 мая поезд остановился в Брянске. В вагон вошли работники НКВД и арестовали командарма. Его адъютант Захарченко арестован не был, и Якир смог сообщить через него жене и сыну о том, что он ни в чем не виновен.

У сотрудников НКВД Якир потребовал ордера на арест, а когда ему показали ордер, он попросил дополнительно, чтобы ему показали решение Центрального Комитета. Ему ответили, что этого решения ему придется подождать до приезда в Москву. Командарма бросили в арестантский автомобиль и повезли в Москву со скоростью сто километров в час. На Лубянке его втолкнули в одиночную камеру, сорвав все знаки отличия, ордена и медали.

31 мая было покончено с последним из «заговорщиков». На следующий день было объявлено, что «бывший член ЦК ВКП(б) Я. Б. Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством» [1].

Есть сообщения, что Гамарник покончил с собой не потому, что боялся, что его сделают участником «заговора» Тухачевского, а напротив: ему сказали, что он должен будет стать членом военного суда над арестованными военачальниками. Правда, из тех же источников известна и другая версия: Гамарнику будто бы обещали помилование, если он даст показания против своих коллег [2].

В позднейших советских изданиях сведения о самоубийстве Гамарника также разноречивы. Одно говорит, что он покончил жизнь самоубийством «накануне своего ареста», а другое — что Гамарник

[1] «Правда», 1 июня 1937 г. ...
[2] См. Weissberg. «Conspiracy of Silence», p. 428; Krivitsky, p. 254.

покончил с собой не для того, чтобы избежать ареста, а в знак протеста против террора. Согласно третьему, наконец, 31 мая в пять часов вечера Булин вместе с еще одним командиром посетили Гамарника у него дома, так как он был болен. Они сообщили Гамарнику об аресте Якира и снятии самого Гамарника с поста начальника Политуправления. После того, как они вышли из комнаты, раздались выстрелы, и тут же Гамарника нашли мертвым. Ходили даже слухи, что он не сам покончил с собой, а был попросту убит. Тотчас после его гибели его объявили троцкистом, фашистом и шпионом, а Ворошилов в «приказе № 96» даже разразился против него бранью, назвав его «предателем и трусом» [1].

Тем временем, сидя на Лубянке, Якир писал в Политбюро, требуя немедленного освобождения или встречи со Сталиным. Вместо всего этого ему устроили жестокий девятидневный допрос, в ходе которого объявили, что все «якировское гнездо» теперь арестовано. Обвинение, выдвинутое против Якира, было настолько серьезно, что в сравнении с ним весь прежний «сценарий», признания которого так добивались ежовские следователи от Шмидта, выглядел кустарной стряпней. Обвинение гласило «гитлеровский шпион» и состояло теперь в связях с нацистами, а не просто в троцкизме и терроризме.

Якир послал письмо Сталину, заверяя его в своей полной невиновности. Он писал:

«Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной, честной работе на виду партии и ее руководителей... Я честен каждым своим словом, я умру со словами любви к Вам, к партии и стране, с безграничной верой в победу коммунизма». По свидетельству А. Н. Шелепина: «На этом письме Сталин начертал: „Подлец и проститутка“». Ворошилов добавил: «Совершенно точное определение». Молотов под этим подписался, а Каганович еще приписал: «Предателю, сволочи и... (дальше следует хулиганское нецензурное слово) одна кара — смертная казнь».

В начале июня проходило расширенное заседание Военного совета совместно с членами правительства. То самое заседание, на которое был приглашен Якир, не зная еще, что на повестке дня стоял «один вопрос — о раскрытии контрреволюционной военной фашистской организации». Выступил сам Сталин.

Замечательно, что теперь, после всех трудов и всей изобретательности, вложенных в получение немецкого «досье» против обвиняемых, Сталин об этом «досье»

[1] «Правда», 13 июня 1937 г.: «Приказ Народного комиссара обороны СССР № 96 от 12 июня 1937 г.».

даже не упомянул. Вместо этого, «в своем выступлении, а затем в многочисленных репликах, ссылаясь па сфабрикованные показания репрессированных военных деятелей, он требовал полностью ликвидировать не существовавший в Вооруженных Силах „заговор" и его последствия и, по сути дела, призывал к избиению военных кадров. Кроме того, он также выдвинул обвинение против еще целого ряда командиров, включая начальника штаба противовоздушной обороны командарма Седякина, начальника академии Генерального штаба комдива Кучинского и начальника Политуправления Ленинградского военного округа И. Е. Славина»[1]. Что касается «досье», то оно, по-видимому, имело хождение лишь в очень узком сталинско-ежовском кругу, служа основанием для создания заданной атмосферы срочности и паники. Весьма возможно, что Сталин применил это немецкое «досье», «чтобы приказать судьям вынести смертный приговор Тухачевскому»[2]. Возможно, что судьи, или кто-то из них, действительно видели документ или слышали о нем. Но никакого официального отражения это обстоятельство не нашло. Вероятнее всего Сталин решил, что теперь может обойтись без сомнительного «документа» и что испытанная система признаний обвиняемых может дать нужные свидетельства. Ведь было бы неловко, если бы даже на закрытом суде кто-либо из обвиняемых командиров смог разоблачить фальшивку по какому-нибудь пункту, не замеченному Ежовым. Хотя «документы» и были искусными подделками, они все-таки не полностью соответствовали тонкому чувству нюансов, характерному для Сталина.

Одна из неудовлетворительных подробностей заключалась, например, в том, что из всех военачальников «досье» уличало одного Тухачевского. Другая любопытная деталь: по имеющимся сведениям, в «досье» упоминался в качестве участника переписки бывший посол СССР в Берлине, а затем в Париже — Суриц; по игре судьбы Суриц оказался одним из весьма немногих советских послов, переживших террор невредимыми.

Во всяком случае ясно, что скорострельный суд признал обвиняемых виновными на основании устных заявлений Сталина на Военном совете без привлечения «досье» в подтверждение выдвинутых обвинений в связях с немецкой разведкой. В обвинительном заключении по делу Бухарина сказано также, что вина подсудимых подтверждается «материалами не только настоящего следствия, но и материалами судебных процессов, прошедших в разных местах в СССР, и, в частности, судебных процессов по делу группы военных заговорщиков — Тухачевского и других, осужденных Специальным присутствием Верховного суда СССР 11 июня 1937 года». На этом суде вообще выдвигались различные обвинения против военных, но все они появлялись в ходе показаний обвиняемых, и никакие «материалы» суда над военными представлены не были.

По сообщению «Правды» от 12 июня 1937 года, в состав суда, рассматривавшего за закрытыми дверями 11 июня дело военачальников, входили, в дополнение к председателю Ульриху, маршалы Блюхер и Буденный, командармы Шапошников, Алкснис, Белов, Дыбенко и Каширин, а также комкор Горячев. Из этого списка лишь Ульрих да Буденный пережили весь террор. Согласно Советской исторической энциклопедии, Каширин умер 14 июня 1938 года, и обстоятельства его смерти не совсем ясны. Комкор Горячев тоже вскоре умер, и можно полагать, что его смерть была естественной. На Западе высказывалось предположение, что в состав суда должен был входить также маршал Егоров, однако в окончательном списке его имя так и не появилось. Имеются также непроверенные сообщения, что один из членов суда — Алкснис — сам находился под арестом до процесса. Это чрезвычайно правдоподобно, т. к. БСЭ (3-е изд., т. 1, 1970, стр. 444) датирует его смерть (вероятно, казнь) 29 июля 1938 года.

Последние дни жизни генералов и сам суд над ними окутаны таким плотным покровом тайны, что и сегодня в этом покрове видны лишь отдельные просветы. Например, долго и упорно говорилось, что никакого суда вообще не было. Два наиболее крупных советских офицера, перешедших на Запад перед войной,— Орлов из НКВД и Бармин из армии — люди хорошо информированные и высокопоставленные, определенно придерживались такой точки зрения, и в целом с их мнением согласились лучшие западные специалисты.

С другой стороны, советский автор Дубинский пишет, что «это был формальный суд», на котором Ульрих, обращаясь к Якиру, разглагольствовал о том, как во время его, Якира, визита в Берлин сопровождавший его немецкий офицер якобы завербовал командарма на службу к Гитлеру. Далее сообщается, что Якир все это с презрением отрицал.

Автор книги о Тухачевском Лев Никулин писал: «Суд состоялся при закрытых дверях... По некоторым совпадающим сведениям Тухачевский, обращаясь к одному из обвиняемых, который давал показания о его связи с Троцким, произнес такую фразу: „Скажите, это вам не снилось?". По другим сведениям он сказал: „Мне кажется, я во сне"».

В этом отрывке дается понять, что, представ перед судом, Тухачевский так же, как Якир, ни в чем не признался, но что кто-то из обвиняемых все-таки давал нужные показания. У Дубинского мы находим утверждение, что Якир, Тухачевский, Уборевич и другие отрицали перед судом выдвинутые против них «обвинения в преступлениях, предусмотр. ст. ст. 58-1б, 58-8 и 58-11 УК РСФСР», как гласит официальное сообщение в «Правде» 12 июня 1937 года — обвинения («в шпионаже и измене родине»), также официально признанные «клеветническими» много лет спустя.

Приговор исполнили немедля, в двадцать четыре часа. В «Правде» 13 июня напечатано следующее официальное сообщение: «Вчера, 12 сего июня, приведен в исполнение приговор Специального судебного присутствия Верховного суда СССР в отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания — расстрелу: Тухачевского, М. Н., Якира, И. Э., Уборевича, И. П., Корка, А. И., Эйдемана, Р. П., Фельдмана, Б. М., Примакова, В. М. и Путны, В. К.».

О всех командирах, поименованных в опубликованном приговоре, и сейчас официально говорится, что они «предстали перед закрытым Специальным присутствием Верховного суда СССР». Но вполне возможно, что они предстали перед одним Ульрихом. Эренбург, однако, в своих воспоминаниях приводит слова командарма Белова о том, что «они вот так сидели — напротив нас, Уборевич смотрел мне в глаза».[1] Однако в любом случае военные «судьи» не имели никакого голоса, и поэтому заслуживает доверия версия, что их подписи появились под приговором уже после казней, во время их встречи с Ежовым. Как бы то ни было, но даже только из сегодняшних официальных сведений о судьбе Якира совершенно ясно, что суд, если и был, носил весьма поверхностный, формальный характер. Хотя командарма и допрашивали девять дней подряд перед судом, времени для подготовки процесса, даже по сталинским стандартам, определенно не осталось.

Сведения о том, как погибли осужденные командиры, весьма разноречивы. Говорят, например, что они были расстреляны во дворе здания НКВД на улице Дзержинского, № 11, средь бела дня, причем мощные грузовики НКВД включили моторы на полную мощность, чтобы заглушить шум выстрелов; что расстрелом командовал бледный и потрясенный маршал Блюхер. А в качестве командира отделения палачей, расстрелявших генералов, называют Ивана Серова, в то время молодого офицера, недавно переведенного из армии в НКВД в порядке проводимой Ежовым замены старых кадров. Позже Серов возглавлял КГБ (до 1958 г.), а потом, до 1964 года, был руководителем советской военной разведки.

На XXII съезде партии Хрущев сказал, что «...в момент расстрела Якир воскликнул: „Да здравствует Партия! Да здравствует Сталин!"... Когда Сталину рассказали, как вел себя перед смертью Якир, Сталин выругался в адрес Якира».

Этот возглас «Да здравствует Сталин!» Хрущев представил в виде простого случая политической преданности. Однако генералы не были так наивны, чтобы думать, что Сталин не нес никакой ответственности за их судьбу. Якир был старым коммунистом, вполне способным вести политическую деятельность даже в момент смерти. Вернее, он придерживался программы, сочетавшей поддержку Сталина с обвинениями против НКВД. Это была программа, способная мобилизовать наибольшее число сил для противодействия террору, и вполне можно думать, что Якир хотел показать: те, кто сопротивлялся террору на февральско-мартовском пленуме, не хотели свергать генерального секретаря — они только старались выработать антиежовскую платформу.

Но, кроме того, мы знаем, что Якир все время думал о своей семье, и это тоже вынуждало его вести себя определенным образом. Если бы он в последние секунды жизни выказал сопротивление Сталину или произнес оскорбление по его адресу, это было бы явно не в интересах оставшихся в живых членов его семьи. За день до смерти в письме к Ворошилову Якир просил за свою семью:

«К. Е. Ворошилову. В память многолетней в прошлом честной работы моей в Красной Армии я прошу Вас поручить посмотреть за моей семьей и помочь ей, беспомощной и ни в чем не повинной. С такой же просьбой я обратился к Н. И. Ежову. Якир, 9 июня 1937 г.».

На этом письме Ворошилов пометил: «Сомневаюсь в честности бесчестного человека вообще. К. Ворошилов. 10 июня 1937 года».

Попытка Якира спасти членов своей семьи от преследований была безуспешной. Его жена, «верный помощник на протяжении двадцати лет», была немедленно сослана в Астрахань вместе с сыном Петром, причем их паспорта были конфискованы. В городе на Волге они повстречались с семьями Тухачевского, Уборевича, Гамарника и других. Дед молодого Петра Якира прятал газеты с обвинениями против командарма от его жены, и она увидела их только тогда, когда в Астрахани ей показала газеты жена Уборевича.

В этих газетах было опубликовано

[1] Ю. П. Петров. «Партийное строительство в Советской Армии...», с. 300.

[2] Л. Никулин в «Огоньке» № 13, март 1963 г. («Последние дни маршала»). В книге Никулина этого места нет.

сфабрикованное письмо от жены Якира, содержавшее отречение от мужа. Она обратилась, пишет ее сын Петр, «в Астраханское управление НКВД и заявила протест. Ей предложили „если она хочет" написать опровержение. Но мы с дедом уговорили ее „не биться головой о стену" — опровержение все равно останется гласом вопиющего в пустыне».

В начале сентября жену Якира арестовали. Несколько позже она была ликвидирована вместе с братом Якира, с женой другого брата, сыном жены этого другого брата и другими родственниками [1]. Двоюродная сестра Якира была приговорена в 1938 году к десяти годам заключения. Четырнадцатилетний сын Петр был послан в детприемник. Через две недели ночью сотрудники НКВД забрали его оттуда, и он провел «много лет» в лагерях и тюрьмах. Сын Якира рассказывает, как в одном из каргопольских северных лагерей Архангельской области встретил адъютанта отца и узнал от него всю историю ареста командарма. На XXII съезде партии Хрущев рассказал, как Петр Якир подошел к нему во время его поездки в Казахстан. «Он спрашивал меня о своем отце. А что я ему мог сказать?» Между тем в дни ареста и казни Якира Хрущев выражался о нем, как о «выродке, намеревавшемся открыть дорогу немецким фашистам».

Жена Уборевича была сослана в Астрахань 12 июня. Она скрывала от своей дочери обвинения, выдвинутые против мужа,— дочери еще не было тринадцати лет. Девочка узнала обо всем от маленького Пети Якира. 5 сентября жена Уборевича была арестована НКВД. Она передала своей дочери фотографию, и больше они не виделись. Через 19 лет, в 1956 году, дочь узнала, что ее мать умерла в 1941 году.

Дочь Уборевича поместили в детприемник, где она встретилась с другими девочками — с Ветой Гамарник, Светланой Тухачевской и Славой Фельдман. 22 сентября детей изъяли из детприемника и направили в детские учреждения НКВД.

У Тухачевского была большая семья. Двенадцатилетняя дочь маршала повесилась или сделала попытку покончить с собой после того, как другие дети стали оскорблять ее из-за отца.

Судьба других членов семьи Тухачевского рассказывается различно. По одной версии Льва Никулина, «по приказанию Сталина были физически уничтожены мать маршала Тухачевского, его сестра Софья, его братья Александр и Николай. Три сестры были высланы в лагеря, дочь, когда она достигла совершеннолетия, тоже была выслана». Речь идет о Светлане, которой в момент смерти отца было одиннадцать лет; в возрасте семнадцати лет ее приговорили к пяти годам заключения как социально опасную; есть более поздние сообщения, что ее встречали в лагере Котласа вместе с дочерью Уборевича. По другой версии того же Никулина, «физически уничтожены» были братья Тухачевского и его жена Нина Евгеньевна. Мать же и сестра Софья «умерли в ссылке».

Две бывшие жены Тухачевского, вместе с супругой Фельдмана, были отправлены в специальное лаготделение для членов семей «врагов народа» в Потьме в 1937 году. Дисциплина в этом лагере была строгой, но условия жизни сравнительно сносные. Позже, однако, женщин перевели в другой лагерь. Еще одна сестра маршала объявила, что просит разрешения переменить фамилию. Из всей семьи Тухачевского выжили одна дочь и три сестры — они присутствовали на вечере, посвященном памяти расстрелянного маршала, в Военной академии им. Фрунзе в Москве в январе 1963 года.

Жены Гамарника и Корка были расстреляны.

1937—1938

В то время как под аккомпанемент широкой кампании публичных оскорблений происходили казни лучших военачальников Красной Армии, Сталин и Ежов нацелили НКВД на весь командный состав Красной Армии. 1 июля 1937 года были расстреляны комкоры Гарькавый и Геккер [1]. Были также расстреляны двадцать более молодых командиров в одном только Московском военном округе. Было арестовано почти все командование Кремлевской военной школы. Маршал Бирюзов так описывает свой приезд в штаб Иркутской дивизии, куда он получил в то время назначение по окончании Военной академии им. Фрунзе: «Прибыв в дивизию, штаб которой располагался в Днепропетровске, я застал нечто невообразимое. Еще в военной комендатуре железнодорожного вокзала мне было сообщено, что в данный момент в дивизии „начальства-то, по существу, нет": командир, комиссар, начальник штаба, начальники служб — все арестованы». Волна арестов прокатилась по Военной академии, которой до казни командовал Корк. Начальник политотдела академии Неронов был арестован как шпион. На некоторое время академию принял Щаденко. Не проходило дня без ареста кого-нибудь из сотрудников, почти все преподаватели

[1] См. «Казахстанскую правду», 15 октября 1963 г. (см. прим.[2]).

[1] См. Сов. ист. энциклопедию, т. IV, с. 116 и 180—181; о Геккере см. также «Военно-исторический журнал», 1966, № 5. В 3-м издании БСЭ, 1971 г., дата его смерти дана годом позже — 1 июля 1938 г. Быть может, это опечатка.

были арестованы. Командарм Вацетис читал лекцию слушателям академии. После первого часа лекции полагалась короткая перемена. Когда перемена кончилась, комиссар курса объявил: «Товарищи! Лекция продолжаться не будет. Лектор Вацетис арестован как враг народа».

Слушателей академии тоже хватали целыми пачками. «В служебных и партийных характеристиках появился обязательный пункт об активности в борьбе с врагами народа». Рекомендация Гамарника была достаточным основанием для репрессий. Репрессировались и те слушатели — а их было множество,— которые пришли в академию из соединений, где были арестованы командиры.

То же самое творилось и на периферии. В Киевском военном округе около этого времени было арестовано 600—700 командиров из «Якирова гнезда». Генерал армии Горбатов вспоминает:

«Вскоре в Киевский военный округ прибыло новое руководство. Член Военного совета Щаденко [1] с первых же шагов стал подозрительно относиться к работникам штаба. Приглядывался, даже не скрывая этого, к людям, а вскоре развернул весьма активную деятельность по компрометации командного и политического состава, которая сопровождалась массовыми арестами кадров. Чем больше было арестованных, тем труднее верилось в предательство, вредительство, измену. Но в то же время, как этому было и не верить? Печать изо дня в день писала все о новых и новых фактах вредительства, диверсий, шпионажа...».

Сохранился рассказ советского воентехника И. Т. Старинова, входившего в число тех, кто под руководством Якира (и Берзина) готовил засекреченные партизанские базы и обучал будущих партизан на Украине. В 1937 году все они были арестованы по обвинению «в неверии в мощь социалистического государства и подготовке к враждебной деятельности в тылу советских армий». Старинова «допрашивали о выполнении заданий Якира и Берзина по подготовке банд и закладке для них оружия», как сформулировал это Ворошилов. (Эти партизанские базы были уничтожены, а они, кстати сказать, очень пригодились бы в 1941 году, когда можно было бы воспользоваться ими вместо того, чтобы делать неудачные попытки их наново восстановить.)

Командир 7-го кавалерийского корпуса Григорьев был вызван в партийную комиссию Киевского военного округа, где ему предъявили обвинение в связях с врагом. Затем ему позволили вернуться к исполнению обязанностей и лишь на следующий день арестовали. Как мы видим, НКВД уже не чувствовал необходимости арестовывать старшего офицера немедленно после того, как обвинение делало его обреченным. НКВД, стало быть, не очень боялся каких-либо отчаянных действий со стороны военных, как об этом иногда говорят.

Террор не миновал даже ветеранов в отставке. Известно, что в Киевской внутренней тюрьме допрашивали генерала Богатского, известного героя гражданской войны. В свое время белые изувечили жену Богатского, ослепили его сына, а сам генерал потерял в бою правую руку. Теперь этого человека, которому было уже за шестьдесят, пытали новые палачи. Они прикололи ему к груди булавкой нацистскую свастику, вылили ему на голову плевательницу, пытаясь добиться признания, что генерал готовил покушение на Ворошилова [1].

Командование Белорусским военным округом после казни Уборевича принял его «судья» командарм Белов. Но как только он прибыл в Минск, и у него начались тяжелые неприятности. 15 июля был арестован комкор Сердич (командир югославского происхождения), как принадлежавший к "гнезду Уборевича". Белов предпринял неблагоразумную попытку защитить Сердича, но уже 28 июля комкора расстреляли.

Пока что Белова не тронули, и он продолжал беспомощно взирать, как шла дальнейшая бойня среди его подчиненных.

«Самые доверенные»

В начале июня 1937 года Сталин выступил с речью на заседании Военного совета совместно с членами правительства и снова сурово обрушился на «врагов народа» [2].

Политуправление армии, до недавнего времени возглавлявшееся Гамарником, понесло от террора наибольшие потери. Высшие руководители управления были взяты поголовно. 28 мая был смещен со своего поста заместитель Гамарника А. С. Булин. Его перевели с понижением на должность начальника Главного управления кадров, а осенью того же, 1937 года арестовали. Другой заместитель Гамарника Г. А. Осепян и почти все начальники политуправлений и большинство членов военных советов округов были также арестованы.

1 июня 1937 года за политические ошибки был снят с должности, а затем

[1] Щаденко заменил на этом посту М. П. Амелина, который вскоре, 8 сентября 1937 г., был расстрелян. (См. «Укр. Ист. Журнал» № 6, 1963).

[1] Wéissberg, p. 422—423.

[2] См. Ю. П. Петров, с. 299—300 (в Собр. соч. Сталина этого выступлеаия иет).

арестован начальник Военно-политической академии в Ленинграде Иппо. Перед этим, в апреле, начальник академии подвергся критике. В 1967 году известный советский журналист Эрнст Генри (С. Н. Ростовский) в своем письме к Эренбургу перечислил количество жертв среди высших политработников Красной Армии по званиям: погибли все 17 армейских комиссаров, 25 из 28 корпусных комиссаров, а из 36 бригадных комиссаров террор пережили только двое.

Тяжелые потери отмечались также на уровне соединений и частей. За два месяца после июньского (1937) заседания Военного совета «в 5-ой механизированной бригаде Белорусского военного округа, например, было уволено из армии 25 командиров и политработников, столько же представлено к увольнению. Из уволенных девять командиров и политработников было арестовано. Среди арестованных — пять комиссаров батальонов из имевшихся шести в бригаде. Все эти пять комиссаров были исключены из партии, шестому по партийной линии был объявлен строгий выговор с предупреждением; кроме того, в бригаде были исключены из партии и арестованы комиссар и начальник политотдела» [1]. Ю. П. Петров говорит тоже и о «тысячах руководящих работников армии и флота», репрессированных в том же году.

В декабре 1937 года было утверждено назначение Л. З. Мехлиса на пост начальника Главного политического управления РККА. Мехлис известен как один из самых злобных и неприятных сталинских подручных. До своего нынешнего армейского назначения он был главным редактором «Правды», но в годы гражданской войны служил политическим комиссаром в армии. Уже тогда Мехлис изгнал из армии и арестовал многих политработников за связь с так называемой «антипартийной белорусско-толмачевской группировкой». Эта группировка на деле ратовала за укрепление политического контроля в армии. Но для Мехлиса всякая группировка старших политических комиссаров, занимавших в двадцатых годах критическую позицию по отношению к партии, была уже преступно независимой, безотносительно к ее программе. Мехлис теперь настоял на том, чтобы люди, в свое время защищавшие этих комиссаров, как, например, начальник политуправления Белорусского военного округа И. И. Сычев, разделили судьбу этой «шпионской банды».

К началу 1938 года количество политработников в вооруженных силах составляло всего одну треть штатного расписания. Поскольку на своих постах находилось 10 500 человек, можно сделать вывод, что по меньшей мере 20 000 политработников были арестованы или погибли — «по меньшей мере» — ибо здесь не приняты в расчет замены, которые уже могли быть сделаны. Пропорционально, в сравнении с 1934 годом, число политработников, закончивших военно-политические училища, сократилось вдвое. Таким образом, можно полагать, что из 10 500 наличных политработников по меньшей мере 5000 были необученными новичками. По свидетельству Ю. П. Петрова, в том же 1938 году «более одной трети всех партийно-политических работников не имело никакого политического образования».

[1] См. Ю. П. Петров, с. 300.

Количество членов партии в вооруженных силах сократилось вдвое. На XVII съезде партии Ворошилов сообщил, что 25,6 % личного состава армии были партийцами. К февралю 1935 года численность всей армии составляла примерно миллион. Потери среди армейских коммунистов составляли, таким образом, около 125 тысяч.

Командиры сухопутные

Повсюду — за исключением пока что Дальнего Востока — террор бил по всей командной структуре армии. Стали исчезать высшие командиры, только что назначенные на посты для заполнения образовавшихся вакансий.

В ноябре 1937 года заседал военный совет Кавказского военного округа. Новый командующий округом Н. В. Куйбышев (брат покойного члена Политбюро) критиковал репрессии в армии, как снижающие уровень боевой готовности. Вскоре после этого он был арестован. Та же судьба постигла командующих военными округами во всем Советском Союзе. К лету 1938 года все без исключения, кто занимал этот пост в июне 1937 года, бесследно исчезли. Точно так же исчезали все одиннадцать заместителей наркома обороны в Москве.

Военно-воздушные силы, бронетанковые и мотомеханизированные войска понесли особенно тяжелые потери. На осенних маневрах 1936 года западные военные атташе отмечали, что командовавший бронетанковыми силами Халепский, руководившие военно-воздушными силами Алкснис и его заместитель Хрипин производили отличное впечатление. Халепский был сначала переведен в Наркомат связи, затем, в 1937 году, арестован. Он погиб в 1938 году.

Командарм Алкснис был самым молодым в группе Тухачевского, он едва достиг сорока. Поддерживаемый комкором Тодорским, тогдашним начальником Военно-воздушной академии, он прилагал максимум усилий, чтобы спасти своих

подчиненных от преследований НКВД. Еще 13 ноября 1937 года имя Алксниса значилось в избирательных списках, а третье издание Малой советской энциклопедии утверждает, что до 1938 года он — начальник ВВС РККА. Но по всем данным выходит, что уже в последние дни 1937 года Алкснис был под арестом вместе с Хрипиным и Тодорским. По свидетельству бывшего полковника ВВС Г. А. Токаева, Алксниса пытали и приговорили к каторжным работам, но потом расстреляли.

Тодорский, арестованный весной 1938 года, был приговорен в мае 1939 года к пятнадцати годам заключения. Он выжил и в 1953 году был освобожден.

Исключительное коварство НКВД хорошо иллюстрируется событием из личного опыта генерала Горбатова, нашедшим отражение в его мемуарах. Вот, например, эпизод о том, как Горбатов понял, что над ним снова, уже вторично, нависла угроза. Временно назначенный командовать 6-м кавалерийским корпусом, он отправился в командирский магазин за получением зимнего обмундирования и обнаружил, что туда пришла телеграмма заместителя командира корпуса по политчасти Фоминых, находившегося в тот момент в Москве, требующая «воздержаться от выдачи Горбатову плапового обмундирования». За телеграммой последовал приказ об увольнении Горбатова в запас. Он сразу же отправился в Москву, «чтобы выяснить причину», и был арестован. Жена никак не могла узнать, что с ним случилось. Никто не говорил ей об аресте мужа до тех пор, пока в коридоре командирского общежития Красной Армии одна девушка не шепнула ей об этом.

В мемуарах Горбатова есть короткие сведения о допросах. На Лубянке с ним обращались сначала мягко, но на пятый день начались угрозы и нажим. В камере с ним вместе сидело семеро других подследственных, и все они уже «признались». Затем Горбатова перевели в Лефортовскую тюрьму, где он сидел в камере-одиночке вместе с другими двумя заключенными. Там, на четвертом допросе, его начали пытать и потом пытали еще пять раз с интервалом в два-три дня. После пыток его, кровоточащего от избиений, бросали обратно в камеру. Затем ему дали двадцатидневную передышку, и снова пять долгих допросов с пытками. От Горбатова не добились никаких признаний, и 8 мая 1939 года суд, длившийся четыре или пять минут, приговорил его к пятнадцати годам заключения с последующим поражением в правах на пять лет.

Имеются сведения еще об одном командире, не подписавшем никаких признаний. В прошлом он был революционным балтийским моряком, и после всевозможных допросов его оправдали, выпустили и дали гражданскую работу. Однако через шесть месяцев он был арестован вновь, и судьба его неизвестна.

Однако, как сообщил на XXII съезде партии Хрущев, «много замечательных командиров и политических работников Красной Армии» дали нужные показания: «Их „убеждали“, убеждали определенным способом в том, что они или немецкие, или английские, или какие-то другие шпионы. И некоторые из них признавались даже в тех случаях, когда таким людям объявляли, что с них снимается обвинение в шпионаже, они уже сами настаивали на своих прежних показаниях, так как считали, что лучше уж стоять на своих ложных показаниях, чтобы быстрее кончились истязания, чтобы быстрее прийти к смерти».

Один командир дивизии, например, показал, что он «завербовал» всех командиров в своей дивизии до командиров рот включительно. Подобных примеров можно привести множество.

Вполне естественно, что между НКВД и армией существовало соперничество во многих областях (то обстоятельство, что НКВД располагал собственными крупными вооруженными силами, само по себе действовало на армию раздражающе). Но НКВД особенно нетерпимо относился к тому, что сеть советской военной разведки за рубежом работала в известной степени независимо от иностранного отдела НКВД, и всячески старался забрать ее в свои руки. Когда Тухачевский был арестован, НКВД получил полный контроль над этой сетью. Почти все военные агенты были вызваны в Москву из-за границы и расстреляны. С. П. Урицкий, с 1935 года занимавший пост начальника Разведупра РККА, был арестован в ночь на 1 ноября 1937 года и «вскоре погиб» [1].

Предшественником Урицкого на этом посту с 1920 по 1935 год был Я. К. Берзин. По происхождению латыш, Берзин в 1919 году кратковременно занимал пост в советском латвийском правительстве. После передачи дел Урицкому в 1935 году он был послан в Дальневосточную армию. Оттуда Берзин попал в Испанию, став фактически командующим республиканской армией под псевдонимом Гришин. Берзин не ладил с сотрудниками НКВД и по возвращении из Испании был расстрелян (по-видимому, 29 августа 1938 года) [2].

Командир интернациональной бригады в Испании «генерал Клебер» (советский командир, замаскированный под канадца,

[1] См. «Красную Звезду», 2 марта 1965 г. (К 70-летию со дня рождения Урицкого).
[2] БСЭ, 3-е изд., 1970, т. III.

чтобы соблюсти международный декорум) был арестован и, по-видимому, казнен прямо в Испании.

Комбриг Горев (Скоблевский) прославился в битве за Мадрид. По возвращении в СССР он был удостоен высоких почестей. «А полгода спустя героя Мадрида оклеветали, и он погиб в Москве» [1]. Есть сведения, что Скоблевского арестовали через два дня после вручения ему ордена Ленина.

Среди советских военных, побывавших в Испании во время гражданской войны, дальнейшими жертвами были старший военный советник в Испании «Григорович» — Штерн, в дальнейшем получивший звание командарма на Дальнем Востоке, и выдающийся советский летчик «Дуглас», впоследствии командовавший советскими военно-воздушными силами под именем генерал-лейтенанта Смушкевича. Оба они были расстреляны в 1941 году.

Маршал Р. Я Малиновский, тоже сражавшийся в Испании, рассказывает, как он не подчинился двум приказам возвратиться в Советский Союз. Третий приказ возвратиться пришел уже с угрозой, что Малиновского будут считать невозвращенцем [2]. После этого Малиновский вернулся в Москву — по счастью, тогда, когда худший период террора был уже позади. Как известно, маршал Малиновский благополучно пережил террор и позже, до самой своей смерти, занимал пост министра обороны.

Не очень везло и советским гражданским лицам, побывавшим в Испании. Антонов-Овсеенко, занимавший деликатный пост советского генерального консула в Барселоне, погиб так же, как и советский посол в республиканской Испании Розенберг. Преступление Розенберга состояло в попытке организовать обмен пленными с Франко. Сталин всегда рассматривал подобные попытки как подозрительные, и, когда югославские партизаны начали аналогичные переговоры с германским командованием на Балканах, в Москве реагировали резко отрицательно.

Шторм во флоте

Во флоте бушевал тот же шторм, что и в армии. Из восьми человек, носивших к началу террора высшее флотское звание флагмана 1-го ранга, не выжил ни один. Первой жертвой пал тот, кого считали мозгом флота,— флагман Р. А. Муклевич.

[1] И. Эренбург. Собр. соч., М., т. 9, 1967, с. 139 («Люди, годы, жизнь», кн. 4, гл. 21) и «Новый мир», 1962, № 5.

[2] Маршал Р. Я. Малиновский в сборнике «Под знаменем Испанской республики», М., 1965, с. 190.

Приятный, крепкого вида человек, Муклевич был старым большевиком с совершенно исключительной биографией. Он родился в 1890 году, шестнадцати лет вступил в партию и в тяжелые годы после провала революции (1907—1909), все еще безусым юношей, руководил партийной организацией Белостока. В 1912 году Муклевича призвали в императорский флот, где он до самой революции вел военно-партийную работу. Во время гражданской войны он служил в штабах различных армий и фронтов, в 1921 году занимал пост заместителя начальника Военной академии, затем до 1925 года служил в военной авиации и, наконец, в 1926—1927 годах фактически руководил флотом. Позже, в качестве руководителя советского судостроения, Муклевич играл ведущую роль в модернизации флота. Ясное понимание задач и скромная деловитость сделали Муклевича естественным и желанным сотрудником группы Тухачевского.

Муклевич был арестован в мае 1937 года. Открытого суда над ним не было — не было ведь вообще объявлено ни о каких процессах над руководителями флота. Однако на XVIII съезде партии в 1939 году Муклевич и бывший командующий советским флотом флагман Орлов были названы пособниками Тухачевского. Нападки на них, в отличие от клеветы на армейских командиров, особо касались их стратегических концепций. В своем выступлении на XVIII съезде партии нарком судостроения И. Т. Тевосян заявил, что «враги народа — агенты фашизма Тухачевский, Орлов и Муклевич и прочая фашистская мерзость — старались доказать, что нам не нужен мощный надводный флот», и что только их удаление с постов позволило начать его отстройку. Стоит отметить, что эта химера отвлекла значительную часть советских усилий на безнадежные и бесполезные попытки создать военный флот, способный соперничать с флотами главных морских держав.

Сегодня есть все основания полагать, что на самом деле Муклевич исходил из реалистической оценки имевшихся возможностей и предлагал, основываясь на имевшихся советских ресурсах, строить флот ближнего действия и защитного характера. А Сталин желал иметь крупные боевые единицы дальнего действия, пригодные для нападения; он «обещал строго наказывать любого, кто будет возражать против тяжелых крейсеров» [1]. Когда пришла война, советский флот потерял контроль в основных морях, и Муклевич оказался посмертно прав — руководители советского флота втихомолку приняли его концепции, хотя в этом и не признавались.

[1] Н. Г. Кузнецов в «Октябре», 1965, № 11 («Перед войной»), с. 143.

Однако эти расхождения не были, конечно, главной причиной террора во флоте. Причины были те же, какие привели к террору в армии и во всей стране. Дело было не в том, что технические разногласия решались с помощью казней, а в том, что технические разногласия использовались для оправдания казней. Есть сведения, что Муклевич дал требовавшиеся от него показания после недели жестоких пыток в Лефортовской тюрьме и погиб 7 февраля 1938 года.

Вслед за Муклевичем пали командующий Военно-морскими силами флагман 1-го ранга Орлов, командующий Балтийским флотом флагман Сивков и командующий Черноморским флотом флагман Кожанов. Орлов был арестован в ноябре 1937 года. Однако от командования флотом он был отстранен еще в июне, после чего его обязанности исполнял командующий Тихоокеанским флотом флагман Викторов, который сам вскоре пал жертвой террора.

Вместе с руководителями флота погибло большое количество их подчиненных.

По самой своей природе флот предоставлял возможность контакта, по крайней мере теоретически, с иностранцами. Советские военные корабли наносили визиты вежливости в другие страны. Они крейсировали в международных водах. Во время второй мировой войны эти подозрительные обстоятельства еще значительно усилились, так как советские корабли сотрудничали с британским Королевским флотом в Мурманске и при проводке в Мурманск союзных морских конвоев вокруг Скандинавии. В повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» выведен военный моряк Буйновский — «кавторанг». Он провел целый месяц на британском крейсере как офицер связи. «И еще, представляете, после войны английский адмирал, черт его дернул, прислал мне памятный подарок: „В знак благодарности“. Удивляюсь и проклинаю!.. И вот — всех в кучу одну...».

Подобная атмосфера была создана во флоте еще гораздо раньше. Контр-адмирал Исаков рассказывает историю своего знакомого, флаг-офицера Озаровского, который однажды потерпел крушение, плывя на своей маленькой парусной лодке недалеко от Кронштадтского берега. Его заметил проходивший норвежский пароход и спустил шлюпку. Озаровский, однако, отказался от помощи, хотя его положение было отчаянным. И дальше Исаков описывает, что думал и чувствовал в то время Озаровский. Он полагал, что его все равно спасут: хотя заметить его самого с берега было нельзя, иностранный пароход, зашедший в запретную зону, должны были заметить моментально. И послать наперерез ему катер. Так оно и случилось. Офицера подобрали и отправили в госпиталь, где Исаков его навестил. Исаков спросил Озаровского, почему тот не хотел, чтобы его подобрал норвежец и доставил в Ленинград. Озаровский ответил так: «Мне пришлось бы писать объяснение: когда и как было задумано это рандеву с иностранными агентами, что именно и за сколько я продал из наших оперативных планов, пока транспорт двигался по каналу». С этими доводами Исаков вынужден был согласиться. Он добавляет, что Озаровский все равно не избежал кары. Его арестовали, допрашивали и пытали на основании тех самых нелепых предположений, о которых он с такой иронией говорил в госпитале.

Опасность стать жертвой террора была во флоте фактически еще больше, чем в армии. У флотских было в этом смысле только одно довольно призрачное преимущество. Морские офицеры всех флотов, кроме Тихоокеанского, объявлялись обычно английскими шпионами, а это, по крайней мере до 1939 года, давало им чуть более высокое «общественное положение», чем тем, кого обвиняли в шпионаже в пользу Германии, Японии или Польши.

Второй круг

Арест командующего флотом флагмана Орлова связан со второй, новой волной репрессий против военнослужащих, начавшейся в 1938 году. Есть сведения, что в начале этого года по указанию Сталина было спущено им самим отредактированное закрытое письмо «О недостатках в партийно-политической работе в РККА и мерах к их устранению». Это письмо призывало к дальнейшей очистке армии от «врагов народа», к «ликвидации последствий вредительства» и требовало «не забывать также о „молчалиных“, политически бесхребетных людях, не принимавших активного участия в первой террористической волне». [1]

Теперь на Лубянку отправляли тех, кто занял посты арестованных в первой волне командиров. В начале января был вызван в Москву командарм 1-го ранга Белов. В воспоминаниях к 70-летию со дня рождения Белова «Военно-исторический журнал» писал, что «чем ближе командарм подъезжал к Москве, тем задумчивей становилось его лицо. Видимо, сердцем он чувствовал надвигавшуюся беду. И не ошибся. С прибытием к месту вызова он был арестован». Возможно, что ему было поставлено в вину и его прошлогоднее вмешательство в защиту Сердича.

Следом за Беловым пал жертвой второй маршал Советского Союза — Егоров. Он

[1] См. Ю. П. Петров, с. 301.

был старше всех участников группы Тухачевского. К моменту ареста маршалу Егорову было пятьдесят пять лет — на год меньше, чем его бывшему сослуживцу по императорской армии Шапошникову. Они оба были офицерами до революции. Было известно, что Егоров входил даже в число собутыльников Сталина. Есть сообщение, что после расстрела Тухачевского Сталин предложил Егорову занять дачу казненного маршала, но Егоров отказался принять подарок.

Во время польской кампании Егоров командовал Юго-западным фронтом, где Сталин был политическим руководителем. Егоров оказался единственной крупной фигурой из старого военного окружения Сталина, попавшей под террор.

Первый удар по армии истребил всех военных — членов Центрального Комитета партии, кроме Ворошилова, Буденного, Блюхера и Егорова. Возможно, что именно в Центральном Комитете Егоров оказал в чем-то сопротивление Сталину — наиболее вероятно, во время февральско-мартовского пленума 1937 года. Его сняли с поста заместителя наркома обороны в конце февраля 1938 года.

Один из бывших заключенных, позже сумевших выехать из Советского Союза, рассказывает, что встречал Егорова в Бутырской тюрьме зимой 1939 года [1]. Точную дату его смерти установить трудно, поскольку она дана различно в различных советских официальных источниках — чем раньше источник, тем позднее дата. Так, например, в Малой советской энциклопедии (3-е изд., 1959 г.) сказано, что он умер 10 марта 1941 г.; в Советской исторической энциклопедии (т. 5, изд. 1961 г.), что он умер 22 февраля 1939 г., а в БСЭ (3-е изд., т. 9, 1972 г.), что он умер 23 февраля 1939 г. Снятие Егорова с бывшего поста Тухачевского знаменовало собой начало нового удара по высшему военному командованию — удара не менее ошеломляющего, чем предыдущий.

В феврале 1938 года, «по клеветническому навету», писала «Правда» много лет спустя, в 1964 г., «был арестован и вскоре трагически погиб» (официальная формула для «казнен», «расстрелян» и т. д.) командарм Дыбенко, командовавший Ленинградским военным округом. Но, по сведениям 3-го издания БСЭ (т. 8, 1972 г.), «погиб» он не «вскоре», а через полтора года — 29 июля 1939 года. (Возможно, конечно, что, как и в случае Геккера, это опечатка и вместо «1939» следует читать «1938».) Во время гражданской войны Дыбенко служил вместе с Ворошиловым и Сталиным, но теперь уже и это не давало надежной защиты. Дыбенко, человек великанского сложения, бывший матрос, руководил матросским мятежом на корабле «Император Павел I» в 1916 году, а во время революции командовал балтийскими моряками. Одно время он был женат на пылкой революционерке Александре Коллонтай, вышедшей из дворянской семьи. В 1918 году Дыбенко командовал Красной Гвардией, разогнавшей Учредительное собрание. Но в нем еще некоторое время оставался коммунистический идеализм: когда советское правительство решило не отменять смертной казни, Дыбенко пытался даже выйти из партии. Его ближайшими друзьями в Военной академии были расстрелянный в 1937 году Урицкий и командарм Федько, переведенный 2 февраля 1938 года с бывшего поста Якира на Украине в заместители наркома обороны, но проработавший там лишь недолгое время перед исчезновением. Отметим мимоходом, что все трое — Дыбенко, Урицкий и Федько — в 1921 году были направлены из академии на подавление Кронштадтского восстания.

Но теперь исчезли не только бывшие сподвижники Сталина, вроде Дыбенко, надо было и другим бывшим врагам отомстить за старые обиды. Среди арестованных были, как мы уже упоминали, первый главнокомандующий Красной Армией командарм Вацетис, которого Сталин и Ворошилов хотели снять в 1919 году с поста как предателя. Тогда Троцкий успешно защитил Вацетиса. С тех пор Вацетис занимал ответственные посты в военной инспекции и Военной академии.

27—29 июля 1938 года произошло следующее крупное избиение военных руководителей. В те дни были уничтожены флагман Орлов, командармы Алкснис, Белов, Дубовой (до того возглавлявший Харьковский военный округ), Дыбенко (см. выше), Вацетис и Великанов (командовавший Байкальским военным округом). Среди других погибших были комкор Грязнов, командовавший Средне-азиатским военным округом, а также легендарный герой гражданской войны Ковтюх. Писатель Александр Серафимович вывел Ковтюха под именем «Кожух» в романе «Железный поток», причем любопытно, что и после исчезновения Ковтюха «Железный поток» переиздавали как ни в чем не бывало. Он переиздается и до сих пор.

Адмирал Викторов и комкор Н. В. Куйбышев были схвачены на день или два позже, 1 августа. Известна судьба и еще нескольких менее видных жертв: А. А. Свечин, бывший генерал-майор императорской армии и в тридцатых годах коллега Вацетиса по академии им. Фрунзе, был расстрелян 29 июля; К. А. Озонин, комиссар Харьковского военного округа при Дубовом — 1 августа; без сомнения, были и другие жертвы. Операция была столь же широкой, как и в июне 1937 года, но на этот раз она была полностью засекречена. Она была, по-видимому, связана также с ликвидацией ряда крупных партийных деятелей, развернувшейся в эти же дни.

Последний большой удар по руководству Дальневосточной армии был нанесен несколько позже. Мы расскажем об этом и рассмотрим результаты небывалого по масштабу уничтожения командного состава вооруженных сил. Но и без этого уже очевидно, что Сталин, если и избавился от какой-то опасности, угрожавшей его власти, то в то же время причинил громадный ущерб обороноспособности страны.

[1] Weissberg, p. 481.

Глава восьмая

ПОД КОРЕНЬ

Свободу сделал ты орудьем палача.

Лермонтов

Дела периферийные

В апреле 1937 года начались перевыборы местного партийного руководства. Это послужило поводом для шумной кампании в печати против тех, кто, подобно Постышеву, нарушал партийную демократию. Таких находили повсюду. Кампания началась с грозной директивной статьи «Внутрипартийная демократия и большевистская дисциплина». Автором статьи был Борис Пономарев, тот самый, который в октябре 1961 года стал секретарем ЦК КПСС.

Аресты членов ЦК начались с Ленинграда. Кроме Москвы, только в Ленинграде и в Закавказье уже стояли у власти беспощадные первые секретари (Жданов и Берия), готовые вести беспредельный террор.

Говоря о результатах убийства Кирова, И. В. Спиридонов, выступая на XXII съезде партии, заявил:

«Ленинградская партийная организация понесла особенно большие потери... В течение четырех лет в Ленинграде шла непрерывная волна репрессий по отношению к честным, ничем себя не запятнавшим людям. Часто выдвижение на ответственную работу было равносильно шагу на край пропасти. Многие люди были уничтожены без суда и следствия по лживым, наскоро сфабрикованным обвинениям. Репрессиям подвергались не только сами работники, но и их семьи, даже абсолютно безвинные дети, жизнь которых была надломлена, таким образом, в самом начале... Репрессии... были совершены или по прямым указаниям Сталина, или с его ведома и одобрения».

На деле, однако, первые волны террора ударили по беспартийным и по массе низовых работников. Жданов продолжал действовать сталинскими методами. Он ослабил старые кировские кадры снизу, заменив много старых низовых работников на уровне райкома. Но до поры до времени он не сбрасывал с постов главных помощников Кирова, многие из которых были членами или кандидатами в члены ЦК. Они продолжали занимать свои высокие посты в городе и области. В частности, вторым секретарем обкома оставался пока Михаил Чудов, работавший с Кировым. Печатник по профессии, большевик с 1913 года, Чудов был переведен в Ленинград в 1928 году для поддержки Кирова. Он был членом ЦК и входил в Президиум XVII съезда партии. В 1934 году на похоронах Кирова в Москве Чудов произносил надгробную речь от имени ленинградцев, он был членом правительственной комиссии по организации похорон Кирова. Более чем кто-либо другой Чудов представлял кировские традиции в Ленинграде.

Старые партийные руководители такого уровня, как скоро выяснилось, были неприемлемы для Сталина ни в одном районе страны. Но в Ленинграде такие люди были особенно нетерпимы для вождя. Во-первых, они были тесно связаны с Кировым и его платформой, а все, что связывалось с Кировым, было теперь объектом особой сталинской враждебности. Во-вторых, это были те самые люди, которые 1 декабря 1934 года, услышав выстрел, бросились в коридор Смольного и должны были заметить — как теперь известно, действительно заметили — отсутствие охраны и другие подозрительные признаки.

Избавиться от них сразу означало создать сильное впечатление, что Сталин был настроен против Кирова и что он хотел устранить всех, кто знал что-либо об убийстве. Но с победой Сталина на февральско-мартовском пленуме 1937 года такие мотивы перестали играть роль.

Террор в Ленинграде уже и до 1937 года был жесточайшим даже по советским меркам. Но в последующий период, когда террор охватил все политическое и хозяйственное руководство, он стал страшнее, чем почти во всех других местах страны. Это означало почти стопроцентное уничтожение руководящих кадров, тогда как в других районах цифра колебалась между восьмьюдесятью и девяноста процентами. О деталях террора в Ленинграде имеется больше информации, чем о последовавшем уничтожении руководства в других областях. По ленинградским данным можно составить полное представление о том, какого рода операция обрушилась теперь на партию и на все население.

Вернувшись в Ленинград с февральско-

мартовского пленума, Жданов сделал доклад на областном партийном активе. Его доклад изобиловал суровыми нападками на различные райкомы города. На том же партактиве выступил комиссар государственной безопасности первого ранга Заковский, говоривший о том, «к каким подлым уловкам прибегали враги народа — фашистские агенты — в Ленинграде» [1].

В последовавших убийствах и арестах Заковский стал теперь правой рукой Жданова. А левой рукой был печально известный А. С. Щербаков — единственный человек среди высших ленинградских партийных руководителей, которому Жданов доверил полностью. С 1924 по 1930 год Щербаков работал вместе со Ждановым в нижегородском (горьковском) [3)] обкоме партии, продвинувшись до заведующего отделом агитации и пропаганды. Щербакова как личность повсеместно ненавидели еще сильнее, чем Жданова. Это был полный человек в очках с аккуратно зачесанными назад волосами. Из горьковского обкома его сначала перевели в Москву, в аппарат ЦК, а потом, в 1934 году, назначили... секретарем Союза писателей! В 1936—1937 годах Щербаков работал в Ленинграде, после чего его сделали разъездным надсмотрщиком по террору, посылая в те области, где людей уничтожали все еще неохотно. Только на протяжении одного 1938 года Щербаков побывал не менее чем на четырех областных постах. Полностью растерзав партийные кадры в Иркутске, Щербаков затем возглавил последовательно два обкома на Украине, уже опустошенных хрущевскими «чистками», а затем, следующей зимой, стал первым секретарем московского горкома партии. Во время второй мировой войны Щербаков стал начальником Политуправления Красной Армии, секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. Он умер в 1945 году — будто бы от руки «врачей-вредителей». Таков послужной список типичного ждановца.

И вот эта группа — Жданов, Заковский и Щербаков — взялась за «работу». По рассказу старой большевички Д. А. Лазуркиной (ей предстояло провести 17 лет в лагерях), в мае 1937 года «Жданов собрал нас, руководящих работников обкома, и сообщил: „В наших рядах, в ленинградской организации, раскрыли двух врагов — Чудова и Кадацкого. Они арестованы в Москве“. Мы ничего не могли сказать. Казалось, что примерз язык. Но, когда окончилось это совещание, и когда Жданов уходил из зала, я сказала ему: „Товарищ Жданов, Чудова я не знаю, он недавно в нашей ленинградской организации. Но за Кадацкого я ручаюсь. Он с 1913 года член партии. Я его много лет знаю. Он честный член партии. Он боролся со всеми оппозициями. Это невероятно! Надо это проверить“. Жданов посмотрел на меня жестокими глазами и сказал: „Лазуркина, прекратите этот разговор, иначе вам будет плохо“».

Согласно принятой на IV городской конференции резолюции, ленинградская парторганизация «повысила свою боеспособность», «разоблачая и изгоняя из своих рядов антисоветских троцкистско-правых двурушников — этих японо-немецких диверсантов и шпионов». Исключение было высшей мерой партийного наказания и в тех обстоятельствах почти неизменно развязывало руки НКВД для последующего ареста. И это был только первый шаг: из 65 членов нового ленинградского горкома партии, избранных 29 мая 1937 года, только двое были избраны в следующий состав горкома 4 июня 1938 года (еще пятеро были переведены на должность вне Ленинграда).

Наступившие в Ленинграде белые ночи создали известную техническую трудность для подручных Заковского. Когда волна арестов достигла руководства местной партийной организации, потом снова распространилась вниз, захватив тех, кто был выдвинут на партийную работу в последние год-два, а потом вышла и за эти пределы; когда аресты приняли массовый характер среди уже терроризованного населения, их стало невозможно выполнять под благопристойным покровом ночи. Ленинград — пожалуй, самый северный из крупных городов мира, он находится на той же широте, что Шетландские острова или северный Лабрадор. Зимой дни в Ленинграде чрезвычайно короткие, зато летом, когда в нем царит «задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный», когда Пушкин мог сказать свое «пишу, читаю без лампады», шум и скрежет тормозов арестантских карет на светлых, но безлюдных улицах был, по воспоминаниям многих, особенно тревожным.

Председатель ленинградского совета Кадацкий, член ЦК партии, по-видимому, расстрелян в 1939 году. В том же году был уничтожен другой член ЦК из Ленинграда — П. А. Алексеев, председатель ленинградского облпрофсовета. Несколько подробнее можно проследить судьбу Чудова.

В Ленинграде был арестован некто Розенблюм, член партии с 1906 года. Его арестовали по делу знаменитого старого большевика Николая Комарова.

После поражения зиновьевцев в 1926 году Комаров занял зиновьевский пост председателя ленинградского совета. В 1929 году он стал неподходящим для Сталина человеком: не поддерживая открыто Бухарина, Комаров не проявлял никакого энтузиазма в борьбе против него. В июле 1928 года Бухарин сказал Каменеву, что высшие руководители в Ленинграде «всей душой с нами, но они приходят в ужас, когда мы говорим о снятии Сталина». Эти люди колебались, они не могли принять решение. По воспоминаниям современников, попытки Сталина перетянуть ленинградских руководителей на свою сторону не удавались. Речь шла как раз о Комарове и других преемниках Зиновьева. Комарова сняли и перевели на работу в ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства) в Москву. В 1934 году Комаров уже не был членом ЦК, но оставался еще кандидатом.

Теперь Ленинград перешел в руки людей, полностью придерживавшихся партийной линии, несмотря на то, что во всем руководстве города и области в начале 30-х годов настоящие сталинцы, помимо Кирова и Чудова, встречались редко. Большинство было сторонниками Сталина с легким правым уклоном, к которому до известной степени склонялся и сам Киров.

Комаров оставался связанным с этими людьми. Позже, в 1938 году, на процессе над Бухариным и другими его назвали в качестве видного члена ленинградской группы. Теперь мы знаем, что дело Комарова хотели связать с делом Чудова с помощью Розенблюма. Но Чудову собирались устроить показательный процесс со всеми атрибутами. И вот Розенблюм, который, как рассказал на XX съезде партии Хрущев, к тому времени уже подвергся «страшным пыткам», предстал перед Заковским. Вот что далее рассказывал Хрущев:

«Заковский предложил ему освобождение при условии, чтобы на суде он сделал сфабрикованное в 1937 году НКВД признание относительно „террористического центра саботажа, шпионажа и диверсии в Ленинграде“. С невероятным цинизмом Заковский описал гнусный „механизм“, при помощи которого фабриковались вымышленные „антисоветские заговоры“.

„Чтобы показать мне этот механизм, — сообщил Розенблюм, — Заковский описал мне несколько возможных вариантов организации такого центра и его отделений. Подробно описав мне такую организацию, Заковский сказал мне, что НКВД заготовит дело для этого центра, и добавил, что суд будет открытым...“

„Вам самому, — сказал Заковский, — не придется ничего выдумывать. НКВД заготовит для вас готовое описание каждого отделения центра. Вам нужно будет тщательно изучить его и помнить все вопросы и ответы, с которыми вам придется иметь дело во время суда. Дело это будет готово месяца через четыре, через пять, может, через полгода. Все это время вы должны будете готовиться, чтобы не скомпрометировать следователя и себя. Ваша будущая участь зависит от того, как пройдет суд и каковы будут его результаты. Если вы начнете завираться и давать неверные показания — пеняйте на себя. Если вы выдержите это испытание, вы спасете свою жизнь, и мы будем кормить вас и одевать до самой вашей смерти“» [1].

Как сказал Розенблюму Заковский, на суде должны были фигурировать Чудов, его жена — секретарь ленинградского облпрофсовета и член обкома партии Людмила Шапошникова, а также три других секретаря горкома и обкома — член партии с 1903 года Борис Позерн, А. И. Угаров и Петр Смородин. Трое последних были кандидатами в члены ЦК ВКП(б).

Надо отметить, что, как и во многих других случаях, основание для будущего дела было подготовлено неплохо. Уже в августе 1936 года, на процессе Зиновьева, прозвучали показания, что несколько членов группы, связанной с убийцей Кирова Николаевым, «пользовались доверием многих партийных и советских руководящих работников в Ленинграде» *, и это доверие якобы «обеспечило им все возможности вести подготовку к террористическому акту против Кирова без малейшей опасности разоблачения» *.

Что касается политического направления будущих обвиняемых, то ясно было, что ленинградцев запишут в «правые». В этом была даже некая крупица правды — во всяком случае, конец этих людей означал окончательное подавление «линии Кирова».

Процесс «Ленинградского центра», планировавшийся Заковским, так и не состоялся (более или менее важные официально объявленные процессы были проведены только в Москве и в Грузии). Почему так — мы не знаем. Можно лишь предполагать, что сопротивление следствию со стороны некоторых ленинградцев было причиной падения Заковского, который сам вскоре после этого был расстрелян.

Сведения о судьбе людей, подготовленных Заковским в качестве жертв будущего процесса, производят несколько странное впечатление. Энциклопедический справочник «Ленинград» указывает, что Чудов умер в 1937 году [2]. Тот же справочник утверждает, что Смородин умер в 1941 году [3]; «Энциклопедический словарь», однако, дает другую дату смерти Смородина — 1937 год [4]. Известно, что Смородин в июне 1937 года сменил Чудо-

---

[1] См. «Правду», 21 марта 1937 г.

[1] Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС...

[2] «Ленинград». Энциклопедический справочник. М.-Л., 1957, с. 783.

[3] Там же, с. 724.

[4] «Энциклопедический словарь», т. 2, М., 1964, с. 405.

ва на посту второго секретаря ленинградского обкома партии; наиболее вероятно, что арестован он был в конце того же лета. По поводу смерти Б. Позерна в советских источниках наблюдается поразительный разнобой. Справочник «Ленинград» называет 1939 год, в биографических справках к 50-му тому Собрания сочинений Ленина, вышедшему в 1965 году, говорится, что Позерн погиб в 1938 году, в то время как сборник «Из истории гражданской войны»[1] и вышедшая в Москве за пять лет до этого книга «От Февраля к Октябрю» уверяет в справочном примечании, что Позерн скончался в 1940 году. Так или иначе, еще в мае 1938 года Б. Позерн был на свободе. Что касается А. И. Угарова, то его даже повысили до первого секретаря московского обкома партии, и он исчез только осенью 1938 года. Это определенно показывает, что, как говорил Заковский, «возможны варианты». В числе будущих жертв «вариантов» Заковского могли быть люди, с которыми он ежедневно сидел в обкоме за одним столом.

О терроре в Ленинграде и Ленинградской области, как уже было сказано, известно больше, чем о терроре в других областях страны, и потому весьма поучительно оценить итоги террора. Были арестованы все семеро членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), работавшие в Ленинграде,— Чудов, Кадацкий, Алексеев, Смородин, Позерн, А. И. Угаров, а также представитель ленинградского облисполкома П. И. Струппе. Среди других жертв оказались А. Н. Петровский, возглавлявший горисполком, а затем переведенный в секретари ленинградского обкома, и И. С. Вайшля — секретарь ленинградского обкома комсомола. Кроме них исчезло большинство членов бюро обкома и «сотни активнейших партийных и советских работников». В это число входят, разумеется, многие секретари райкомов партии Ленинграда. Террор ударил также по военной верхушке Ленинграда, начиная с командующего военным округом Дыбенко (который по положению был членом обкома партии) и командующего Балтийским флотом А. К. Сивкова. Жертвами террора пали также ведущие хозяйственники — руководители Ленэнерго, Кировского завода, Металлического завода имени Сталина и многих других. Из 154 делегатов XVII съезда партии, избранных от Ленинграда, только *двое* были избраны делегатами на следующий XVIII съезд. Причем эти двое были Андреев и Шкирятов, чьи связи с ленинградской организацией были чисто формальными. Из 65 членов ленинградского обкома партии, избранных 17 июня 1937 года, только девять появились в следующем году (четверо других были переведены на работу вне Ленинграда). На XXII съезде партии, вспоминая 1937 год, старая ленинградская коммунистка Д. А. Лазуркина говорила: «...В 1937 году меня постигла участь многих. Я была на руководящей работе в Ленинградском обкоме партии и, конечно, тоже была арестована».

Когда старые кадры были уничтожены, Жданов выдвинул своих людей. Среди них был Вознесенский, работавший в Ленинграде председателем облплана и заместителем председателя горсовета — до того, как его перевели в Москву и, в конце концов, ввели в Политбюро ЦК ВКП(б); А. А. Кузнецов — вначале секретарь райкома, затем второй секретарь обкома, а позднее секретарь ЦК ВКП(б); будущий первый секретарь обкома Попков. Все эти трое были расстреляны в 1950 году по так называемому «ленинградскому делу». Другие из ленинградских выдвиженцев того времени дожили почти до наших дней. Так, Н. Г. Игнатов, в прошлом работник ОГПУ, был секретарем парткома одного из заводов, когда к власти в Ленинграде пришел Жданов. В 1937 году Игнатов стал первым секретарем одного из райкомов Ленинграда и членом горкома. На следующий год его послали вторым секретарем в Куйбышев — для политического обеспечения последней и заключительной операции против Постышева. Потом, после многих повышений и понижений, Н. Г. Игнатов стал заместителем председателя Совета Министров СССР и в этой должности скончался в 1966 году.

Еще более интересно проследить за карьерой Алексея Косыгина. В те годы Косыгин играл активную роль в партийной жизни как член бюро выборгского райкома ВКП(б) Ленинграда (в то время главная «активность» заключалась в доносах и всяческих обвинениях против прежних секретарей и членов бюро). В 1937 году Косыгин занял одну из освободившихся вакансий, став директором Октябрьской текстильно-ткацкой фабрики. В июле 1938 года он был утвержден заведующим промышленно-транспортным отделом ленинградского обкома партии, а в октябре того же года — председателем горисполкома, заняв, таким образом, бывшую должность Кадацкого. В следующем году он был переведен в Москву и по сей день работает в правительстве[4)].

События в Ленинграде не представляли исключения. Такие же события происходили в обкомах по всей стране, с той только поправкой, что всего трем первым секретарям (Жданову в Ленинграде, Берии на Кавказе и Хрущеву в Москве) было доверено вести террор самим. Остальные делали это под надзором свыше.

[1] «Из истории гражданской войны», т. 1, М., 1960, с. 793, прим. 146.

Каганович, например, побывал в Иванове, в Смоленске, на Кубани и в других местах; Маленков — в Белоруссии и в Армении; Г. Д. Шкирятов — на Северном Кавказе. Повсеместно они уничтожали прежнее руководство. В те годы для ареста «троцкистов», занимавших ответственные должности, требовалась подпись первого секретаря обкома. (Эйхе, работавший первым секретарем обкома в Западной Сибири, считал это своей прерогативой.) И на ранних стадиях террора первые секретари обкомов могли и часто желали приостановить действия НКВД. Во всяком случае, они могли приостанавливать произвол, которого требовали теперь Сталин и Ежов. И в большинстве случаев избиение руководящих кадров в областях производила теперь сама Москва, причем Секретариат ЦК ВКП(б) применял и такой метод: в область, где первый секретарь не очень охотно вел террор, назначали вторым секретарем отъявленного террориста (так Н. Г. Игнатов был послан на подрыв позиций Постышева в Куйбышеве).

Хрущев на XX съезде партии говорил: «Материалы следствия, проведенного в то время, показывают, что почти во всех краях, областях и республиках будто бы существовали шпионско-террористические и диверсионно-саботажные организации и центры правых и троцкистов и что во главе таких организаций, как правило, по непонятным причинам, стояли первые секретари областных, краевых и республиканских партийных комитетов».

Поразительные разоблачения сделал на XXII съезде партии старый коммунист Сердюк. Он рассказал, что Каганович, прибыв в Иваново, немедленно по прибытии телеграфировал Сталину: «Первое ознакомление с материалами показывает, что необходимо немедленно арестовать секретаря обкома Епанечникова. Необходимо также арестовать заведующего отделом пропаганды обкома Михайлова». Вскоре Каганович отправил вторую телеграмму: «Ознакомление с положением показывает, что право-троцкистское вредительство здесь приняло широкие размеры — в промышленности, сельском хозяйстве, снабжении, торговле, здравоохранении, просвещении и политпартработе. Аппараты областных учреждений и обкома партии оказались исключительно засоренными». Приезд Кагановича в Иваново называли «черным смерчем». «Он обвинил тогда всю партийную организацию, имеющую большие революционные традиции, в том, что она якобы находится в стороне, на обочине столбовой дороги. На пленуме обкома без всякого основания он приклеил ярлык врага народа большинству руководящих работников»[1].

В 60-е годы о событиях того периода было принято говорить, что Каганович или Маленков отправились туда-то и туда-то и «разгромили» обком партии. Ответственными за такие дела объявляются только либо названные двое, либо Ежов или Берия. Мы пока не слышали из советских источников о подробностях разгрома ЦК компартии Украины, в котором принимал участие Хрущев, хотя уже после удаления Хрущева, в «Очерках по истории Московской партийной организации», Москва, 1966, стр. 539, приведены мимоходом фамилии шестерых секретарей МК партии, а также председателя Моссовета Н. А. Филатова, исчезнувших в то время, когда первым секретарем был Хрущев. Такое же молчание царит по поводу роли Микояна в разгроме армянской компартии, где вся вина возлагается на Маленкова. В Белоруссии террор вел главным образом некто Яковлев, позднее сам ставший жертвой, а затем реабилитированный. Об этом тоже ничего не говорится.

Писатель Аркадий Васильев (позже «общественный обвинитель» на процессе над Синявским и Даниэлем) в беллетристической форме, но, очевидно, по личному опыту, описывает сцену, какая часто происходила в те времена в обкомах. 23 июля 1937 года член обкома приходит на пленум. Его известили о пленуме всего за несколько часов до начала, не сообщив о повестке дня. Все сидят в молчании, атмосфера напряженная. Каждый старается занять место как можно дальше от президиума, в задних рядах.

Последующие события автор романа описывает так:

«Первым на сцену вышел человек с бородой. Я до этого видел его только на портретах. Он тогда в большой силе был — и нарком, и секретарь Центрального Комитета, один чуть ли не в семи лицах. В зале тишина. Нарком нахмурился, видно, не понравилось, как его встретили, привык к триумфу. Кто-то догадливый спохватился, захлопал. Поддержали, и все пошло как надо.

Затем появились члены бюро нашего обкома во главе с первым секретарем. Им тоже, поменьше, пожиже, но похлопали.

Нарком сел с краю, возле трибуны. Первый секретарь приглашал его в середку, рядом с собой — не пошел.

И только тут узнал пленум о повестке дня. Первое — о состоянии агитационно-пропагандистской работы в связи с предстоящей уборкой урожая и второе — оргвопросы.

[1] XXII съезд КПСС. Стеногр. отчет. М., 1962, т. 3, с. 153 (выступление Ю. М. Вечеровой).

Не знаю, как у других, а у меня отлегло от сердца — к уборке урожая и лично отношения почти не имел. Выделишь, бывало, подшефному колхозу три грузовика, бригаду девчат пошлешь — и все. А оргвопросы — это тоже меня не касается, кого-то от чего-то освободит, кого-то куда-то введут. В ту пору мне все равно было, тщеславия у меня не замечалось — знал свое место и на большее не рассчитывал, оснований не было.

Бывало, стоило только пустить в ход налаженную, годами проверенную машину совещаний — и все заработает, как следует быть: во время доклада летят уже из зала записочки — записываются в прения, перерыв, прения — все точно пригнано или, как моряки говорят, принайтовано. И почти все заранее известно, кто в прениях выступит, и с чем, кто, обидевшись, будет слово для справки просить.

На этот раз все скособочилось. По поводу агитационно-пропагандистской работы на селе доклад делать полагалось бы секретарю по пропаганде, а на трибуну выпустили заведующего областным земельным управлением Костюкова. Он говорить был мастак. Особенно о планах, гектарах, вывозе удобрений. А тут он губами двигает, а его не слышно. Кто-то посмелее из зала крикнул:

— Громче!

Костюков поднял глаза от тезисов, и мне жутко стало — такие они были стеклянные, как у мертвеца.

Нарком чего-то сердито сказал первому секретарю, тот встал, позвонил и произнес деревянным голосом:

— Прошу соблюдать тишину!

Какое там соблюдать — и так слышно, как карандашом по бумаге водят.

Костюков все же собрался с силами, и мы услышали:

— Два дня назад мы с председателем облисполкома товарищем Казаковым посетили колхоз имени Буденного...

Нарком изобченился весь и странно как-то, не то с удивлением, не то с насмешкой спросил докладчика:

— С кем? С кем вы посетили колхоз?

— С товарищем Казаковым...

Тут только и обратил внимание, что Казакова в президиуме нет. „Как же так? — думаю.— Он ведь член бюро!"

Нарком все тем же непонятным тоном продолжает:

— Следовательно, я вас так понимаю, вы считаете Казакова товарищем? Отвечайте!

Костюков побелел и залепетал. Солидный он был, высокий, любил зимой на коньках кататься, в проруби купался, а тут стоит виноватый, словно школьник, не приготовивший урока.

— Конечно... Если так... Почему бы и не считать...

Нарком посмотрел на наручные часы, потом за кулисы глянул, и к нему тотчас же подскочил какой-то человек, не из наших. Нарком выслушал секундный доклад и объявил...

— Не понимаю, как вы можете себя так вести. Отказываюсь понимать...— снова на часы глянул и добавил: — Враг народа Казаков арестован двадцать минут тому назад...

И случилось, если по нынешним временам измерять, совершенно невероятное: кто-то из сидящих в президиуме зааплодировал. Сначала робко подхватили, затем энергичнее. Чей-то бас крикнул:

— Нашему славному НКВД — ура!

И я кричал „ура". Сейчас что угодно можно говорить и думать о том периоде. Не знаю, как другие, но я кричал от всей души, искренно, верил, что Казаков действительно враг народа. После пленума с мыслями собрался, кое-что в хозяйственной области проанализировал и еще больше поверил — враг. Так настроен был, так мои душевные струны были подтянуты, что другие слова — „ошибка", „недосмотр", „неправильный расчет", просто „халатность" — на ум и не приходили, а только одно: „вражеская деятельность".

Костюков совсем раскис и, промямлив еще несколько слов, сошел с трибуны, под стук собственных каблуков. Больше его никто не видел — ушел за кулисы навсегда.

Нарком снова на часы посмотрел и все тем же своим непонятным тоном обратился к секретарю по пропаганде:

— Может, ты неудачного докладчика дополнишь?

Секретарь вышел на трибуну белый-белый, откашлялся для порядка и сравнительно бойко начал:

— Состояние агитационно-пропагандистской работы на селе не может не вызывать у нас законной тревоги... Как уже сообщил предыдущий оратор, уборку мы должны провести в более сжатые сроки... Правда, товарищ Костюков не отметил...

При этих словах нарком опять изобченился и ехидно спросил:

— Костюков вам товарищ? Странно, очень странно...— Снова взгляд на часы и — как обухом по голове:

— Пособник врага народа Казакова последыш Костюков арестован пять минут тому назад...

Все бюро обкома, весь президиум облисполкома минут за сорок подмели под метелку» [1].

В конце июня Каганович выступил на специально созванном заседании Смоленского (в то время Западного) обкома партии и объявил, что первый секретарь обкома Румянцев, который служил опорой Сталина в Смоленске с 1929 года, второй секретарь Шульман и большая группа прежних руководителей являются «предателями, шпионами германского и японского фашизма и членами право-троцкистской банды». Эти люди исчезли без следа. Румянцева заменил на посту Д. Коротченков, под руководством которого Смоленская область пережила страшный террор. До и после своей работы в Смоленске «Коротченков» носил фамилию Коротченко. В 1968 году, когда писалась книга, Д. Коротченко был членом ЦК КПСС и председателем Президиума Верховного Совета УССР. В 1937 году он работал также секретарем МК под руководством Хрущева, а позже сопровождал Хрущева на Украину.

Во время второй мировой войны смоленский архив был захвачен гитлеровцами. После поражения Германии этот архив был перевезен в США. Благодаря этому есть возможность проследить на примере Смоленской области, как проводился террор в низовых партийных организациях.

В тогдашнюю Западную область входил небольшой районный центр — город Белый (ныне Калининской области). В марте 1937 года, после февральско-мартовского пленума, обком партии, сам находившийся под ударом, обрушился на районных руководителей. Первый секретарь Бельского райкома партии Ковалев подвергся своеобразной четырехдневной церемонии — его «критиковали», оскорбляли и обвиняли во всех грехах подчиненные. На него нападали за то, что в 1921 году он жил вместе с троцкистом, что вел себя, как местный диктатор, что дезертировал из Красной Армии и т. д. Присутствовало более 200 местных коммунистов, представлявших большую часть местной партийной организации. По отчету видно, что многие еще не усвоили тон и стиль, внедрявшиеся тогда в партии. С мест задавали вопросы: почему, если ораторы, критиковавшие Ковалева, знали все это о нем раньше, они не только молчали, но и одобряли все действия секретаря? На это один из наиболее хитрых обвинителей ответил, что молчал четыре года потому, что Ковалев запрещал ему говорить!

Представитель обкома, прибывший в Белый как раз для того, чтобы организовать снятие Ковалева с поста, говорил более умеренным тоном, чем некоторые местные рядовые доносчики. Он сказал: «У меня нет достаточных оснований назвать Ковалева троцкистом», но обещал, что этот вопрос будет расследован.

Когда затем, в июне, сам обком был «разоблачен», город Белый охватила истерия арестов и обвинений. 26—27 июня проходило еще одно собрание, в ходе которого на Ковалева и на все его окружение возводились еще более страшные обвинения. Все, кто работал с Ковалевым, пали жертвами. Но менее, чем через три месяца, 18—19 сентября, состоялся пленум райкома, разгромивший тех, кто пришел к руководству после группы Ковалева. Так, нового секретаря райкома Карповского обвинили в том, что он был агентом Румянцева, что в свое время принадлежал к банде преступников, что имел родственников за границей, что поддерживал отношения с сестрой, которая была замужем за иностранным коммерсантом. Карповский защищался, говоря, что он не только никогда не был бандитом, но самолично убил несколько бандитов. Он получил однажды письмо от тетки из Румынии, но он не видел этой тетки с тех пор, как она выехала из России в 1908 году. Что касается его сестры, то и она и ее бывший муж-коммерсант занимались теперь полезным трудом. Более того, друг Карповского, воевавший вместе с ним, показал, что оба они боролись с бандитами. Но ничего не помогло. Оратор за оратором набрасывались на секретаря, поноси его в самых диких выражениях, и, в конце концов, даже его друг сказал с сомнением, что он просто не знал об участии Карповского в бандитской шайке.

Все сотрудники Карповского пали либо вместе с ним, либо непосредственно после него. К концу года районом руководила совершенно новая группа людей, причем никто из них не был местным жителем. Численность партийной организации района, насчитывавшей на 1 сентября 1934 года 367 человек, снизилась почти вдвое и теперь не достигала 200.

Поразительно, что террористические призывы сверху сочетались с истерическими, линчевательскими настроениями, воцарившимися ныне в низовых партийных организациях. В то время как уничтожались высшие и средние круги партийного руководства, эмиссары Москвы повсюду находили доносчиков (вроде уже упоминавшейся Николаенко в Киеве), готовых дать «показания» против всех, кого требовалось уничтожить.

В 1962 году газета «Бакинский рабочий», в статье, озаглавленной «Досье провокатора» [1], описывала, как один член партии в Азербайджане делал карьеру в годы террора, донося в НКВД на видных коммунистов. Среди оклеветанных им были три секретаря ЦК компартии Азербайджана и бывший председатель Совнаркома республики. А сам «провокатор» И. Я. Мячин оставался до послесталинских времен известным и уважаемым

[1] Аркадий Васильев. Вопросов больше нет.— См. журнал «Москва», 1964, № 6, с. 45—50 (глава «Одна бессонная ночь»).

[1] «Бакинский рабочий», 17 июня 1962 г.

членом партии. Одно время он даже занимал должность заместители наркома текстильной промышленности Азербайджана.

Что клеветническая деятельность Мячина, хотя и поздно, но все же раскрылась, газета объясняет тем, что в свое время он писал все свои доносы в двух экземплярах — один посылал «в НКВД на имя прислужников Багирова. Второй же с собственноручной подписью подшивал в дело № 4, которое с гордостью сдал в архив». Это «дело № 4» пролежало на полке четверть века, пока его «случайно» не обнаружил архивариус. В папке оказались доносы Мячина, написанные в период с февраля по ноябрь 1937 года и «скомпрометировавшие» 14 партийных, советских и хозяйственных руководителей. Одно из типичных обвинений состояло в том, что один коммунист, «посоветовавший в автобусе не болтать о вредительстве», якобы хотел этим «дать указание контрреволюционерам держать язык за зубами». Оправдывая свои поступки, Мячин говорил: «Мы думали, так нужно. Писали все».

Он был по-своему прав.

То же самое происходило повсюду. На XX съезде партии Хрущев рассказал, как «отдел НКВД по Свердловской области „открыл“ так называемый „уральский штаб восстания — орган блока троцкистов, правых уклонистов, эсеров и священников“. Его мнимым руководителем был назван секретарь Свердловского областного комитета партии, член ЦК ВКП(б) Кабаков, член партии с 1914 года. Материалы следствия, проведенного в то время, показывают, что почти во всех краях, областях и республиках будто бы существовали шпионско-террористические и диверсионно-саботажные организации и центры правых и троцкистов и что во главе таких организаций, как правило, по непонятным причинам, стояли первые секретари областных, краевых и республиканских партийных комитетов».

Первым секретарем ростовского и азово-черноморского обкома был назначен Е. Г. Евдокимов — в прошлом руководящий работник НКВД. Но даже он, по имеющимся сведениям, жаловался в Москву, что террор заходит слишком далеко. Как бы то ни было, он сам вскоре исчез. И в то время как волна арестов охватила ростовский обком, там обозначилась быстрая карьера молодого Михаила Суслова. В 1933—1934 годах он входил в комиссии по партийной чистке в ряде областей. Теперь он был назначен одним из секретарей ростовского обкома. В 1939 году Суслов стал первым секретарем ставропольского крайкома партии, где в 1944 году принял участие в насильственном переселении карачаевцев в отдаленные районы страны. Видимо, он показал себя способным к такого рода операциям, ибо был сделан председателем Бюро ЦК во вновь оккупированной в 1944 году Литве, где восстановил советскую власть, сломив упорное сопротивление партизан. К 1947 году Суслов стал секретарем ЦК партии и этот пост он занимает до сих пор [5)].

В сентябре 1937 года Сталину позвонил с Дальнего Востока тамошний первый секретарь крайкома Иосиф Варейкис. Этот работник пользовался большим доверием Сталина, до Дальнего Востока работал первым секретарем воронежского и сталинградского обкомов. Темой телефонного разговора Варейкиса со Сталиным был арест некоторых коммунистов, против которого Варейкис возражал. В разговоре он, очевидно, поставил вопрос также и об аресте Тухачевского. Варейкис служил вместе с Тухачевским во время гражданской войны, и однажды оба они, Тухачевский и Варейкис, были захвачены эсеровскими мятежниками, которых впоследствии подавили.

Сталин закричал: «Не твоего ума дело! Не вмешивайся, куда не следует, НКВД знает, что делает!». Потом Сталин сказал, что «защищать Тухачевского и других может только враг советской власти», и бросил трубку. Варейкис был глубоко потрясен. Ему было даже трудно поверить, сказал он своей жене, что с ним разговаривал именно Сталин.

30 сентября Варейкис получил телеграмму, вызывавшую его в столицу по служебным делам. 9 октября он был арестован за несколько станций до Москвы. Через четыре дня арестовали его жену [1].

На процессе так называемого «право-троцкистского блока» Варейкис упоминался в качестве соучастника заговора [2] и осенью 1939 года был расстрелян. Нигде не сказано прямо, но вполне возможно, что разговор Варейкиса со Сталиным касался также и положения тогдашнего командующего Дальневосточной армией маршала Блюхера. Внезапный сталинский порыв гнева мог отражать реальный страх Сталина, его озабоченность положением в Дальневосточной армии.

[1] См. «Правду», 18 сент. 1964 г. («К 70-летию со дня рождения И. М. Варейкиса».)

[2] «Дело Бухарина», с. 74.

Перевод с английского

Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

6

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

1) А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛаг» не высказывает сомнений относительно того, был ли суд, и говорит о нем: «Маршал Блюхер — вот символ той эпохи: совой сидел в президиуме суда и судил Тухачевского (впрочем, и тот сделал бы так же)».

2) Источник, на основании которого Р. Конквест сообщает сведения о судьбе родственников Якира, по-видимому, содержит ошибку. Редакция «Невы» располагает данными, что вдова Якира пережила террор, была реабилитирована и умерла в Москве в 1972 г.

3) Город Нижний Новгород переименован в Горький в 1932 г.

4) Косыгин Алексей Николаевич (1904—1980), член КПСС с 1927 г., нарком текстильной промышленности (1939—1940), член ЦК КПСС с 1939 г., член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС (1948—1952 в 1960—1980; кандидат в 1946—1948 и 1952—1953); с 1960 — первый зам. председателя, а с 1964 г.— председатель Совета Министров СССР.

5) Суслов Михаил Андреевич (1902—1982), член ЦК КПСС с 1941 г., секретарь ЦК КПСС с 1947 г., член Президиума ЦК КПСС в 1952—1953 и 1955—1956, член Политбюро ЦК КПСС с 1966 г.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Валентин
КРАСНОГОРОВ

ГЛАСНОСТЬ И БЕЗГЛАСНОСТЬ

Заметки по истории отечественной цензуры

Гласность становится нормой нашей жизни. Мы твердо верим, что возврата к периоду зажатых ртов нет и быть не может. Но одной веры недостаточно. Необходимо понять, как мы пришли в свое время к общественному безмолвию и публичной лжи, чтобы не свернуть вновь на путь, ведущий в тупик. Опыт прошедшего оказался во многих отношениях горьким; нужно, чтобы он стал еще и поучительным.

Гласность не возникает и не исчезает сама по себе. Есть механизмы и для ее подавления, и для ее обеспечения. Нам следует их изучать, если мы действительно хотим реальной и гарантированной демократии, а не временного потепления.

Эта статья не предназначена для развлекательного чтения, это не зажигательный памфлет и не политическая клубничка. Предмет настолько важен сам по себе, что не нуждается в придании ему искусственной занимательности. Мы сейчас с трудом восстанавливаем из обломков свою подлинную историю. Для этого, прежде всего, нужны факты, а не эмоции по их поводу. Поэтому, не боясь показаться скучным, я буду, в первую очередь, излагать фактическую, документальную сторону предмета. Однако я надеюсь, что читателю, не равнодушному к нашему прошлому, настоящему и будущему, почти двухсотлетняя история системы подавления гласности в России (насколько ее можно втиснуть в рамки статьи) даст немалый материал для размышлений и выводов.

Очевидно, цензура существует почти так же давно, как и человеческое общество. Она неизбежно появилась одновременно с возникновением господства и подчинения. Уже египетские фараоны и жрецы что-то запрещали и что-то повелевали писать в свитках папируса и на стенах храмов. Само слово «цензура» впервые встречается у римлян. Римская цензура, особенно в императорскую эпоху, была достаточно сурова, чему красноречивое свидетельство оставил Тацит: «Они хотели бы лишить нас способности мыслить, как лишили средств говорить, если бы можно было заставить человека не думать, как можно заставить молчать».

В 642 году арабами была сожжена самая богатая в мире Александрийская библиотека. Шесть месяцев подряд все бани Александрии топились бесценными древними рукописями. «Если в этих книгах говорится то же, что и в Коране,— они бесполезны. Если иное — они вредны». Так звучала одна из первых дошедших до нас цензурных резолюций. В 1508 году «реванш» взяли христиане: кардинал Хименес сжег сто тысяч арабских рукописей. В 1510 году император Максимилиан повелел бросить в огонь все еврейские книги, кроме Библии. Почему мы так часто повторяем, что рукописи не горят?

Таким образом, жестокое гонение на слово началось задолго до появления печатного станка. В средние века регулярной цензуры не существовало, и ее функции исполняла церковь. С изобретением печати сразу же была учреждена и официальная цензура (в 1487 году папой Иннокентием VIII).

По мере укрепления абсолютистской власти контроль над печатью постепенно берет в свои руки государство. В 1535 году французский король Франциск I установил предварительную цензуру, за обход которой авторам, типографам, книготорговцам и даже перевозчикам книг полагалась смертная казнь. В 1663 году под страхом кнута и каторги были запрещены рукописные газеты. Регламенты Людовика XIV требовали, чтобы в типографиях не запирались двери и не занавешивались окна, так легче было надзирать.

Тяжек путь познания. Просветители несли свои факелы сквозь цензурную тьму. Они были вынуждены печататься анонимно, их книги чаще всего публиковались за рубежом. Монтескьё издал свои знаменитые «Персидские письма» без подписи, с фальшивым указанием на Амстердам. Его «Дух законов» появился без имени автора в Женеве. Гельвеций издал «О человеке» в Голландии, и там же был напечатан «Эмиль» Руссо. Книги Гельвеция, Руссо, Вольтера неоднократно сжигались публично, их авторы сидели в Бастилии и изгонялись из страны.

В Англии правительственная цензура была установлена в 1530 году и сразу же вызвала сопротивление свободолюбивых британцев. В 1644 году великий поэт

Мильтон произнес в парламенте знаменитую речь о свободе печати — «Ареопагитику». «Убить хорошую книгу — то же, что убить человека,— говорил он.— Тут уничтожается вполне созревшая человеческая жизнь... гибнет квинтэссенция, дух самого разума; одним словом — здесь убивается скорее бессмертие, чем жизнь». После окончательного свержении Стюартов предварительная цензура была отменена (1694 год), но усилились судебные преследования печати.

Большую роль в освобождении печати сыграли два события, происшедшие в конце XVIII века. Конституция США провозгласила безусловную свободу слова. Победа Великой французской революции воплотила в жизнь освободительные идеи просветителей.

«После способности мыслить способность сообщать мысли своим ближним является самым поразительным качеством, отличающим человека от животного,— говорил Робеспьер в речи о свободе печати, произнесенной в мае 1791 года.— Свобода печати не может отличаться от свободы слова; и та и другая священны, как природа; свобода печати необходима, как и само общество... Свобода печати должна быть полной и безграничной, или она не существует... Общественное мнение — вот единственный компетентный судья частных мнений, единственный законный цензор сочинений. Если оно их одобряет, то по какому праву вы, должностные лица, можете их осуждать? Если оно их осуждает, то зачем вам нужно их преследовать?»

Идеи великого якобинца не были осуществлены им на практике. Свобода слова не стала реальностью ни при Робеспьере, ни при Наполеоне, ни в период Реставрации. Но время шло вперед и делало свое дело.

Революции во Франции и других европейских странах, развитие парламентаризма, расширение юридических прав и свобод — все это не могло не отразиться и на судьбе цензуры. Огромный вклад в утверждение гласности внесло коммунистическое рабочее движение, его основоположники и первые руководители. Позиция Маркса по отношению к цензуре общеизвестна. «Цензура так же, как и рабство, никогда не может стать законной, даже если бы она тысячекратно облеклась в форму закона»,— писал он. В те времена некоторые либеральные круги придерживались мнения, что к широкой гласности нужно идти постепенно, шаг за шагом, мало-помалу расширяя круг разрешенных тем. Маркс саркастически издевался над подобными «защитниками» свободы печати: «Одни хотят привилегии только для правительства, другие хотят распределить ее между многими лицами; одни хотят полной цензуры, другие — половину ее, одни — три восьмых свободы печати, другие не хотят никакой. Избави меня бог от моих друзей!» Маркс подчеркивал, что «цензура не уничтожает борьбу, она делает ее односторонней, она превращает ее из открытой борьбы в тайную, а борьбу принципов превращает в борьбу бессильного принципа с беспринципной силой». Маркс утверждал, что правительство не имеет ни малейшего права мнить себя «единственным, исключительным обладателем государственного разума и государственной нравственности».

Великий революционер с огромной убедительностью выразил мысль о том, что наибольшее зло цензура причиняет не самой печати, а обществу и государству:

«Деморализующим образом действует одна только *подцензурная печать*. Величайший порок — лицемерие — от нее неотделим; из этого ее коренного порока проистекают и все остальные ее недостатки (...) Правительство слышит только *свой собственный голос*, оно знает, что слышит свой собственный голос, и тем не менее оно поддерживает в себе самообман, будто слышит голос народа, и требует также и от народа, чтобы и он поддерживал этот самообман. Народ же, со своей стороны, либо впадает отчасти в политическое суеверие, либо, совершенно отвернувшись от государственной жизни, превращается *в толпу людей, живущих только частной жизнью*».

К началу XX века в ведущих западных странах предварительная цензура прекратила свое существование. Либерализация законов, введение буржуазно-демократических конституций сделали практически излишним применение и последующей цензуры.

Разумеется, политическая и юридическая свобода зарубежной печати не исключает ее экономической несвободы и возможности идеологического давления государства и правящего класса. В остроумном рассказе одного американского писателя говорится о племени ляп-ляп, в котором все важные вопросы решались «демократическим» путем: при голосовании полагалось трубить в золотые трубы, и принималось то предложение, в чью пользу трубы пели громче всего. Поскольку золотые трубы имелись лишь у трех-четырех самых богатых людей племени, только они практически и вершили дела. Издательства, газеты и журналы тоже принадлежат богатым людям, и поэтому класс, который господствует в экономике, господствует и в печати. И тем не менее, его господство не монопольно, не абсолютно и не однородно. Оно оставляет широкие возможности для отражения широкого спектра общественного мнения.

Обратимся теперь к нашей непосредственной теме — отечественной цензуре, родной, до боли знакомой, неоднократно «воспетой» нашими писателями и поэтами, на каждом из которых она оставила рваные шрамы. («О варвар! Кто из нас, владельцев русской лиры, не проклинал твоей губительной секиры?» — писал в «Послании к цензору» Пушкин.)

Печатный станок, с момента его появления на Руси в XVI веке, находился в руках духовенства и оставался там до Петровских реформ. 2 января 1703 года вышла первая русская газета, положившая начало отечественной печати. Однако в первое столетие своего существования русская печать практически не являлась средством выражения общественного мнения. Поэтому и появление официальной регулярной цензуры отстало в России почти на сто лет от формального зарождения печатного слова. В ней просто не было нужды.

В 1783 году последовал известный именной указ Екатерины II о «вольных типографиях»: «Всемилостивейше повелеваем типографии для печатания книг не различать от прочих фабрик и рукоделий, и вследствие того позволяем, как в обеих столицах наших, так и во всех городах империи нашей, каждому по своей воле заводить типографии, не требуя ни от кого дозволения...»

Указ требовал, однако, известить об учреждении типографии местную управу благочиния (полицейское управление) и туда же отдавать печатаемые книги на просмотр. Эта оговорка (увы, как часто они встречаются!), по выражению Радищева, «утщетила благое намерение вольности книгопечатания». Он же осмелился подвергнуть эту оговорку критике: «Один несмышленый урядник благочиния может величайший в просвещении сделать вред и на многие лета остановить шествие разума».

Так или иначе указ о вольных типографиях содействовал свободе печати. Тот же Радищев смог свободно купить и поставить у себя дома станок и напечатать на нем свое знаменитое «Путешествие», из которого мы и взяли процитированную фразу. Несмотря на то, что книга предварительно получила разрешение петербургской Управы благочиния, Радищева за ее публикацию лишили орденов, званий и дворянского достоинства и на 10 лет сослали в Илимский острог.

На «вредные идеи» Великой французской революции в России ответили запретом ввоза иностранных книг, отменой указа о вольных типографиях и учреждением цензуры. В именном указе от 16 сентября 1796 года говорилось:

«В прекращение разных неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг, признали мы за нужное... учредить цензуру, из одной духовной и двух светских особ составляемую.

Никакие книги, сочиняемые или переводимые в государстве нашем, не могут быть издаваемы в какой бы то ни было типографии без осмотра от одной из цензур, учреждаемой в столицах наших, и одобрения, что в таковых сочинениях или переводах ничего закону божиему, правилам государственным и благонравию противного не находится.

...Цензуры должны наблюдать те же самые правила и в рассуждении привозимых книг из чужих краев так, что никакая книга не может быть вывезена (в Россию.— *В. К.*) без подобного осмотра, подвергая сожжению те из них, кои найдутся противными закону божию, верховной власти или же развращающие нравы».

Итак, еще совсем немного, и мы сможем торжественно отметить двухсотлетний юбилей отечественной цензуры — солидный (а главное, непрерывный) стаж!

В 1804 году появился первый русский цензурный устав (так называемый Александровский). В начальный, либеральный период правления Александра I он служил основанием для поощрения, послабления и попущения. Во второй, реакционно-аракчеевской половине царствования тот же устав использовался для запрещения, закрытия и гонения. С той поры русские литераторы усвоили, что дело не в уставе, а в «видах» правительства. Правление Александра I вообще характеризовалось резкими поворотами в политике: то, что вчера вызывало похвалу, сегодня могло повлечь жестокое наказание. Эта переменчивость нашла отражение во всех последующих уставах русской и советской цензуры, запрещающих переиздание ранее одобренных произведений без нового разрешения. Неискушенные умы часто удивлялись: зачем всякий раз надо заново подвергать цензуре, скажем, десятое издание учебника математики или пятнадцатое издание популярного романа? Ведь в них ничего не изменилось. Эти люди не понимали, что книги в своих новых изданиях действительно не меняются, но зато меняется время, меняются стоящие у власти, стало быть, меняется и их отношение к изданным ранее произведениям.

«Последнее пятилетие царствования Александра, когда вся литература сделалась рукописной» (Пушкин), было особенно тягостно для печати и словесности. «Всякая статья, где стоит слово „правительство", „министр", „губернатор", „директор", запрещена вперед, что бы она ни заключала,— жалуется газетчик в начале прошлого века.— Запрещено строжайше, даже в переводах с иностранного, представлять камергеров, министров, генералов и особенно князей и графов иначе, как в самых блестящих красках и людьми добродетельными». В цензурном комитете тон задавали Рунич и Магницкий — два мракобеса, прославившиеся невежеством, лицемерием, подлостью и страстью к доносительству. Но приход к власти Николая I заставил пожалеть даже об аракчеевщине. «Не обвиняю вас! Время!!! — стонал вполне верноподданный и благонамеренный издатель и журналист Булгарин в письме к цензорам.— А мы, дураки и скоты, плакали во времена Магницкого и Рунича! Да это был золотой век литературы в сравнении с нынешним!»

О наводнении 1824 года, свидетелями которого были 400 тысяч жителей русской столицы, написали газеты всей Европы, кроме... Петербурга. «Кто бы мог подумать, что для помещения известия о граде, засухе, урагане должно быть позволение министерства внутренних дел? — сетовал Булгарин в 1826 году.— От этого периодические издания потеряли свою занимательность, ибо издатели, будучи обязаны для напечатания нескольких страничек обегать все министерства и часто без успеха, вовсе отказываются от помещения отечественных известий». «Почтенные господа цензоры, будьте справедливы! И для вас есть потомство!» — взывал он.

Да, времена наступили тяжелые, однако не самые худшие. Ведь литератор тех лет мог жаловаться, писать цензорам, величая их по имени-отчеству, взывать к их совести и суду потомков. Тогда анонимные цензоры не прятались за обитую железом дверь, они были либеральными, уважаемыми членами общества, не стыдящимися своей профессии. Далеко не все были Руничами и Магницкими. Ведь должность цензора в разные годы занимали такие известные писатели, как друг Пушкина, «поэт и камергер» П. А. Вяземский, И. А. Крылов, С. Т. Аксаков, И. А. Гончаров, Ф. И. Тютчев. Цензор А. В. Никитенко, к которому обращался в цитированном письме Булгарин, был известным филологом, академиком и либералом, боровшимся за смягчение цензуры и не боявшимся пропускать самые смелые произведения. Недаром тот же Булгарин обвинял его в «коммунизме». Московский цензор С. Н. Глинка садился за свой мягкий характер на гауптвахту. «Прежде журналы зависели от произвола цензора, который все-таки не мог вполне пренебрегать тем, что о нем скажут в „обществе",— писал Никитенко.— Оттого он был до некоторой степени принужден действовать умеренно и снисходительно». Какой цензор теперь считается с тем, что скажут «в обществе» о нем — безымянном и невидимом?

Но цензура есть цензура. Либеральная или суровая, она никогда не может быть благодетельной. Вред, который она нанесла нашей литературе, трудно себе представить. Великий и могучий русский язык бывал правдивым, но никогда не был свободным. Материальные потери, а то и просто невозможность жить литературной работой, сознание тщетности своего труда, невозможность самовыражения, необходимость умолчаний и лжи, сознание своей униженности и бессилия — все это испытывал чуть ли не каждый русский писатель. Но в условиях цензуры всегда столь же несвободен и унижен читатель. И это грустное равноправие делало творческий труд еще более бессмысленным. «Ежели в стране уже образовалась восприимчивая читательская среда, способная не только прислушиваться к трепетаниям человеческой мысли, но и *свободно выражать* свою восприимчивость, писатель чувствует себя бодрым и сильным,— писал Салтыков-Щедрин.— Но он глубоко несчастлив там, где масса читателей представляет собой бродячее человеческое стадо, мятущееся под игом давления *внешнего свойства...*»

Множество произведений Пушкина годами ожидало выхода в свет и было напечатано лишь после его смерти. «Горе от ума» Грибоедова при его жизни так и не было сыграно в театре, не опубликовано. «Мертвые души», казалось, никогда не издадут. («Удар для меня никак не ожиданный: запрещают всю рукопись»,— писал Гоголь Плетневу.) «Путешественник Ансело говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и еще не изданной, о каком-то русском романе, прославившем автора и еще находящемся в рукописи, и о какой-то комедии, лучшей из всего русского театра, и еще не игранной и не напечатанной. Забавная словесность!» Забавно ли было Пушкину, когда он писал эти строки?

«Мертвые души» были пропущены только после девяти лет борьбы и серьезных «поправок». Был разрешен и «Ревизор», но травля Гоголя в связи с постановкой этой комедии привела его в конце концов к душевной болезни. «Комедия ли это? нет,— писал Булгарин.— На злоупотреблениях административных нельзя основать настоящей комедии. Друзья должны откровенно сказать автору „Ревизора", что он не знает сцены и должен изучать драматическое искусство». Публичное преследование разрешенных цензурой произведений уже и тогда было характерно для русской жизни. («Общество утеснительнее цензуры»,— жаловался видный историк и общественный деятель Т. Н. Грановский.) Ведь свобода односторонней информации, из-

вращения фактов, печатные доносы, клевета, разнузданные кампании — неотъемлемая черта подцензурной печати. Авторы лживых статей, восторженных панегириков, гнусных пасквилей всегда были уверены: возражать им нельзя. Никто не схватит их за руку, никто не сможет уличить во лжи. Все приемы хороши в боксе, когда у противника связаны руки. Публичное охаивание людей или групп, которые не имеют возможности защищаться, и называется печатным доносом. «Когда по милости слишком строгой цензуры вся словесность бывает наводнена выражением лести и явного лицемерия,— писал общественный деятель А. С. Хомяков,— честное слово молчит, чтобы не мешаться в этот отвратительный хор или не сделаться предметом подозрения по своей прямодушной резкости: лучшие деятели отходят от дела, все поле действия предоставляется продажным и низким душам; душевный разврат, явный или кое-как прикрытый, проникает во все произведения словесности; и мало-помалу в обществе растет то равнодушие к правде и нравственному добру, которого достаточно, чтобы отравить целое поколение и погубить многие, за ним следующие».

Цензура тех лет нанесла урон немалому числу шедевров нашей литературы. Однако, когда приглаживают уже написанную вещь — это еще полбеды. Хуже, когда под влиянием внешних обстоятельств произведение начинает искривляться еще в стадии вынашивания замысла и созревания рукописи, и вместо крепкого здорового ребенка на свет появляется горбатый уродец, которого может исправить только могила. Совсем плохо, когда цензурные соображения убивают произведение еще в зародыше. «Перо так и толкается о такие места, которые цензура ни за что не пропустит»,— сообщает Гоголь о замысле новой комедии. Она так и не была написана. Сколько из-за этого не появилось произведений, которые могли бы составить гордость нашей литературы! «Не вдруг решаешься передавать свои мысли печати, когда в конце каждой страницы мерещится жандарм, тройка, кибитка и в перспективе Тобольск или Иркутск»,— писал Герцен.

Можно убить в себе рождающийся замысел раз, другой, третий, но это не проходит безнаказанно. Аборты приводят к бесплодию. Молчание — к творческой смерти. Сотни рукописей искажены авторами, тысячи попали в ящики письменных столов, но десятки тысяч просто не написаны из-за цензуры. Закрытый кран останавливает движение жидкости не только на выходе, но и во всем трубопроводе. Так и цензура — она вообще останавливает творческий процесс.

Отечественной традицией стала и самоцензура, это неизбежное следствие и спутник официальной цензуры. Еще Грибоедов усердно кромсал свое «Горе», стремясь (как мы теперь знаем, напрасно) увидеть его поставленным и напечатанным. Он внес в пьесу десятки цензорских исправлений. «Меняю дело на глупость»,— сообщает он об этом в письме.

В 1826 году правительство, напуганное восстанием декабристов, приняло новый цензурный устав, разработанный президентом общества «губителей русского слова» (Пушкин) откровенным ретроградом А. С. Шишковым. Устав практически уничтожал возможность существования какой-либо печати, кроме официальной. Шишковский «чугунный» устав действовал недолго. В 1828 году он был заменен новым, более мягким, просуществовавшим все царствование Николая I. Однако и тот был настолько суров, что, по свидетельству современника, «станок печатный был почти отменен и рукопись ходила по рукам вместо печатной страницы». Прекрасную зарисовку взаимоотношений литературы и цензуры оставил нам Пушкин:

Со светлым червячком встречается змея
И ядом вмиг его смертельным обливает.
«Убийца! — он вскричал,— за что погибнул я?»
«Ты светишь»,— отвечает.

Но даже в этот ледниковый период случались годы и потеплее (например, период с 1840-го по 1848 годы), что позволило расцвести гению Белинского. Это еще раз подтверждает мысль о том, что суровость цензуры определяется не ее уставом, а общим политическим климатом.

Европейские революции 1848 года вновь обострили реакцию в николаевской России. Для контроля над цензурой и печатью был учрежден особый негласный правительственный «комитет 2-го апреля» под руководством Д. П. Бутурлина, немедленно приступивший к расправам. В том же году были разгромлены петрашевцы, сослан Салтыков-Щедрин, Белинского спасли от каторги только чахотка и смерть.

В правительственном циркуляре было высказано неудовольствие: «действие цензоров ограничивается единственно тем, что они возвращают писателям преступные сочинения или уничтожают в них некоторые места, а сами писатели остаются не только без взыскания, но даже в неизвестности правительству». Было предложено негласно ставить таких авторов под надзор III отделения.

Скучные, верноподданнические, бесцветные журналы и газеты тех лет почти потеряли подписчиков. «Действия цензуры превосходят всякое вероятие,— писал в дневнике Никитенко.— Чего этим хотят достигнуть? Остановить деятельность мысли? Но ведь это все равно, что велеть реке плыть обратно».

В 1855 году Николай I умер. «Теперь только открывается, как ужасны были для России прошедшие 25 лет,— записывает Никитенко.— Администрации в хаосе; нравственное чувство подавлено; умственное развитие остановлено; злоупотребления и воровство выросли до чудовищных размеров».

Опыт тридцатилетнего царствования Николая I показал, что там, где отсутствуют выборность, гласность, ответственность властей перед обществом, где принуждение возводится в догму, а догмы становятся выше закона, где правительство опасается общественного мнения и не уверено в поддержке большинства народа, где цензура является неизбежным элементом политической системы, призванным замазывать недостатки, подавлять недовольство и помогать удерживать власть, там государство не усиливается, но ослабляется, а общество приходит к духовному застою и вырождению.

«Нам было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет без существенного вреда для всего общественного организма,— писал в 1857 году Тютчев.— Видно, всякое ослабление и заметное умаление умственной жизни в обществе неизбежно влечет за собой усиление материальных наклонностей и гнусно-эгоистических инстинктов. Даже сама власть с течением времени не может уклониться от неудобств подобной системы. Вокруг той сферы, где она присутствует, образуется пустыня и громадная умственная пустота, и правительственная мысль, не встречая извне ни контроля, ни указания, ни малейшей точки опоры, кончает тем, что приходит в смущение и изнемогает под собственным бременем еще прежде, чем бы ей было суждено пасть под ударами злополучных событий».

Почти тот же урок из тридцати лет застоя извлек известный поэт и публицист И. С. Аксаков. «Государство в видах собственного сохранения должно предоставить полнейшую свободу деятельности общественному мнению,— писал он.— Что желательнее для правительства, прозрачность и гласность со всеми ее подчас неизбежными неудобствами или совершенная темь, глушь и безмолвие? (...)

Где нельзя говорить своим голосом, там не может быть и искренней речи, и вместо нее будет раздаваться одна благонамеренная фистула.

Стеснение печати есть стеснение жизни общественного разума,— оно парализует все духовные отправления общества, осуждает его действия на бессилие, удерживает общество в вечной незрелости...»

Печать есть лишь флюгер общественного мнения. Нелепо полагать, что ветер должен дуть туда, куда показывает флюгер, а не наоборот. «Если нет людям достаточных причин быть недовольными, то и не внушишь им недовольства никакими словами, изустными ли, письменными, печатными ли,— писал Чернышевский.— Это делается не словами, а фактами жизни». Очевидно, что цензура существует не для охраны общественного здоровья, а для укрепления существующей власти. Тот же Чернышевский писал, что цензура появляется там, где «правительству приходится держать себя с управляемою нациею, как нациею, враждебной ему». Но даже в этом плане, если рассматривать ее как охранительную силу не с сиюминутных позиций, а с точки зрения конечных исторических результатов, она бессмысленна. Цензура не спасла от падения ни Бурбонов, ни Романовых, не спасет ни один другой режим. 31 мая 1858 года русская цензура запретила употреблять в печати слово «прогресс». Остановился ли он из-за этого? Опыт николаевской реакции показал, что ущемление свободы слова не только не гасит народное недовольство, но скорее накапливает его, не давая ему выхода.

Смерть Николая I повлекла за собой некоторую либерализацию цензуры. В 1855 году негласный комитет Бутурлина был упразднен. Одной из мотивировок такого решения было то, что «в писателях и цензорах окончательно водворена та весьма действительная уверенность, что над ними всегда, неусыпно, неослабно действует глаз правительства». В докладе комиссии по этому вопросу отмечалась также неэффективность цензурных стеснений, поскольку «распространяется рукописная литература, гораздо более опасная, ибо она читается с жадностью, и против нее бессильны все полицейские меры».

Борьба противостоящих общественных сил в период подготовки реформы, освобождающей крестьян, неоднократно вызывала в эти годы усиление реакции и обострение цензуры. Правители «помешались на том, что все революции на свете бывают от литературы,— замечает Никитенко,— они не хотят понять, что литература только эхо образовавшихся в обществе понятий и убеждений». И он же делает следующую запись: «Никакая сила не в состоянии уследить за тайно подвизающейся мыслью, раздраженною и принужденною быть лукавой».

Примером такой «лукавой мысли» был роман Чернышевского «Что делать?», пропущенный цензурой в 1863 году. Любопытно, что разрешение было дано в тот момент, когда автор романа находился в Петропавловской крепости и считался государственным преступником. Можно ли представить себе нечто подобное в недавние времена?

В 1865 году николаевский устав был, наконец, отменен. Вместо него были введены «Временные правила» о цензуре — фактически новый устав. Предварительная цензура для большинства органов печати отменялась. Вводилась карательная цензура в виде предостережений, административных взысканий, временной приостановки выпуска издания или полного его запрещения. В составе министерства внутренних дел было организовано Главное управление по делам печати, которое и руководило цензурой.

Чтобы читателю стала более понятна сущность проведенных реформ, сделаем некоторые пояснения общего характера.

Различают два вида цензуры: предварительную (или запретительную) и последующую (или карательную). При предварительной цензуре произведения рассматриваются до их публикации. Из принципа давать особое разрешение на выпуск каждого произведения вытекает, что каждое неразрешенное обнародование само по себе уже составляет проступок, преследуемый государством, и наоборот, все дозволенное не нарушает никаких законов и установлений.

При последующей цензуре нет предварительного просмотра рукописей и не существует органа для такого просмотра. Автор волен печатать все, что ему вздумается. Но в случае, если посредством печати нарушается какой-нибудь закон общего права, автор или издатель могут подвергнуться административному или судебному взысканию. Например, печатная клевета, распространение ложных слухов, безнравственные публикации, разглашение государственной тайны могут повлечь за собой применение соответствующих статей уголовного кодекса. Так что термин «карательная» применительно к этому виду цензуры носит не эмоциональный, а чисто служебный характер.

Поскольку карательная цензура является частным случаем применения общих законов (о клевете, распространении ложных слухов и прочее) и не связана ни с какими особыми правилами и законами о печати и поскольку для ее осуществления не создается никакого специального органа, а используются обычные юридические механизмы (суд, прокуратура и тому подобное), то ее вообще не принято называть цензурой. Таким образом, под цензурой обычно понимают предварительный контроль печати и зрелищ. Одновременно оба вида цензуры (предварительная и карательная) в нормальных условиях никогда не применяются, поскольку они по определению исключают друг друга (к сожалению, условия бывают и ненормальные, о чем скоро пойдет у нас речь).

Последующая цензура, в принципе, равнозначна понятию «свобода печати», однако она связана для писателя, журналиста и издателя с известным риском. За каждое опубликованное произведение государство или любое юридическое лицо может привлечь автора (или печатный орган) к ответственности. Если в стране действуют жестокие и плохо сформулированные законы (а то и вовсе беззаконие), если пресса стеснена административными установлениями и оговорками, государство получает широкие возможности для преследования непокорной печати. Газеты и журналы подвергаются непомерным штрафам, закрываются (временно или окончательно), их редакторов сажают в тюрьму. «С тех пор, как мы получили свободу прессы,— я трепещу»,— писал Салтыков-Щедрин после русской цензурной реформы 1865 года. Неудивительно, что в этих условиях оппозиционные органы печати нанимали себе фиктивных «редакторов для отсидки». Подобный «зитц-председатель» Фукс, который «сидел при Александре Втором Освободителе, Александре Третьем Благословенном, Николае Втором Кровавом» и так далее, колоритно описан Ильфом и Петровым.

Таким образом, последующую цензуру можно отождествлять со свободой печати лишь при наличии демократических законов, разумного и независимого судоустройства, общественной терпимости, широкой гласности.

У предварительной цензуры есть перед последующей одно, но немаловажное достоинство: автор и издатель не несут, в принципе, ответственности за опубликованное произведение, поскольку оно уже разрешено властями. Однако это служит слабой компенсацией за потерю свободы мысли.

Некрасов откликнулся на отмену правительственной цензуры поэмой «Газетная» и «Песнями о свободном слове». «Песни» кончались благоразумным призывом:

Осторожность! Осторожность!
Осторожность, господа!

Опасения не были лишними. Несмотря на заметное послабление цензуры, преследования печати не прекращались. Примером тому служит хотя бы закрытие журнала того же Некрасова (уже умершего) и Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки» (1884 год). За 40 лет (1865—1905) печать получила в общей сложности около 800 цензурных взысканий. Как насмешливо писал поэт Курочкин,

Здесь над статьями совершают
Вдвойне кощунственный обряд:
Как православных, их крестят,
И как евреев — обрезают.

Познакомимся же с уставом царской цензуры образца 1865 года, определявшим положение о печати в пореформенной России вплоть до революции 1905 года, в тот самый период, который Ленин определил так: «Проклятая пора эзоповских речей, литературного холопства, рабьего языка, идейного крепостничества». Эта цензура была отнюдь не тотальна. Статья 6 устава освобождала от предварительной цензуры следующие произведения печати:

«а) *в обеих столицах:* 1) все оригинальные сочинения объемом не менее десяти печатных листов и 2) все переводы объемом не менее двадцати печатных листов; б) *повсеместно*: 1) повременные издания, получившие от Министра внутренних дел разрешение на выход без предварительной цензуры; 2) все издания правительственные; 3) все издания академий, университетов и ученых обществ и установлений; 4) все издания на древних и классических языках и переводы с сих языков; 5) чертежи, планы и карты».

Таким образом, до 1917 года от предварительного контроля освобождались газеты, журналы, толстые книги, правительственные издания, научные работы, планы, карты — другими словами, чуть ли не бóльшая часть печатной продукции, все, что сейчас подлежит строгому контролю.

Запретительная часть устава — статья 4 — гласила:

«Произведения словесности, наук и искусств подвергаются запрещению цензуры на основании правил сего Устава: 1) когда в оных содержится что-либо клонящееся к поколебанию учения православной церкви, ее преданий и обрядов, или вообще истории и догматов христианской веры; 2) когда в оных содержится что-либо нарушающее неприкосновенность верховной самодержавной власти, или уважение к императорскому дому, и что-либо противное коренным государственным постановлениям; 3) когда в оных оскорбляются добрые нравы и благопристойность и 4) когда в оных оскорбляется честь какого-либо лица...»

Наибольшие трудности при составлении любого устава вызывает четкое определение идей и фактов, подлежащих запрещению. Действительно, как определить, что произведение вредно? Как доказать, что какая-либо часть его или отдельная фраза или даже слово являются крамольными? После долгого обсуждения устава было признано, что «словами „вредное направление" выражается мысль общая. Нет никакой возможности даже приблизительно выразить бесспорные признаки вредного направления». Дело, однако, заключается не только в невозможности точных определений, но и в политическом лицемерии: «Ни одно государство не имеет мужества высказать в виде определенных законоположений то, что оно фактически может проводить при помощи цензора как своего органа» (Маркс). Поэтому цензоры в своих решениях руководствовались не столько уставом, сколько собственной интуицией и духом времени. Были они консервативными или либеральными — особого значения не имело.

У Салтыкова-Щедрина в «Современной идиллии» описан такой человеколюбивый полицейский чин, который на всякий случай сажал в каталажку даже ни в чем не повинных людей. «Он имел доброе сердце и просвещенный ум, но был беден и дорожил жалованьем. Впоследствии мы узнали, что и у исправника и у его помощников тоже были добрые сердца и просвещенные умы, но и они дорожили жалованьем. И все корчевские чиновники вообще. Добрые сердца говорили им: „Оставь!", а жалованье подсказывало: „Как бы чего из этого не вышло!"»

Внушая страх, цензоры боялись и сами. Они знали, что их никогда не накажут за убийство самого талантливого произведения; кара может быть только за разрешение. И потому они боялись разрешать. Цензоры «не держатся никакой системы и следуют только внушениям страха»,— писал Никитенко, который сам тридцать с лишним лет был цензором.

Впрочем, во многих отношениях царский цензурный устав отличался известной мягкостью. Например, статья 58 предоставляла автору или издателю протестовать против решения цензора и «настоятельно требовать, чтобы его книга или статья была пропущена». Цензорам возбранялось искать в рукописях скрытые намеки и подтексты. Статья 105 определяла, что цензура «в суждениях своих принимает всегда за основании явный смысл речи, не дозволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону». Это позволяло авторам широко использовать иносказательный, «эзоповский» язык. Например, ловкий журналист подвергал острой критике систему образования в каком-нибудь немецком княжестве, но искушенный читатель догадывался, о какой стране на самом деле идет речь. Знали это и цензоры, но 105-я статья до некоторой степени связывала им

руки. И даже такое положение вызывало недовольство писателей. «Я — русский литератор и потому имею две рабские привычки: во-первых, писать иносказательно и, во-вторых, трепетать»,— свидетельствует Салтыков-Щедрин.

Царская цензура не обращала внимания на такие недостатки произведений, как мелкотемье, отсутствие важных социальных проблем и прочее. Статья 111 специально оговаривала, что «цензура не имеет права входить в разбор справедливости или неосновательности частных мнений и суждений писателя, если только оные не противны общим правилам цензуры; не может входить в суждение о том, полезно или бесполезно рассматриваемое сочинение, буде только оно не вредно». Цензура тех лет отнюдь не отличалась секретностью и была вполне гласной (если только слова «гласность» и «цензура» можно сочетать). Она была жестока, но не настолько, чтобы не позволять несчастным литераторам негодовать и ругать самое себя. Вот почему Пушкин, Гоголь, Белинский, Некрасов, Тютчев, Писемский, Салтыков-Щедрин и другие наши духовные учителя имели возможность многократно и красноречиво отзываться об «угрюмом стороже муз».

Какова была процедура направления произведения в цензуру? В добрые старые времена она отличалась патриархальной простотой: «При представлении рукописи или книги в цензуру не требуется от представляющего никаких прошений и записок» (ст. 47). «Представляющим» мог быть и автор, и издатель, и типограф. Достаточно было уплатить гербовый сбор — 1 рубль 20 копеек,— и цензор с красным карандашом брался за дело. Сдав рукопись в цензуру, автор начинал «трепетать», о чем со знанием предмета писал Щедрин:

«Как только процесс писания кончился, боязнь чего-то неопределенного немедленно вступает в свои права. И она усиливается и усиливается по мере того, как наступает час, с которого должен считаться срок... нахождения слова человеческого в чреве китовом. Чудятся провинности, преступления, чуть не уголовщина. И в то же время ласкает рабская надежда: а может быть и пройдет! Я знаю, что это надежда гнусная, неопрятная, что она есть не что иное, как особое видоизменение трепета, но и знаю также, что она не только лично для меня, но и вообще представляет единственную руководящую нить в современном литературном ремесле».

Одобрив рукопись, цензор уже не имел права требовать материал для вторичного просмотра и обязан был разрешать книгу, если она напечатана «сходно с проверенным подлинником». Если он вдруг обнаруживал, что сделал по неосторожности какой-нибудь важный промах, он мог просить вышестоящие инстанции разрешить перепечатать те или иные листы книги. Перепечатка в таком случае происходила за счет цензора.

Театральная цензура была отделена от общей. Особенности сценического искусства «вызвали усиленный контроль и опеку над театром со стороны администрации, желающей ограничивать свободные мысли, чувства и слова. Вот почему театр больше других искусств терпит гнет цензуры, религиозных и полицейских ограничений. Вот почему он поставлен вне всяких законов и не огражден никаким правом».

Эти слова произнес Станиславский в докладе «О цензуре», с которым выступил в 1905 году в Московском литературно-художественном кружке. Великий режиссер пунктуально (в буквальном смысле — по пунктам) обрисовал «цензурные условия театра» и насчитал десяток инстанций, надзирающих за благородным искусством. Более всего Станиславского возмущало, что «на сцене действующим лицам воспрещено говорить то, что публика прежде всего хочет от них слышать».

В цензуре России пореформенного периода сменялись волны тепла и холода, но в целом контроль над печатью был уже далеко не столь беспощаден, как в начале и середине века. Например, в 1872—1896 гг. последовательно появились в печати все три тома «Капитала» Маркса. В это же время были опубликованы основные сатирические произведения Салтыкова-Щедрина. Огромное количество литературы издавалось нелегально, в том числе марксистские книги, листовки и газеты.

Цензура была не в силах бороться с переменами, которые несло время. Революция 1905 года нанесла ей новый удар:

«Была завоевана свобода печати. Цензура была просто устранена. Никакой издатель не осмеливался представлять властям обязательный экземпляр, а власти не осмеливались принимать против этого какие-либо меры. Впервые в русской истории свободно появились в Петербурге и других городах революционные газеты. В одном Петербурге выходило три ежедневные социал-демократические газеты с тиражом от 50 до 200 тысяч экземпляров»,— писал Ленин.

24 ноября 1905 года были введены новые «временные правила» о периодической печати. Они отменили предварительную цензуру и административные взыскания, но оставляли штрафы и право закрывать издания при чрезвычайном положении. Поражение революции привело к некоторой реанимации цензуры. Ее гнет усиливался в годы реакции (1908—1912) и несколько ослабевал в периоды Дум. Однако дни царской цензуры были уже сочтены. Она была уничтожена вместе с царизмом в феврале 1917 года.

При Временном правительстве общая цензура не восстанавливалась, но военная продолжала функционировать. В периоды обострения классовых боев некоторые органы печати запрещались к дальнейшему изданию. В июле 1917 года была закрыта большевистская «Правда», призывавшая к прекращению войны и свержению правительства. Ленин назвал этот акт «палачеством». В октябре 1917 года Временное правительство было свергнуто. Однако история российской цензуры на этом отнюдь не закончилась.

Русские марксисты всегда крайне отрицательно относились к цензуре. В произведениях Ленина неоднократно встречаются такие выражения, как «азиатская цензура», «крепостная цензура», «прокрустово ложе русской цензуры», «намордник цензуры». Он возмущен тем, что общество позволяет «полицейскому правительству держать в рабстве всю печать», и сетует: «Почему русский рабочий мало еще проявляет свою революционную активность по поводу безобразной цензуры?»

Одним из краеугольных камней партийной программы большевиков до прихода их к власти было требование и обещание свободы печати. В Программе, принятой на II съезде РСДРП в 1903 году, ставилась целью неограниченная свобода совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов (п. 5).

Посмотрим, как это обещание было выполнено. 26 октября (8 ноября) 1917 года было создано первое советское правительство. Уже на другой день «в пять часов утра в типографию городского самоуправления явились красногвардейцы, конфисковали тысячи экземпляров думского воззвания-протеста и закрыли официальный орган Думы „Вестник городского самоуправления". Все буржуазные газеты были сброшены с печатных машин...» (Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир.)

Насильственное закрытие газет естественно вытекало из логики вооруженного переворота. Было бы нелепо занимать Зимний дворец, почтамт, телеграф и вокзалы и в то же время оставлять печать в руках политических и военных противников. Однако этот шаг слишком уж противоречил прежним заявлениям партии, тысячи членов которой посвятили жизнь борьбе «за лучший мир, за святую свободу». Поэтому появившийся в тот же день Декрет о печати — одно из первых установлений Советской власти — не только подвел юридическую базу под совершившееся, но и дал ему теоретическое обоснование. В декрете всячески подчеркивались вынужденность, ограниченность и временность этой меры. В нем, в частности, говорилось: «...невозможно было целиком оставлять это оружие в руках врага, в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы. Вот почему и были приняты временные меры для пресечения потока грязи и клевет, в которых охотно потопили бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса.

Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону».

В декрете указывалось, что стеснение печати «имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни».

Предоставляя проницательному читателю самому поразмыслить над тем, насколько затянулось наступление «нормальных условий общественной жизни» и почему до сих пор не прекращено «административное воздействие на печать», отметим одно важное последствие декрета. Закрытие газет означало, что противники большевиков не могут более рассчитывать на продолжение борьбы с ними политическими средствами. Им оставалось только взяться за оружие. Начало гражданской войны может быть поэтому с известной долей истины датировано именно этим днем.

Против Декрета о печати выступили не только противники, но и союзники большевиков — левые эсеры, состоявшие в правительстве. Их поддерживала часть самих большевиков. Однако большинством голосов на заседании ВЦИК 4 (17) ноября Декрет о печати был одобрен. На заседании с речью выступил Ленин. Он, в частности, сказал:

«Троцкий был прав: во имя свободы печати было устроено восстание юнкеров, объявлена война в Москве и Петрограде (...)

Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в руки. Терпеть существование этих газет — значит перестать быть социалистом. Тот, кто говорит: „откройте буржуазные газеты", не понимает, что мы полным ходом идем к социализму. И закрывали же царские газеты после того, как был свергнут царизм. Теперь мы свергли иго буржуазии (...)».

Во исполнение декрета 18 декабря 1917 года Народным комиссаром юстиции было принято «Постановление о ре-

волюционном трибунале печати». Заседания трибуналов должны были происходить публично. Их решения обжалованию не подлежали. Первоначально за преступления в печати предусматривались относительно мягкие наказания (денежные штрафы, порицания и тому подобное, хотя не исключалась и общеуголовная ответственность), но уже через месяц полномочия революционного трибунала печати были серьезно расширены. Декретом Совнаркома от 28 января 1917 года было постановлено создание при трибуналах печати Следственной комиссии, которая имела право на аресты, обыски, выемки и освобождение арестованных. Она могла также требовать от любых лиц и организаций любые нужные ей документы и сведения. Более того, она имела право осуществлять над организациями и лицами надзор. Ассортимент наказаний трибунала печати тоже заметно расширился и включил в себя лишение свободы, ссылку, лишение политических прав. Еще ранее, 7 (20) декабря 1917 года была учреждена ЧК, одной из задач которой была «борьба с контрреволюционной печатью, устной агитацией, заговорами и пр.» («Положение о губернских и уездных ЧК» от 14 сентября 1918 года, подписанное Дзержинским). Борьбу эту ЧК вела решительно и споро, не всегда обременяя себя судебными процедурами.

Общая цензура, как уже сказано, была уничтожена еще Временным правительством. Но оставалась неотмененная им военная цензура. 26 января 1918 года она была упразднена распоряжением Наркома по военным делам. Фактически, однако, ее функции взял на себя Военный Почтово-Телеграфный контроль, созданный в тот же день. 29 декабря того же года приказом Реввоенсовета за подписью Троцкого Военная цензура была восстановлена в полной мере. Ей предоставлялись чрезвычайно широкие права. Особо подчеркивалось, что Военная цензура вводится «на всем протяжении Республики», то есть на всей ее территории, а не только в воинских частях и гарнизонах. Приказ знаменателен и тем, что в нем впервые в советское время цензура открыто названа своим именем, традиционно ненавистным большевистской партии. Примерно до середины 30-х гг. слова «цензор» и «цензура» применительно к нашим органам контроля над печатью употреблялись безо всяких комплексов.

Не заставило себя долго ждать и учреждение общей (гражданской) цензуры. Она появилась на свет в скромном обличье Государственного издательства, создание которого было декретировано 21 мая 1919 года. Госиздат представлял собой своего рода министерство, нечто вроде нынешнего Госкомиздата, монополизировавшее всю издательскую работу государства в стране. Пункт 2 «Положения о Госиздате» давал ему право контролировать издательскую деятельность всех советских учреждений, а пункт 3 — всех прочих издательств, ученых и литературных обществ. Более подробно контролирующая роль Госиздата была разъяснена декретом Совнаркома от 12 декабря 1921 года «О частных издательствах». По этому декрету пока еще разрешалась деятельность частных издательств (пройдет несколько лет, и они будут запрещены). Им предоставлялось право иметь собственные типографии, конторы, склады и прочее (такого типа издательство живо описано в «Театральном романе» Булгакова). Однако издательства и выпуск книг были поставлены под жесткий контроль. Соответствующие пункты декрета гласили:

«...8. Выдача разрешений на возникновение издательства и на печатание рукописей возлагается на Госиздат и его Отделения на местах, а где их нет — на Губполитпросвет.

9. Каждая отдельная рукопись до сдачи ее в набор должна быть разрешена к печати органами, указанными в ст. 8, о чем должно быть отмечено на каждой напечатанной книге».

Эти скромные два пункта разрослись в 1930-е гг. в многостраничные правила Главлита, но суть их («каждая отдельная рукопись до сдачи ее в набор должна быть разрешена к печати органами») уже более не изменилась.

Как явствует из декрета, непосредственная роль контроля над печатью отводилась также и Политпросвету. Эта организация, основанная в 1920 году, объединила под своей эгидой многочисленные идеологические, информационные и просветительские учреждения. В административном или методическом отношении ему подчинялись Госиздат, РОСТА, театры и прочее.

Таким образом, в период военного коммунизма сложилась пусть несколько беспорядочная, но довольно эффективная система контроля. Не связанные громоздкими правилами и необъятными инструкциями (это пришло позднее), сотрудники на местах подавляли любые устные и печатные мнения, которые они считали враждебными.

В 1921 году, когда кончилась гражданская война и острота классовой борьбы несколько снизилась, видный большевистский деятель Г. Мясников предложил ввести полную свободу печати. Ленин ответил ему решительным возражением:

«Буржуазия (во всем мире) еще сильнее нас и во много раз. Дать ей такое оружие, как свобода политической организации (свобода печати, ибо печать есть центр и основа политической организации), значит облегчить дело врагу, помогать классовому врагу.

Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем...»

Таким образом, введение свободы печати, в принципе желательное, казалось тогда Ленину преждевременным из-за слабости нового строя. Однако еще в 1917 году Ленин выдвинул не только негативную (запретительную), но и позитивную программу в области свободы печати:

«Государственная власть, в виде Советов, берет *все* типографии и *всю* бумагу и распределяет ее *справедливо*: на первом месте — государство, в интересах большинства народа, большинства бедных, особенно, большинства крестьян, которых веками мучили, забивали и отупляли помещики и капиталисты.

На втором месте — крупные партии, собравшие, скажем, в обеих столицах сотню или две сотни тысяч голосов.

На третьем месте — более мелкие партии и затем любая группа граждан, достигшая определенного числа членов или собравшая столько-то подписей.

Вот какое распределение бумаги и типографий было бы справедливо и, при власти в руках Советов, осуществимо без всякого труда!».

Эта программа очень знаменательна. Она показывает, что Ленин полагал возможной и справедливой свободу печати и после свержения буржуазии, что он считал возможным партийное и политическое многоголосие и при Советской власти. Ленин понимал, и он неоднократно подчеркивал это (как, например, в Декрете о печати), что ограничение свободы слова может быть лишь вынужденной и временной мерой. Ведь закрытие буржуазных газет, запрещение нежелательных высказываний, сколь бы полезным оно ни являлось для дела революции в данный момент, имело и негативные стороны, обладавшие замедленным, но ощутимым воздействием. Появление должностных лиц, по своему разумению определявших, какие именно газеты и мнения следует считать буржуазными и контрреволюционными, а какие нет, создавало предпосылки для возможного произвола в будущем. Разумеется, гражданская война, интервенция, разруха, заговоры, мятежи, бандитизм давали контролю над печатью известный смысл и оправдание. Однако неуважение к свободе слова, к законности, к фундаментальным правам личности могло укорениться необратимо и стать неотъемлемым свойством новой власти. Поэтому важно было не перейти границу. Еще важнее было вовремя остановиться. Победа в гражданской войне, уничтожение буржуазии как класса, поддержка политики партии большинством населения создавали все возможности для расширения свободы печати. К сожалению, этого не произошло.

6 июня 1922 года последовал декрет Совнаркома об учреждении Главлита: «В целях объединения всех видов цензуры печатных произведений учреждается Главное Управление по делам литературы и издательств при Народном Комиссариате Просвещения и его местные органы — при губернских отделах народного образования». С этой даты начинается история современных органов советской цензуры.

К полномочиям Главлита (с измененным названием он существует и поныне) мы обратимся несколько позже. А пока проследим развитие административных установлений в этой сфере.

2 декабря 1922 года вышло постановление Совета Труда и Обороны «О порядке открытия печатных предприятий и наблюдения за ними». Разруха еще не кончилась, нэп был в самом разгаре, поэтому, уступая духу времени, постановление допускало открытие (с разрешения исполкома) типографий не только государственным учреждениям, но и частным лицам. Постановление предусматривало тщательный учет и контроль всей печатной продукции, которая была обязана получить «одобрение цензуры» (п. 9). Уже тогда наблюдение за типографиями было поставлено лучше, чем их открытие.

Первоначально Главлит имел своей задачей только цензуру печати. Надзор за зрелищами возлагался на заведующих губернскими отделами народного образования. Скоро такой надзор показался недостаточным. Декретом Совнаркома от 9 февраля 1923 года при Главлите был создан Комитет по контролю за репертуаром (Репертком), на который возлагалось «разрешение к постановке драматических, музыкальных и кинематографических произведений». Позднее (в 1934 году) Репертком был отделен от Главлита и переименован в Главное управление по контролю за зрелищами и репертуаром при Наркомпросе РСФСР, но сокращение «Главрепертком» за ним надолго сохранилось. Вред, который нанесло это учреждение нашему обществу, трудно себе представить. «Зловещую тень» Главреперткома пророческими словами охарактеризовал в 1930 году травимый Булгаков: «Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубит ее».

Отношение Булгакова к цензуре, «воспитывающей идиотов, панегиристов и запуганных „услужающих"», вполне однозначно: «Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти ни существовала, мой писательский долг

так же, как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и, полагаю, что, если бы кто-нибудь из писателей задумал бы показать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично утверждающей, что ей не нужна вода...»

Главлит объединил в себе все виды цензуры, но не все виды цензурных учреждений. Чрезвычайная комиссия как таковая к тому времени уже не существовала. Девятый съезд Советов, проходивший в декабре 1921 года, отметив героическую работу ВЧК и ее громадные заслуги, все же постановил «в кратчайший срок пересмотреть Положение о ВЧК и ее органах в направлении ее реорганизации, сужения их компетенции и усиления начал революционной законности».

Во исполнение этого постановления ВЦИК декретом от 6 февраля 1922 года реорганизовал ВЧК в Государственное Политическое Управление при НКВД. С образованием в декабре 1922 года Союза ССР оно было преобразовано в ОГПУ и передано в подчинение непосредственно Совнаркому. ОГПУ были приданы специальные войска и дано право производить обыски, выемки и аресты. Официально задачей ГПУ была борьба с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом. В 1934 году функции ОГПУ перешли к НКВД.

По «Положению» 1922 года один из трех руководителей Главлита назначался по согласованию с ГПУ (п. 6), другой выдвигался Реввоенсоветом, а председатель назначался Наркомпросом. Пункт 10 того же «Положения» определял, что «на органы ГПУ возлагается борьба с распространением произведений, не разрешенных Главным Управлением по делам литературы и издательств и его органами, а также надзор за типографиями, таможенными и пограничными пунктами, борьба с подпольными изданиями и их распространением, борьба с провозом из-за границы неразрешенной к обращению литературы, наблюдение за продажей русской и иностранной литературы, изъятие книг, не разрешенных Главлитом».

ГПУ предоставлялось также право возбуждать перед Главлитом вопрос о запрещении тех или иных книг (то есть фактически осуществлять последующую цензуру). Пять экземпляров всей печатной продукции в обязательном порядке высылались в ГПУ — НКВД. В случае нарушения цензурных инструкций Главлит имел право передать дело в ГПУ.

ГПУ и НКВД принимали также участие в руководстве Реперткомом. Для обеспечения возможности осуществления контроля над исполнением произведений всем зрелищным предприятиям было предписано отводить по одному постоянному месту, не далее четвертого ряда, а также бесплатные вешалки и программы, представителям Реперткома и ГПУ (постановление трех наркоматов от 30 марта 1923 года, п. 17). Это правило действует, кажется, и поныне.

Не оставалась в стороне от надзора за печатью и милиция. В ее задачу входила выдача разрешений на открытие типографий и общее наблюдение за порядком. 17 ноября 1923 года инструкцией НКВД участковому надзирателю было предписано наблюдать, чтобы в местах общественного пользования:

«а) не выставлялось и не распространялось произведений печати, картин, фотографий, рисунков и тому подобное, не разрешенных к обращению;

б) не расклеивалось и не распространялось объявлений, афиш, плакатов, не имеющих разрешительной визы надлежащего органа».

Аналогичное предписание было дано Инструкцией НКВД от 12 января 1924 года волостному милиционеру.

Постоянно усиливался контроль над печатью и непосредственно со стороны партийных и советских органов. 23 августа 1926 года пленум ЦК ВКП(б) постановил сосредоточить в ЦК вопросы идеологического руководства печатью. Эту задачу стал ежедневно осуществлять Отдел печати ЦК. 3 октября 1927 года ЦК вынес постановление «Об улучшении партруководства печатью». В нем, в частности, указывалось на необходимость следить за идеологической выдержанностью работы издательств, «регулярно созывать редакторов газет, журналов и работников издательств для их инструктирования», «усилить руководство отделами библиографии и критики в газетах и журналах, превратив их в орудие борьбы против идеологически чуждой литературы». Постановлением ВЦИК от 6 апреля 1928 года «руководство делом идеологического контроля по делам печати и зрелищ» было возложено и на облисполкомы.

В начале тридцатых годов был изменен порядок открытия типографий. Напомним, что правилами 1921 года разрешалось иметь типографии частным лицам. В царской России типографию мог завести всякий желающий, получив необходимое дозволение, а небольшой ручной печатный станок для домашнего пользования можно было иметь и без разрешения. Конституция РСФСР 1925 года, как бы забыв о ГПУ и Главлите, провозгласила, что советская власть предоставляет «в руки рабочего класса и крестьянства все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей стране». Однако инструкция оказалась сильнее конституции. «Инструкцией о порядке административного надзора за соблюдением правил открытия полиграфических предприятий, их деятельности, о порядке отпуска и продажи печатных машин, шрифтов, множительных аппаратов и принадлежностей к ним», утвержденной Главным Управлением Рабоче-Крестьянской милиции и Комитетом по делам печати при СНК РСФСР, изданной на основании постановления СНК РСФСР от 26 июня 1932 года, открытие типографий разрешалось только государственным органам. Частным лицам печатные машины (даже самые простейшие) и шрифты не разрешалось иметь, покупать и продавать. Нельзя также было ими пользоваться. Все остальное разрешалось. Впрочем, специально оговаривалось (п. 25), что «пишущие машинки и принадлежности к ним... могут приобретаться и использоваться без особого на то разрешения».

Таким образом, к концу 1920 — началу 1930-х гг. была создана разветвленная, многоступенчатая система цензуры на всех уровнях, в значительной мере обеспечивающая непроникновение нежелательных идей на поверхность общественного мнения. Другое дело, что спектр разрешенных мыслей был тогда несколько шире, чем в более поздние времена. Но с каждым годом он стремительно сужался. Печать как голос общественного мнения уже переставала существовать — она постепенно превращалась в рупор управляющего аппарата. Отсутствие гласности, контроль не снизу, а сверху, культивирование слепой веры в авторитеты, игнорирование законности — все эти явления, обозначившиеся к началу тридцатых годов, проложили дорогу страшным событиям наступившего десятилетия и определили климат страны на многие годы вперед. Значительная роль и немалая ответственность в психологической и идеологической подготовке общества к культу личности принадлежит цензуре.

Посмотрим, как осуществлялась на практике цензура в тридцатые годы и какими правилами она руководствовалась. В инструкции Главлита, опубликованной еще 2 декабря 1922 года, разъяснялось, что «цензура печатных произведений заключается:

а) в недопущении к печати сведений, не подлежащих оглашению;

б) в недопущении к печати статей, носящих явно враждебный к Коммунистической Партии и Советской власти характер;

в) в недопущении всякого рода печатных произведений, через которые проводится враждебная нам идеология в основных вопросах (общественности, религии, экономики, в национальном вопросе, в области искусства и т. д.);

г) в недопущении бульварной прессы, порнографии, недобросовестных реклам и т. д.;

д) в изъятии из статей наиболее острых мест (фактов, цифр, характеристик), компрометирующих Соввласть и Компартию».

Какие именно статьи и места следует считать «острыми» и «враждебными», приходилось оставлять на усмотрение цензоров: мы помним, что точное определение «вредного направления» невозможно.

Задача Главлита не сводилась только к контролю печати. Положением о Главлите, утвержденным постановлением Совнаркома от 6 июня 1931 года, определялись следующие функции этого учреждения:

«...б) предварительный и последующий контроль над выходящей литературой как с политико-идеологической, так и с военной и экономической стороны, а также над радиовещанием, лекциями и выставками;

...г) выдача разрешений на открытие издательств и периодических органов печати, закрытие издательств и изданий, запрещение и разрешение ввоза из-за границы и вывоза за границу литературы, картин и т. п. в соответствии с действующими узаконениями;

...з) составление списка запрещенных к изданию и распространению произведений;

и) привлечение к ответственности лиц, нарушивших требования Главлита, его органов и уполномоченных.

...Предварительный контроль осуществляется Главлитом через уполномоченных при издательствах, редакциях периодических изданий, типографиях, радиовещательных организациях, при телеграфных агентствах, таможнях, главных почтамтах и т. п. учреждениях.

Уполномоченные назначаются и смещаются Главлитом и содержатся за счет учреждений, при которых они состоят».

Когда Екатерина II учреждала в России цензуру, для этой цели было достаточно «трех особ». В тридцатые годы XX столетия таких «особ», содержащихся за наш счет, стало, как видно, значительно больше. Не лишне отметить и сосуществование предварительной и последующей цензур (п. «б») — факт, ранее нигде и никогда не встречавшийся. Русский цензурный устав 1865 года освобождал, как мы помним, от цензуры периодическую печать и бóльшую часть книг. Соответствующий параграф положения о Главлите составлен значительно лаконичнее: «На всех произведениях пе-

чати должна быть разрешительная виза Главлита или его местных органов».

Коротко и ясно. «На всех». От многотомных энциклопедий до пригласительных билетов на свадьбу.

Система контроля над печатью определялась правилами Главлита от 21 июля 1936 года «О порядке производства и выпуска в свет произведений печати». Они насчитывают десятки параграфов, цитировать которые здесь нет ни малейшей возможности. Сущность их вкратце сводится к следующему: типографиям не разрешается принимать заказы и вносить в них изменения без разрешения цензуры; когда же заказ принят, произведение подвергается трехкратной проверке — перед версткой (набором), перед печатанием и перед выдачей заказчику (выпуском в свет), причем на каждую следующую стадию дается отдельное разрешение. На любом этапе печатание может быть приостановлено, а готовая продукция изъята. В отличие от порядков в царской России, перепечатка вторично исправленной книги производится отнюдь не за счет цензора, протестовать против действий цензора не позволяется, представлять свои сочинения в цензуру самому автору не разрешается (это делает издательство или иное учреждение). В царское время цензор, одобрив рукопись, уже не имел права требовать ее для вторичного просмотра. Теперь количество проверок не ограничивается.

Заключая обзор правил цензуры, приведем еще одно любопытное указание. Оно содержится в циркуляре Главлита № 70003 (номер немалый) от 14 января 1929 года и не представляет на первый взгляд ничего, что бы стоило нашего внимания:

«В отпечатанном материале не должно быть мест, замазанных типографской краской. Равным образом не разрешается пунктировка, наклейка, подчистка и т. п.».

Суть дела вот в чем. Во все времена и во всех странах у преследуемой цензурою печати была одна привилегия: вместо зачеркнутого текста оставлять замазанное краской место или ставить точки. Так читатель мог, по крайней мере, видеть, где прогулялся красный карандаш цензора. Этот обычай остроумно использован в качестве литературного приема молодым Гейне в «Путешествии по Гарцу», где есть глава, якобы полностью вычеркнутая цензурой:

«Немецкие цензоры . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . болваны».

(У Гейне эта «глава» занимает страницы полторы.)

Подобный обычай существовал и в России, пока в 1824 году министром просвещения не стал уже упоминавшийся знаменитый обскурант Шишков. Первым делом он запретил пунктировку — обычай обозначать точками места, выкинутые цензором. Шишков продержался на своем посту недолго. Даже Николаю I шишковский устав показался чересчур косным и был им отменен. Однако запрет на бедные точки остался. Таким образом, циркуляр Главлита лишь подтверждал старое распоряжение реакционнейшего министра.

В цитированном выше положении о Главлите не упоминаются как подлежащие контролю театральные постановки, кинофильмы и прочее. Это объясняется тем, что контроль над зрелищами осуществлял тогда Реперткомм. Рассмотрим вкратце его функции. По «Положению о Главном управлении по контролю над зрелищами и репертуаром» (Постановление СНК РСФСР от 24 февраля 1934 года) ему вменялось в обязанность:

«...б) изымать из обращения произведения, запрещенные к исполнению или демонстрированию;

в) контролировать репертуар всех зрелищных предприятий и публичное исполнение драматических, музыкальных и хореографических произведений, а также цирковых и эстрадных выступлений и кинофильмов;

г) закрывать через надлежащие административные и судебные органы зрелищные предприятия, нарушающие или не выполняющие распоряжений Главного управления по контролю за зрелищами и репертуаром и его местных органов;

...е) разрешать и запрещать ввоз и вывоз за границу произведений, предназначенных к публичному исполнению (ноты, зрелищные постановки, грампластинки, кинофильмы)» и так далее.

В 1929 году (Постановление Наркомторга СССР от 29 апреля) были установлены «Правила пропуска через границу предметов, подлежащих рассмотрению органами Главлита». Согласно этим правилам, «все провозимые из-за границы или вывозимые за границу произведения печати, клише, шрифты, матрицы, фонографические записи, граммофонные пластинки, валы, кружки, металлические жетоны и значки, гербы, кинопленки, фотопластинки, негативы, светочувствительная бумага, рукописи, документы, чертежи, рисунки, художественные картины, открытки, почтовые карточки и ноты — подлежат рассмотрению представителями Главного управления по делам литературы и издательств (Главлита)». Под ввозом и вывозом понимается не только провоз дорожного чтива в туристских чемоданах, но и все другие формы движения печатных материалов: оптовая торговля, почтовые отправления (статья 396 наших «Почтовых правил» содержит впечатляющий перечень соответствующих запрещений).

Такая ситуация имеет прецеденты. Еще в прошлом веке был «выставлен кордон литературных цензоров, которые не пропускали из-за границы в Австрию ни одной книги, ни одного номера газеты, не подвергнув их содержания двух- и трехкратному детальному исследованию и не убедившись, что оно свободно от малейшего влияния тлетворного духа времени. Почти тридцать лет, начиная с 1815 года, эта система действовала с изумительным успехом. Австрию совсем не знали в Европе, точно так же как Европу почти не знали в Австрии»,— свидетельствует Маркс.

Контроль над печатью и словом с тридцатых годов приобрел тотальный характер. Правке подвергались не только газеты и беллетристика, но и научные труды. За ошибки стоявших над наукой органов цензуры страна расплачивается теперь отставанием в разработке новых сортов пшеницы, эффективных лекарств, электронных вычислительных машин. Еще более пострадали гуманитарные науки. Тщательно редактировались работы по философии, истории, литературе. Многих западных философов, писателей и прочее можно было упоминать только для того, чтобы критиковать, и то не всегда. «Самым решительным образом запрещаются критики, как бы благонамеренны ни были, на иностранные книги и сочинения, запрещенные и потому не должные быть известными» (это из цензурного циркуляра прошлого века, но, по-видимому, не терявшего силу).

Благодаря такой заботе цензуры о гуманитарных науках мы стали страной без истории, без философии, без духовности. Мы утратили способность размышлять, мы завели в тупик даже марксистско-ленинскую теорию, лишившись компаса и потеряв ориентиры, воспитав у масс (и их руководителей) недоверие к интеллигенции и интеллектуальности.

В эти годы стала быстро возрастать контролирующая роль управлений культуры исполкомов, отделов культуры, пропаганды и агитации партийных органов, редакционных и репертуарных коллегий, ведомств, всевозможных редакторов и инспекторов различного ранга. Как и за сто лет до этого, произошло «размножение цензур», превращение цензуры в многоступенчатый барьер со сложным прохождением рукописи через множество инстанций, среди которых собственно Главлит занимал не главное место. Все это крайне отрицательно отозвалось на печати. Еще Маркс писал об «особых обстоятельствах», которые делали невозможным «появление самого объекта цензуры даже в виде попытки».

Потеря свободы слова и печати, ставшая в тридцатые годы реальностью, неизбежным следствием имела окостенение и онемение общества, породившее, в свою очередь, явление, известное как культ личности. Основные черты культа личности хорошо известны. Подавление всякого инакомыслия, косность и нетерпимость властей, самоизоляция от других стран, массовые аресты, ссылки и казни, шовинизм, гипертрофированный патриотизм, политическое лицемерие, разнузданное прославление вождя, полное пренебрежение даже видимостью законности, широкое применение принудительного труда — вот далеко не полный набор примет этой эпохи. Политические, экономические и нравственные последствия культа личности не изжиты до сих пор и, быть может, вообще не будут изжиты при жизни нынешнего поколения. Здесь нет смысла подробно писать о том, как сотни журналистов, писателей и даже музыкантов отправились в «места не столь отдаленные», как на долгие годы были запрещены Ильф и Петров, Булгаков, Платонов, Цветаева, Грин, Есенин, Хлебников, Заболоцкий, Пильняк, как были убиты Мейерхольд, Бабель, Мандельштам, Пунин, Михоэлс, как был закрыт Камерный театр Таирова, как были запрещены еврейская литература и театр, как травили Ахматову, вырвали перо из рук Зощенко, изъяли «реакционного» Достоевского, Бунина, Андреева, вычеркнули из истории культуры мирискусников, импрессионистов, художников-авангардистов двадцатых — тридцатых годов. Чуть ли не в каждом человеке тогда готовы были видеть врага, а с врагами не церемонились. 22 июня 1936 года «Правда» писала в своей передовой: «Тот, кто ставит своей задачей расшатать социалистический строй, подорвать социалистическую собственность, кто замыслил покушение на неприкосновенность нашей родины — тот враг народа. Он не получит ни клочка бумаги, не перешагнет порога типографии, чтобы осуществить свой подлый замысел. Он не получит ни зала, ни комнаты, ни угла для того, чтобы внести устными словами отраву».

Таков был естественный итог развития цензуры и общества в условиях подцензурного слова.

Идеологический гнет достиг своего апогея в 1946—1948 гг. Именно в это время была выпущена обойма постановлений ЦК ВКП(б) о культуре: «О журналах „Звезда" и „Ленинград"», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме „Большая жизнь"», «Об опере „Великая дружба" В. Мурадели». Все лучшее в

литературе, театре, музыке, киноискусстве было осуждено, везде предписывалось навести «надлежащий порядок».

В условиях, когда «насилие возведено на степень единственного жизненного регулятора» (Салтыков-Щедрин), когда весь государственный аппарат стал репрессивным, когда страх пронизал все общество, цензура проникла во все поры общественного организма. Сложившаяся в годы культа система цензурных учреждений с небольшими изменениями дожила до наших дней. Менялись лишь вывески. Поэтому нет ни смысла, ни интереса следить за подробностями дальнейшего именования и переименования этих учреждений. «Положение о Главлите» неоднократно корректировалось я дополнялось, но смысл его сохранялся. Реперткком отделили от Главлита, потом от Наркомпроса и дали ему другое название, которое, впрочем, не привилось, так как суть дела осталась прежней. Главискусство было преобразовано в Совет по делам художественной литературы и искусства, он, в свою очередь,— во Всесоюзный комитет по делам искусств, а Комитет — в Министерство культуры. Не будем вдаваться в исследование этой административной игры.

В настоящее время Главлит и Главрепертком объединены и реорганизованы в Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР. Неофициальное название Главлит за ним по традиции сохранилось.

Смерть Сталина, приход к власти Хрущева, осуждение XX съездом КПСС культа личности привели к политической оттепели. Первая ласточка этой литературной весны — известная повесть Эренбурга — так и называлась: «Оттепель». Но уже к концу хрущевского периода цензурный мороз снова окреп. В эпоху Брежнева не было заметно ни вспышек либерализма, ни волн репрессий (такие «мелочи», как процесс над поэтом И. Бродским или дело Даниэля и Синявского, не в счет), однако тиски цензуры с каждым годом продолжали сжиматься. Творить в душной застойной атмосфере было очень трудно. Не случайно именно в этот период многие известные деятели культуры (А. Солженицын, А. Галич, В. Некрасов, В. Аксенов, В. Войнович, Н. Коржавин, Е. Эткинд, М. Ростропович, Ю. Любимов, А. Тарковский, М. Барышников, И. Бродский и другие) вынуждены были покинуть страну. И их можно понять. «Я не могу ни писать под прусской цензурой, ни дышать прусским воздухом,» — с отчаянием воскликцал когда-то Маркс. И он же в другом письме: «Противно быть под ярмом — даже во имя свободы; противно действовать булавочными уколами, вместо того, чтобы драться дубинками. Мне надоели лицемерие, глупость, грубый произвол, мне надоело приспособляться, изворачиваться, покоряться, считаться с каждой мелочной придиркой».

Каков же облик нашей цензуры столь недавнего прошлого? Первая ее черта — тотальность. Контролю подлежит любой печатный текст. Если, например, вы хотите сделать себе визитную карточку, нужно, чтобы руководитель вашего учреждения направил об этом в Горлит письменную просьбу, заверенную круглой печатью. И только после официального разрешения Горлита типография примет заказ на печатание карточки. Возьмите в руки любую книгу, самую идейную, самую невинную — от речи руководящего лица до рецептов детских супчиков,— и раскройте ее на последней (иногда на первой) странице, там, где мелким шрифтом напечатаны выходные данные. (Можно использовать и номер «Невы», который Вы держите сейчас в руках.) Среди сведений о тираже, дате выпуска, типографии и так далее вы увидите скромный индекс: заглавную букву и несколько цифр возле нее. Например, А-26845. Или М-19687. Это номер разрешения цензуры. Там же значится: «Подписано к печати такого-то числа».

Если читатель не задумывался, кем подписано, то теперь он сможет об этом догадаться. Кажется, кто-то сказал, что истинная любовь должна быть как полиция — вездесущей и незаметной. Наша цензура похожа на истинную любовь еще и тем, что она стыдлива. Царский устав, наоборот, предписывал помещать разрешительную визу на самом видном месте: «Цензурное дозволение на книгах должно печататься не иначе, как на обороте заглавного листа, самостоятельно на чистой странице, а не в конце книги и не на обложке». Несмотря на то, что сталинско-брежневская цензура отличалась от царской, как оружие массового уничтожения от казацкой нагайки, она кое в чем сохраняла с ней сходство. Поэтому доведем последнюю цитату до конца: «Фамилия цензора, скрепившего рукопись, отнюдь не подлежит воспроизведению».

Другое свойство цензуры недавнего прошлого — всеохватность. Печать, радио, телевидение, кино, театр, художественная и научная литература, поступление иностранных изданий и, наоборот, вывоз советских книг и рукописей за рубеж, почтовые пересылки, фотографии, звукозаписи, карты и планы, доступ к библиотекам и архивам, множительная техника — все подлежит неусыпному контролю. Вот только одна мелкая деталь. В 1913 году список запрещенных царской цензурой книг состоял примерно из 2300 названий. Такие перечни,

разумеется, открыто публиковались. К началу 1980-х гг. эти списки несколько разрослись: фонды одной только Библиотеки имени Ленина в Москве насчитывали свыше полумиллиона единиц «специального хранения». Цифра приблизительная, потому что она не публикуется, так же как и не публикуются и сами списки. Наш читатель не знает и не может знать, какая книга попалась ему в руки — запрещенная или нет. Теперь закрытые фонды начали рассекречиваться. Говорят, это большая работа, для проведения которой потребуются многие годы. Сколько же труда пошло на то, чтобы все эти миллионы книг и документов засекретить?

Нередко запрещались материалы, вполне легально изданные и широко известные. Причины для наложения «вето» на давно вышедшие книги могли быть разными: изменения политического климата, смена руководства, разгромная статья в «Правде», та или иная провинность автора. Поэтому из библиотек систематически изымались и отправлялись в огонь множество книг. Например, при Сталине исчезли сочинения теоретиков марксизма — Каутского, Троцкого, Бухарина, при Хрущеве не стало произведений Сталина, при Брежневе — книг Хрущева, теперь не видно томов Брежнева. Чьи сочинения повезут на костер в следующий раз?

Еще один маленький пример. Несколько лет тому назад при мне в переплетную мастерскую вошел молодой человек с напечатанным на машинке пособием по современным танцам (он руководил курсами в каком-то клубе). Приемщик взглянул на рукопись и спросил, почему на титульном листе нет круглой печати и подписи руководителя учреждения. Озадаченный танцор сначала не понял, но затем из его сбивчивой речи стало ясно, что рукопись нужна не учреждению, а ему лично. «В таком случае вам нужно сначала получить на рукопись лит»,— сказал приемщик. Танцор опять не понял. Приемщик терпеливо объяснил ему, что вышла инструкция, согласно которой государственные мастерские могут принимать в переплет лишь залитованные (то есть прошедшие Горлит) материалы или рукописи, заверенные гербовой печатью учреждения и подписью его руководителя. Попавший в переплет несчастный танцор снова не понял и уже не смог понять до конца. Он все толковал про фокстрот, а приемщик ему в ответ говорил про Горлит. Я слушал этот диалог глухих с некоторым ужасом. Если государство обратило свое всевидящее око даже на переплетчиков, то дальше уже, видимо, некуда. Разговор кончился тем, что приемщик дал танцору адрес частного переплетчика, которому не нужен никакой лит, и молодой человек, недоумевая и ликуя, удалился. В этом случае, как солнце в капле воды, отразились характерные особенности нашей цензуры: ее всепроникновение — с одной стороны, и бессмысленность — с другой.

Эта история может показаться неправдоподобной, но еще недавно во всех переплетных мастерских Ленинграда висели правила:

«Переплетные мастерские не принимают следующие материалы:

книги и документы, изготовленные с помощью печатно-множительной техники;

книги, размноженные фотоспособом;

книги и журналы, выпущенные за рубежом и не поступившие в продажу в СССР;

документы от посольств, дипломатических миссий, представительств и других зарубежных организаций;

книги и документы религиозного характера без разрешения уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР;

книги, изданные до революции».

Вот куда направлялась энергия правящего аппарата, считавшего, очевидно, что все другие проблемы им уже давно решены!

Еще одна традиционная черта нашей цензуры, уже отмеченная выше,— ее многоступенчатость. Например, чтобы поставить в театре пьесу, еще вчера требовалось разрешение Управления культуры, обкома партии, республиканского министерства культуры (и, разумеется, Главлита). В некоторых случаях к этим инстанциям добавлялись Министерство культуры СССР, ВААП, местный удельный князь и вообще кто угодно. Как заметил В. Шкловский, «самое трудное в профессии комедиографа — рассмешить четырнадцать инстанций». Если пьеса разрешена в Перми, это вовсе не значит, что ее можно ставить в Саратове. Если пьеса появилась в печати, это, опять-таки, не означает, что она разрешена в театре. Если произведение затрагивало какой-либо специфический пласт нашего общества (например, жизнь милиции, работников суда, учителей, спортсменов, офицеров и так далее), то оно подлежало дополнительному просмотру в соответствующем ведомстве. Еще при Николае I наряду с общей появились цензуры железнодорожная, духовная, военная, финансовая и прочее. «Тяжело, нечего сказать! И с одною цензурой напляшешься; каково же зависеть от целых четырех? Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны и безответны, но даже и сами от себя следуют духу правительства; но вижу, что никогда

они не были так притеснены, как нынче...» Так писал еще Пушкин.

Выясняется, таким образом, что роль Главлита в общей системе контроля над словом относительно скромна. Продукты интеллектуального производства поступают к нему с Парнаса уже в стерилизованном, просеянном и упакованном виде, вполне годные к массовому употреблению. В конце концов Главлит не сам придумывает основания для запретов. Он — часть аппарата и честно делает то, что ему поручено. У Главлита по сравнению с другими ступенями цензуры даже есть известные достоинства. Он работает быстро, давая ответ за считанные часы, дни, недели (в зависимости от объема рукописи), тогда как другие инстанции тянут резину месяцы и годы.

В течение веков была известна цензура одной направленности — запрещающая. Наш строй выработал новый, высший ее тип — предписывающий. Идеологический контроль сменился идеологическим диктатом.

Царский устав, как мы упоминали выше, оговаривал, что цензура должна определить только, вредно или нет сочинение. Но то было давно. В советское же время власти не удовлетворялись тем, что произведение невредно. Нужно еще, чтобы оно было полезно заказчику, а заказчик у нас всегда был один — правящий аппарат. Музыка, которую он желает слушать, должна иметь один и тот же припев: «Пусть всегда буду я!» «Какое-то нравственное и умственное каплунство тяготеет над страною, каплунство, выражающееся то в темных и заискивающих, то в злобных и остервенелых дифирамбах полному, безапелляционному довольству существующими формами жизни». Так писал великий сатирик, и кажется, что писал совсем недавно.

Если жизнь поневоле заставляла обращать внимание не только на светлые, но и на темные стороны действительности, то пропорции между ними строго регулировались. Такое стремление к равновесию минора и мажора (с преобладанием последнего) характерно для дирижеров от цензуры во всех сферах и является традиционным для нашей страны. Еще в 1863 году в циркуляре царской администрации содержалось аналогичное предписание:

«Относительно обличительных статей господа цензоры должны иметь в виду допускать таких статей в печать менее и менее, если не будут рядом с ними помещаемы другие статьи в противоположном духе, так как систематическое заявление одних недостатков при совершаемых ныне правительством улучшениях во всех сферах государственного управления обнаруживает не стремление к раскрытию истины, а систематическое же старание возбуждать умы и вселять в них недоверие».

До сих пор шла речь о том, кто запрещает и как запрещает. Возникает вопрос, что именно подлежало запрету в течение долгих десятилетий, но мы обойдем эту тему, во-первых, из-за ее необъятности, а во-вторых, из-за неопределенности. В самом деле, давно замечено, что суровость цензуры зависит не от устава, а от «видов», а «виды» постоянно меняются. То, что вчера было крамолой, сегодня становится благонамеренной догмой, а лозунги, недавно еще висевшие на каждом заборе (вроде «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»), в наши дни уже почитаются нецензурными выражениями. «Подцензурная печать каждый день восхваляет творения правительственной воли; но так как один день непременно противоречит другому, то печать постоянно лжет и при этом должна скрывать, что она сознает свою ложь, должна потерять всякий стыд»,— писал Маркс.

Результат и смысл всех ограничений один: нельзя писать правду. Можно писать неправду, полуправду, подкрашенную правду, почти правду — все, кроме обыкновенной голой правды. Правда нашей жизни намного неприглядней, чем хотелось бы руководству, и ее пытались улучшить. Улучшить не саму жизнь (это трудно и долго), а ее отражение. И если оно оказывалось не всех румяней и белее, то зеркало жизни — печать, литературу, искусство — беспощадно топтали ногами.

Цензура, к сожалению, водворяет не абсолютное молчание. Еще Маркс обратил внимание, что цензура означает полную свободу печати для правительства. При этом он подчеркнул: не для государства, а для правительства. Десятилетиями в наши головы беспрепятственно вбивались одни и те же стереотипы сознания, от которых очень трудно освободиться. Ложь, которую нельзя было опровергнуть, преследовала нас и в главном, и в мелочах. От свободы лжи естественно проистекает искажение общественного сознания, общественной морали. В конце концов общество и сами власти начинают в какой-то мере верить в информацию, которую поставляет им подцензурная печать.

Результаты такого самообмана хорошо известны. Богатейшая в мире страна поставлена на грань экономического и духовного кризиса. Государство, в котором господствовала самая жестокая в истории цензура, не могло не прийти к такому итогу.

«Исторический анализ помог яснее увидеть и корни тех явлений, которые охватываются таким понятием, как механизм торможения. Многие из них тоже тянутся из тех лет. Мы отчетливо увидели, что нужно делать, чтобы не повторялось прошлое, чтобы вовремя пресекались негативные явления. Мы пришли к чрезвычайно важному выводу о том, что многие потери мы понесли из-за того, что наши реформы в прошлом не подкреплялись широкими политическими переменами в плане демократизации советского общества»,— так сказал в одном из своих выступлений М. С. Горбачев.

Сегодня мы живем надеждой на духовное возрождение. Однако долгожданная гласность должна не только возбуждать в нас эйфорию; она обязывает к огромной ответственности. Мы должны понять, что будущее зависит только от нас самих, ибо мы сами должны теперь прокладывать к нему пути. Раньше мы всех перемен ждали сверху. Теперь мы получили возможность осуществлять их сами. Для этого предстоит еще больше расширять демократию. Между тем не все еще «механизмы торможения» ликвидированы; сегодня, как и полтора века назад, еще живуче мнение: «что нужно Лондону, то рано для Москвы»; как и во времена Салтыкова-Щедрина, свободу слова кое-кто еще воспринимает «заметно перекосивши рыло на сторону». Вот почему нужно упорно и последовательно развивать гласность, создавать механизмы ее практического осуществления, давать ей правовое и материальное обеспечение, упразднять то, что ей противостоит, разрабатывать надежные юридические и политические гарантии ее неприкосновенности. Нам еще предстоит большая работа.

С. БЕЛОВ

ОБ ОДНОМ ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК ВКП(б)

Кажется, только сейчас мы приходим к осознанию общечеловеческих ценностей в истории русского издательского дела, позволяющему считать буржуазно-просветительную издательскую деятельность в России второй половины XIX — начала XX веков таким же великим достижением культуры, как русские литература, театр, живопись, музыка. Сегодня наше издательское дело могло бы позаимствовать много ценного из практики крупных просветительных издательств тех времен: сосредоточение в одних руках всех звеньев книгоиздания и книгораспространения, тщательное изучение книжного рынка и читательского спроса, сочетание рентабельности изданий с их идейно-культурной ценностью, умелый подбор постоянных авторов и сотрудников, ориентация на самые прогрессивные, современные методы производства книги, стремление к постоянному удешевлению продукции при соблюдении закона стоимости.

Я думаю, что забвение опыта работы дореволюционных издательств, помимо главной причины,— само издательское дело у нас из частно-кооперативного превратилось в государственное,— связано также с явно излишней идеологизацией изучения истории книгоиздательства. Так, в вышедшем недавно первом томе монографии «Книга в России» в главе «Издательская деятельность С. Г. Нечаева» утверждается, что деятельность известного террориста, бандита и уголовника русского революционного движения С. Г. Нечаева «носила позитивный характер». Если перевести идеологическое словоблудие автора на нормальный русский язык, позитивный характер этой деятельности заключается в том, что через «Большое общество пропаганды» она способствовала убийству народовольцами Александра II (а убийство Нечаевым студента Иванова вообще не в счет, это как бы разминка, тренировка).

Такое оправдание насилия получает «научное» обоснование и в предисловии к этой монографии, где, как в «лучшие» годы застоя и культа личности, объясняется, что теоретические построения народовольцев были гораздо слабее их практической деятельности (очевидно, под «сильной» практической деятельностью авторы предисловия имеют в виду убийство Александра II) — и все это преподносится как нечто раз и навсегда заданное, как аксиома. Самое поразительное заключается в том, что первый том монографии «Книга в России» вышел не в упомянутые выше времена, а летом 1988 года, когда наше общество вроде бы начало поворачиваться в сторону признания общечеловеческих нравственных ценностей.

То, что наши историки, имея перед глазами весь трагический опыт XX века, не могут или просто не хотят понять: убийство Нечаевым студента Иванова, убийство Александра II, Николая II и 1937 год — это звенья одной цепи (нарушена заповедь «не убий» и забыты общечеловеческие ценности), понял еще до преступления Нечаева Федор Михайлович Достоевский. Ему достаточно было 11 сентября 1867 года в Женеве на Конгрессе Лиги мира и свободы послушать ультралевацкие, а ля нечаевские речи делегатов, чтобы сделать безошибочный, пророческий вывод: «Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделать маленькие; все капиталы прочь, чтоб все было общее по приказу, и проч. Все это без малейшего доказательства, все это заучено еще 20 лет назад наизусть, да так и осталось. И главное, огонь и меч — и после того, как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир».

Подмена в монографии общечеловеческих ценностей классовой борьбой, неуемное желание до основания старый мир разрушить привело к парадоксальному выводу: монография «Книга в России» призывает вольно или невольно эту самую «книгу» как бы уничтожить, а уж потом на ее месте создавать новую (очевидно, советскую книгу, полностью свободную от таких глупостей и буржуазных предрассудков, как общечеловеческие ценности).

Выступая 11 июля 1989 года в Москве на торжественном собрании представителей советской общественности, посвященном двухсотлетию Великой французской революции, член Политбюро ЦК КПСС, Секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев в докладе «Великая французская революция и современность» отметил: «Когда мы сегодня мучительно недоумеваем, как получилось, что страна, партия ленинцев приняли диктатуру посредственности, смирились со сталинщиной, реками безвинной крови,— нельзя не видеть, что среди причин, удобривших почву авторитарности и деспотии, оказалась и болезненная вера в возможность форсировать социально-историческое развитие, идеализация революционного насилия, восходящая к середине XIX века, к самим истокам европейской революционной традиции».

Книга в России, понимаемая не как сама по себе культурная ценность, а как проявление классовой борьбы, помешала увидеть крупные буржуазно-просветительные издательства как достижение великой русской культуры. Но «идеализация революционного насилия» в издательском деле принесла и свои непосредственные плачевные практические результаты сразу же после 25 октября 1917 года, когда были закрыты многие газеты, журналы и частно-кооперативные издательства.

Исследователям еще предстоит выяснить, каким образом большевики, почти два десятилетия боровшиеся за свободу печати, добившись наконец этой желанной свободы, вдруг сами же решили поставить ее в жесткие рамки. Но первые шаги в этом направлении уже сделаны: укажу на статью И. Клямкина в «Новом мире» «Почему трудно говорить правду». Действительно, создалась парадоксальная ситуация, как в «Братьях Карамазовых», когда Алеша Карамазов спрашивает Ивана, может ли один человек решать: жить другому или нет? Кто-то стал решать — быть этой газете, журналу или нет, быть этому частному или кооперативному издательству или нет, кто-то решал, что можно читать народу, а что нельзя.

Впрочем, этот «кто-то» известен. Постановлением ВЦИК от 20 мая 1919 года об организации при Наркомпросе Всероссийского государственного издательства (вот где открылся простор для пропаганды классовой борьбы) и был положен первый камень в фундамент той грандиозной командно-бюрократической системы в советском издательском деле, плоды которой мы пожинаем до сих пор. А у нас ведь поныне пишутся хвалебные диссертации и монографии о деятельности Госиздата, хотя совершенно ясно, что его создание было целенаправленным ударом по творческой свободе, попыткой поставить под чекистский контроль весь издательский процесс.

Закрытие целого ряда частных и кооперативных просветительных издательств (зачем они, если издательская деятельность С. Г. Нечаева носила «позитивный характер»?!), то есть забвение общечеловеческих результатов их работы, не зависимых от того, какой класс правит в стране, привело к резкому упадку культуры и нравственности после Октября 1917 года. Положение стало частично исправляться с введением нэпа, когда снова стали, как грибы после дождя, появляться такие издательства. Конечно, им было далеко до дореволюционных предшественников, но все же 1920-е годы можно смело назвать расцветом советского издательского дела. Перечислить все частные и кооперативные издательства нэповских лет просто невозможно — один лишь их перечень занял бы, вероятно, добрую половину, например, «Литературной газеты». Одно могу сказать твердо, профессионально занимаясь уже почти четверть века изучением издательского дела в России: частные и кооперативные издательства 1920-х годов *не* выпускали порнографическую и культивирующую насилие литературу, *не* разглашали государственные тайны, *не* призывали к вооруженному свержению советской власти, то есть соблюдали эти три *не*, на которых держится устав и современной, нынешней цензуры.

Но тогда спрашивается: почему в 1930 году были ликвидированы кооперативные и частные издательства, то есть, как в старом анекдоте, кому они мешали? Все дело в том, что 25 июля 1930 года ЦК ВКП(б) принял невинное на первый взгляд постановление «О работе Госиздата РСФСР и объединении издательского дела». За скромной формулировкой постановления — «задачи, стоящие перед издательским делом в эпоху социалистической реконструкции, требуют организационной его перестройки на основе дальнейшей т и п и з а ц и и (разрядка наша.— *С. Б.*) издательств» — и за решением об образовании Объединения государственных книжно-журнальных издательств РСФСР (ОГИЗ) на самом деле стоял разгром частно-кооперативного издательского дела в нашей стране. Вот уж, действительно, единожды солгав...

Теперь, думая с высоты времен о том позорном акте, мы можем абсолютно точно соотнести это постановление, ликвидировавшее частные и кооперативные издательства, с другими сталинскими актами вандализма в это время и прежде всего с коллективизацией. А создание через четыре года Союза писателей окончательно ознаменовало победу командно-административной системы в нашей культуре.

Но ведь совершенно ясно, что без частных и кооперативных издательств нам не поднять культуру нашего народа, не выполнить задач духовной перестройки общества, не вернуть стране вместо «нечаевщины» общечеловеческие ценности.

Значит, надо отменить бесчеловечное и антигуманное постановление ЦК ВКП(б) «О работе Госиздата РСФСР и объединении издательского дела», вернуть частным и кооперативным издательствам тот правовой и культурный статус, какой они имели до 25 июля 1930 года, выполнив тем самым ленинские предначертания новой экономической политики в области издательского дела.

Р. НОЗДРУНОВ

НАДЕЖДЫ И СОМНЕНИЯ

Жилищная проблема в Ленинграде

Мы так и умрем в лесах новостроек,
а хорошей квартиры не получим.
Илья Эренбург

Начиная с 1957 года, мы непрерывно и весьма высокими темпами строим жилье. Не надо никакой статистики, чтобы оценить масштабы этого строительства. Можно просто сесть в трамвай, автобус или троллейбус и из окна целыми часами непрерывно разглядывать новые дома, целые районы новостроек. Но разве мы приблизились к решению жилищной проблемы? Можно ли вообще решить жилищную проблему, занимаясь только строительством и игнорируя другие пути решения этой очень сложной проблемы? Илья Эренбург устами своего героя еще много лет тому назад, видимо один из первых, задумался над этими вопросами. И с тех пор, по мере того как одна пятилетка сменяет другую, третью и т. д., а проблема не решается, эти вопросы звучат все более назойливо и все более актуально.

Давайте рассмотрим взаимосвязь жилищной проблемы с другими, прежде всего с проблемой дефицита рабочей силы и вызванного им механического прироста населения городов.

За дефицитом рабочей силы в действительности скрываются ее излишки, которые составляют по подсчетам экономистов 15—20 процентов. Сказанное, однако, не означает, что дефицит рабочей силы это миф. Увы, это реальность. Независимо от того, является ли дефицит действительным, возникшим в силу объективных причин или искусственно созданным, отрицательные последствия его одинаковы.

В начале 80-х годов автор этих строк участвовал в обследовании восьми ленинградских фабрик по программе, составленной Управлением по труду Ленгорисполкома и Институтом социально-экономических проблем АН СССР (ИСЭПом), на предмет выявления резервов рабочей силы на предприятиях. Абсолютно на всех обследованных предприятиях такие резервы были найдены. Вот один из примеров по фабрике «Союз», производящей авторучки. По самым непредвзятым подсчетам, по методике, которая была доложена ИСЭПу, действительная потребность в рабочей силе по этой фабрике была определена 3800 человек. Но предприятие эта цифра не интересует, так как планом по труду фабрике была установлена численность, на дату обследования, 4090 человек. Фактически же числилось 4002 человека, 88 человек не хватает. Дефицит? Да, по сравнению с плановой численностью. И это очень удобно предприятию, так как позволяет оправдывать невыполнение плана по отдельным позициям и в целом по объему и номенклатуре продукции, по качеству производимых изделий, прикрывать другие недостатки якобы нехваткой рабочей силы, хотя в действительности имеет место лишь завышенная плановая численность.

С целью покрытия дефицита рабочей силы в Москве, Ленинграде, других городах широко практиковался завоз иногородних (механический прирост населения), привлечение к труду пенсионеров, совместительство, повышение заработной платы дефицитным категориям работников. Однако дефицит рабочих рук преодолеть не удалось и подобными путями не удастся.

Суть вопроса заключается в том, что технический прогресс у нас не высвобождает рабочую силу. В ФРГ, например, за 15 лет, с 1966-го по 1980 годы, высвобождено из промышленности 1 миллион 400 тысяч человек. У нас технический прогресс не только в целом по стране, но и в старых промышленных центрах не приводил, за исключением 1988 года, к абсолютному уменьшению численности работников промышленности. Это рано или поздно должно было привести и привело к дефициту рабочей силы и в промышленности и в целом во всем народном хозяйстве страны.

Догма о том, что при социализме технический прогресс не должен высвобождать рабочую силу, чрезвычайно живуча. Противники хозяйственной реформы, о которых мы сейчас прямо говорим, называя вещи своими именами, были и во время реформы 1965 года, только тогда их не называли противниками реформы. Помню, в начале 70-х годов ленинградский доцент, ныне профессор, Н. М. Тихонов во время дискуссии по щекинскому опыту громогласно заявил: «Технический прогресс при социализме не должен высвобождать рабочую силу. Наш строй гуманный, и мы не можем выбрасывать людей на улицу». Что можно сказать про это высказывание? Во-первых, оно неправильно по существу, во-вторых, тут явная передержка. Технический прогресс не только может, но и должен высвобождать рабочую силу, причем необходимо не

только так называемое условное, а реальное высвобождение рабочей силы. Но это совсем не означает выбрасывание людей на улицу. Щекинский метод, используемый примерно на тысяче предприятий, показывает, что никто не оказался выброшенным на улицу, все были трудоустроены.

Начиная с 1960 года ежегодно въезд в Ленинград превышал выезд примерно на 40—50 тысяч человек. Сначала эти цифры публиковались, и за 1960—1970-е годы их можно найти в статистических сборниках. Завоз иногородней рабочей силы замедлял решение жилищной проблемы, обострял транспортную проблему и т. п., возмущал всех, кроме тех, кто еще не въехал и не прописался в Ленинграде. Тогда цифры засекретили. В период, когда гласность отсутствовала, так поступали всегда, когда хотели оградить власти от критики.

Осуществлялся не только прямой, но и косвенный завоз рабочей силы. Приехавшие в Ленинград на учебу и поступившие в ВУЗы и техникумы по окончании их не распределялись на периферию, а оставлялись в Ленинграде, хотя наличие инженерных кадров и кадров других специалистов явно превышало потребности развития города. Студенты-ленинградцы, окончившие ВУЗы или техникумы, тоже в значительной степени оставались в Ленинграде, но уехавшие по распределению по существу лишались права вернуться, так как, проработав на периферии несколько лет, попадали под общее ограничение въезда в города и не могли прописаться даже к собственной матери. Вместе с тем, несмотря на многочисленные ограничения на въезд и прописку в Ленинграде, въехать и прописаться мог каждый. Для этого надо было лишь некоторое время поработать в так называемых «непрестижных отраслях» (на стройке, дворником, в бытовом обслуживании и тому подобное). В итоге за 25 лет, с 1959-го по 1983 годы, население Ленинграда увеличилось на 1,3 миллиона человек, из них на 1 миллион за счет механического прироста.

То, что технический прогресс у нас не высвобождает рабочую силу, имеет в числе многих отрицательных последствий два особо тяжелых: не позволяет решить ни продовольственную, ни жилищную проблемы.

Прежде всего, хотя и кратко, о продовольственной проблеме. Как показывают исследования, 65 процентов рабочей силы в Ленинград и другие индустриальные центры идет из села, где в свою очередь действительно имеет место дефицит рабочих рук, и до тех пор, пока этот процесс не будет приостановлен, продовольственная проблема не может быть решена, сколько бы ни направлялось средств в улучшение материального и бытового положения сельского населения.

Завоз рабочей силы только по Ленинграду обошелся в 8—10 миллиардов рублей в расчете на пятилетку. Когда, в 1978 году, я представил Ленинградскому обкому КПСС этот расчет, мне было страшно: найдет обком «экономистов», те «докажут» — липа, а не расчет — и, в лучшем случае, меня как экономиста дисквалифицируют, а может, и упрячут куда-либо. Но люди там оказались «щедрые»: подумаешь, 10 миллиардов рублей убытков! Не обратили даже внимания... Как легко они бросались миллиардами народных денег...

Представляя этот расчет в обком партии со ссылкой на недостаточность располагаемых мною статистических материалов, я просил уточнить эти цифры. Но ни обком, ни находящиеся в его распоряжении два научно-исследовательских экономических института не сделали этого. Если же эти 8—10 миллиардов скорректировать на миллиарды капвложений, которые шли в сельское хозяйство и там превращались в прах, то цифры действительных убытков от завоза рабочей силы были бы гораздо большими.

Несколько лет тому назад решили строить дамбу: опять завоз. Совсем недавно в связи с опубликованием плана решения жилищной проблемы до 2000 года сообщено, что для переоборудования коммунальных квартир в отдельные потребуется дополнительно 20 тысяч строителей (см. «Ленинградскую правду» за 07.06.1988 г.). О том, что и для этих целей будет завозиться рабочая сила, прямо не сказано, но и четкого ответа, откуда же она возьмется — тоже нет. 20 тысяч строительных рабочих с семьями составят не менее 60 тысяч нового механического прироста населения города.

Вместо туманной формулы об ограничении роста крупных городов, необходима иная формула — прекращение механического прироста их населения. В Ленинград, в Москву, в другие крупные города приток населения, конечно, будет. Всегда какое-то количество людей будет въезжать и выезжать. Но почему число приезжающих должно быть постоянно больше, чем число выезжающих? Речь идет не о запрещении въезда в Ленинград, Москву и другие города, а о недопущении механического прироста населения в них.

В связи с этим несколько слов о том мифе, который распространяют сторонники завоза рабочей силы как из числа ученых, так еще больше из числа практиков. Ленинградцы, видите ли, не хотят работать на стройках, в других непрестижных отраслях. Кто же будет строить жилье, спрашивают они. Но ведь до того, пока не был нарушен баланс рабочей силы, примерно до начала 60-х годов,

ленинградцы работали и на стройках и в других, так называемых непрестижных, отраслях, получая при этом зарплату весьма низкую, иногда 22 рубля 50 копеек (в старых деньгах 225 рублей). А когда баланс стал непрерывно нарушаться, когда был искусственно создан дефицит рабочей силы, когда по радио ежедневно объявляли: требуются, требуются, требуются — тогда не только ленинградцы, но и приезжие после первого же сданного дома устремлялись на поиски более легкой, более чистой, более высокооплачиваемой работы.

В последнее время вопрос с высвобождением рабочей силы из промышленности несколько видоизменился. По статистической сводке за 9 месяцев 1988 года численность работников в сфере материального производства уменьшилась более чем на один миллион человек. Кажется, наконец-то появились реальные плоды интенсификации производства. Но не будем торопиться с выводами. Есть серьезные основания считать, что уменьшение численности работников в промышленности и других отраслях это не результат борьбы предприятий за эффективность производства. Люди уходят в кооперативы — вот в чем дело. А вакантные должности на производстве не ликвидируются и при первой возможности заполняются новыми людьми.

Должно быть не так. Из сферы материального производства (имеется в виду, прежде всего, государственный сектор) работники должны высвобождаться в количествах, которые диктуются техническим прогрессом. И должно быть именно высвобождение, а не замена уходящих из государственных предприятий и организаций новыми людьми. Но то, что высвобождение из государственного сектора промышленности поглощается кооперацией, разумеется, совсем не плохо.

В чем причина того, что наши предприятия не заинтересованы в высвобождении рабочей силы? Одна из причин, которая в последнее время выдвинулась на первый план, состоит в ее дефиците. Предприятия боятся увольнять излишних работников прежде всего потому, что они могут вновь потребоваться в связи с расширением производственной программы или по иным причинам. Где ее тогда найти? Создается парадоксальная ситуация: технический прогресс не высвобождает рабочую силу, что является причиной образования и непрерывного роста ее дефицита; с другой стороны, дефицит побуждает предприятия воздерживаться от высвобождения рабочей силы. Но дело не только в этом. Годами создавалась «престижность» крупных предприятий. Чем больше численность работающих, тем выше котировался уровень предприятия. Кроме того, всячески культивировалось так называемое «условное высвобождение» рабочей силы, которое выдавалось за «преимущество» социализма. Долгое время предприятиям просто запрещалось увольнять рабочих и служащих. Потом запрет сняли, но оставили всякого рода косвенные преграды. Так, например, предприятиям вменялось в обязанность трудоустройство уволенных работников, хотя эти функции должны осуществляться не предприятиями, а территориальными органами, прежде всего областными, городскими, районными службами трудоустройства.

Хозяйственный расчет должен иметь механизм, который бы стимулировал сокращение численности работающих. И такой механизм уже создан — это щекинский метод. Права щекинского метода сейчас предоставлены всем предприятиям. Но не все их используют. Более того, большинство предприятий, к сожалению, всеми правдами и неправдами открещивается от этого метода. Это происходит оттого, что те, кто применяет щекинский метод, получая право повышения заработной платы за счет экономии от уменьшения численности персонала, немалую часть экономии платят в бюджет. А те, кто не использует этот метод, никаких сумм из фонда заработной платы не платят, а иногда и получают дотации из бюджета на повышение зарплаты. Это противоречие надо отрегулировать путем увязки щекинского метода с платой за трудовые ресурсы: на предприятиях, которые не высвобождают рабочую силу, плата за трудовые ресурсы, при одинаковых нормах, фактически должна быть выше. Всякие возможности повышения зарплаты за счет дотаций из бюджета должны быть закрыты.

Вопрос о высвобождении рабочей силы на основе технического прогресса — это камень преткновения, о который сейчас споткнулись обе существующие в мире социальные системы. Высвобождение, которое сейчас в ряде стран происходит не тысячами, а десятками и сотнями тысяч при капитализме создало угрозу еще более значительной безработицы, чем та, которая имеет место в настоящее время. У нас же создается угроза замедления и без того низких темпов роста производительности труда, отрицательно сказывается на решении продовольственной и жилищной проблем.

Теперь непосредственно о жилищной проблеме.

В свое время, в 1957 году, был принят 10—12-летний план решения жилищной проблемы. Это был чрезвычайно ответственный план. Кто думает иначе, тот просто не хочет понять действительные причины, которые не позволили до сих пор решить жилищную проблему. А это очень важно сейчас, когда принят новый план решения жилищной проблемы до 2000 года.

Поскольку план 1957 года оказался невыполненным, хотя прошло не 10 и не 20 лет, а 32 года, этот план обычно подвергают критике за то, что он якобы все же не предусматривал такие темпы жилищного строительства, которые позволили бы решить жилищную проблему. Между тем этот план как раз предусматривал высокие, можно даже сказать, чрезвычайно высокие, невиданные до этого и непревзойденные и сейчас темпы жилищного строительства. И они были выполнены. Но все дело в том, что одним строительством, как ни высоки его темпы, жилищную проблему не решить. Ее не решишь ни в масштабе страны, ни в масштабе одного города Европейской части СССР до тех пор, пока не прекратится механический прирост населения.

Не все проблемы могут быть решены в региональном плане. Продовольственная проблема, например, которая связана как с необходимостью приостановить отток населения из села, так и с проблемой цен, не может быть решена в региональном плане. Но жилищная проблема может быть первоначально решена в какой-либо союзной республике или даже в отдельном городе. Однако приходится признать, что эта проблема за три десятилетия не решена не только в целом по стране, но и ни в одном городе. Если кто-нибудь думает, что можно приехать и быстро найти себе квартиру во Владивостоке, Хабаровске, Магадане, в Курске или Орле, он серьезно ошибается. Нет такого города, где бы жилищная проблема была решена.

Но чтобы картина была полной, надо, прежде всего, определить, что мы понимаем под жилищной проблемой. Это, прежде всего, обеспечение определенного уровня жилой площади в среднем на количество проживающих. Сейчас в большинстве городов Советского Союза в среднем на душу городского населения приходится 9—10 квадратных метров жилой площади или 14—15 квадратных метров полезной площади (включая места общего пользования). Этого, конечно, мало, поэтому планируется довести среднюю фактическую площадь до 12—15 квадратных метров, а полезную до 18—20 квадратных метров. Но обеспеченность жилой и полезной площадью на душу городского населения это еще не все, что входит в комплекс вопросов, составляющих жилищную проблему. Второй ее пункт заключается в том, что люди хотят жить в отдельных квартирах. Поэтому старый фонд с большими квартирами сейчас переоборудуется под небольшие квартиры, в соответствии с наличным составом современных семей.

Следующий момент: население не стабильно, одни семьи увеличиваются, другие уменьшаются. И так будет всегда. Семьи, которые увеличились в своем составе, требуют дополнительной площади или новую квартиру. Им не безразлично, будут ли они ждать этой новой квартиры год или 15 лет. Квартиру можно получить государственную, то есть по существу бесплатно, и можно купить кооперативную. Это тоже важно для семей с различным достатком. Поэтому возникает множество вопросов, которые составляют проблему распределения жилья.

Существующий административный метод распределения ведет к тому, что большинство стремится увеличить площадь своих квартир, но никто не стремится освободиться от излишней площади. Чтобы появилось такое стремление, необходимо поднять квартплату до уровня, стимулирующего экономное и рациональное использование жилой площади. Повышение квартплаты должно быть осуществлено с компенсацией потерь населения.

Но прежде чем говорить о ценах и квартплате, отметим одно обстоятельство. Есть две вещи: стихийное повышение цен, вымывание дешевых товаров, стремление кооперативов продавать товары по завышенным ценам, с одной стороны, и намечаемая реформа розничных цен, с другой стороны. Против первой тенденции надо всеми силами бороться, но вряд ли надо препятствовать реформе ценообразования, которая, как это прямо заявлено, будет осуществлена с компенсацией материальных потерь населения.

Квартплата, по расчетам экономистов, должна быть повышена в 10 раз, не больше и не меньше. Если сейчас за 9 квадратных метров горожанин платит 1 рубль 17 копеек в месяц, то в случае подобной реформы он будет платить 11 рублей 70 копеек. Разница с учетом подоходного налога должна быть возмещена прибавкой к заработной плате и пенсиям. Кто выиграет и кто проиграет от такой реформы? Те, кто имеет фактически среднюю норму, те ничего не выиграют и ничего не проиграют. Те, кто имеет меньше этой нормы — выиграют: прибавка будет как бы дополнительной компенсацией за более худшие условия. Проиграют те, кто имеет больше 9 квадратных метров — им придется либо больше платить, либо освобождаться от излишней жилой площади. Высокая квартплата позволит также дифференцировать квартплату в зависимости от качества жилья.

Эти идеи давно уже обсуждаются и у нас и в других социалистических странах. Однако многими они еще не поняты. Видимо, пройдет время, пока население поймет, что политика высоких цен и высокой заработной платы имеет больше преимуществ по сравнению с политикой низких цен и низкой заработной

платы. Понимание этого вопроса все же пробивает себе дорогу. Обследование, произведенное среди москвичей (см. «Аргументы и факты», 1988, № 38, стр. 4), показывает, что из числа опрошенных 62,8 процента высказались за повышение платы за излишки жилой площади. Это, конечно, не то же самое, что повышение основной квартплаты до экономически обоснованного уровня, но это шаг в понимании этого вопроса.

Каковы пути перехода к обществу с высокими доходами? Таких путей два.

Первый путь — это повышение цен и квартплаты до общественно необходимого уровня, в соответствии с требованиями экономических законов товарно-денежных отношений. Резкое сокращение всякого рода бесплатных и льготных услуг. При этом вопрос не ставится так, чтобы все услуги сделать платными, но 50 миллиардов рублей, идущих на бесплатные и льготные услуги из общественных фондов, это огромный резерв для повышения заработной платы.

Второй путь — сокращение численности работающих, что позволит не только преодолеть дефицит рабочей силы, но и повысить заработную плату уменьшенному количеству работающих.

Нужна совершенно новая политика заработной платы. Фонд заработной платы в целом по стране не должен расти. Это ведет к инфляции, к тому, что все большее количество товаров становится дефицитом. Повышение заработной платы должно осуществляться только за счет снижения численности работающих в той или иной отрасли.

Надо быть очень осторожным в «изобретении» экономических новаций, но существует и действует закон: меньше работающих — выше, при прочих равных условиях, их заработная плата. К сожалению, приходится констатировать, что еще слишком много у людей иллюзий, связанных с возможностью найти какой-то третий путь. А третьего пути не дано. Либо низкие цены и низкая зарплата, либо высокая зарплата, но и высокие цены. Стремление добиться высокой зарплаты при сохранении низких цен так же, как и попытки добиться высокой заработной платы при раздутой численности работающих, обречены на провал.

Международная практика показывает, что цены на продовольствие и жилье должны быть не только высокими, они должны постоянно придерживаться определенного стабильного удельного веса в заработной плате. Не так уж это глупо, что столь необходимое для людей — жилье во многих странах оценивается от одной четверти до одной трети заработной платы. Только цены на промышленные товары могут постоянно снижаться, в меру снижения их себестоимости.

А пока надо сделать хотя бы первые шаги в направлении превращения квартплаты в экономический рычаг распределения и рационального использования жилой площади. Хотя квартплата у нас сейчас мизерная, 13 копеек за квадратный метр, но есть категории людей, которые платят даже ниже этого уровня. Для офицеров Советской Армии и персональных пенсионеров установлена 50-процентная скидка с основной квартплаты. Когда эта льгота вводилась, у офицеров было довольно низкое жалованье, персональные пенсии тоже были не высокими. Но после введения для офицеров помимо должностных окладов надбавок за звания они перестали относиться к числу малооплачиваемых. Несколько раз повышались пенсии персональным пенсионерам. Создавшиеся условия позволяют отменить льготы по квартплате для всех категорий населения, за исключением инвалидов первой и второй группы.

Теперь об оплате за дополнительную жилую площадь. Право на дополнительную площадь для ряда категорий трудящихся должно быть сохранено. Но почему это право должно сопровождаться льготой по оплате? Пенсионер с обычной пенсией, который имеет комнату не 15 метров, что вполне достаточно для одного человека, а, например, 25 метров, за излишки платит в тройном размере, а доктор наук в одинарном. Где же тут социальная справедливость? Доктору наук надо сохранить право на дополнительную площадь, она ему более необходима, чем пенсионеру, но пусть раскошелится. А пенсионер, если у него нет денежных накоплений, сам будет стремиться обменять свою комнату на меньшую.

Важное значение имеет и такой вопрос: сколько времени люди могут стоять на очереди на получение государственной или кооперативной квартиры? Сейчас в Ленинграде на государственную квартиру люди стоят 9—10 лет, на однокомнатную кооперативную квартиру 19 лет, на двухкомнатную 15 лет (см. Бюллетень Ленгорисполкома № 12—13, 1988 г.). Это соотношение и сроки должны постепенно меняться. Конечно же, и к 2000 году мы не избавимся от очередей на жилье. Но если удастся снизить очереди хотя бы до 5 лет к указанному сроку, будет весьма неплохо. Очереди на кооперативные квартиры должны быть в два раза короче государственных. Если человек выплачивает деньги сразу, квартира ему должна быть предоставлена быстрее.

Когда же, наконец, жилищная проблема будет решена? Это, прежде всего, зависит от того, как скоро прекратится механический прирост населения в крупных городах. Сегодня он не прекращен, и приходится констатировать, что решение жилищной проблемы еще не началось.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Александр
РУБАШКИН

«ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ ЖИЗНИ»

О книге Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь»

Мы уже привыкли за последние несколько лет открывать возвращенные книги. Стоит ли называть имена крупных русских писателей нашего века, которых не «проходили» в школах и вузах? Е. Замятин, М. Булгаков, А. Платонов... Другие представали искаженными, искусственно обрубленными. Пастернак без «Доктора Живаго», Ахматова без «Реквиема», Твардовский без «По праву памяти» и даже «Теркина на том свете». Столь же неполным остается для читателя до сих пор Илья Эренбург. Его собрание сочинений (1962—1967) — скорее «Избранное». Иные из его книг вообще у нас не публиковались, другие не выходили по двадцать и более лет. В этих условиях значителен сам факт нового издания мемуаров Эренбурга, предпринятого «Советским писателем».

В эпоху «застоя» эти мемуары оставались практически неупоминаемой книгой. В начале восьмидесятых именно нежелание издавать «Люди, годы, жизнь» привело к тому, что не вышло обещанное тогда новое собрание сочинений писателя. Еще в 1983 году в одной редакции меня убеждали, что мемуары, как и «Оттепель», сейчас не должны быть предметом литературного анализа. Считалось, что этих произведений как бы не существует.

Теперь «Люди, годы, жизнь» вернулись, их не только вспоминают, цитируют, печатают ранее не опубликованные главы — с этой книгой впервые знакомится молодежь. Перед ней предстает живая, современная вещь, которую не отодвинули в сторону значительные и острые публикации времени гласности и перестройки. И это — прямой повод сказать об эренбурговских воспоминаниях, истории их возникновения, нелегкой судьбе и подлинном значении в нашей литературной и общественной жизни.

Эренбург приступил к своим мемуарам в 1959 году. Ему минуло шестьдесят восемь, и он полагал, что откладывать больше нельзя. Но подступался к воспоминаниям и раньше — в 1956—1958-м, когда появились его очерки и литературные портреты Цветаевой, Бабеля, других писателей, практически неизвестных тогда нашему читателю. Эренбург своей повестью «Оттепель» (1954) дал определение последующему десятилетию и сам сумел эффективнее многих высказаться в это время по коренным проблемам жизни и искусства.

«Люди, годы, жизнь» вместе с другими значительными произведениями нашей прозы и публицистики определили лицо «Нового мира» и общественную позицию его редактора А. Т. Твардовского. Эта позиция основывалась на идеях XX партийного съезда, которые не всегда последовательно проводились в жизнь Н. С. Хрущевым. А после октября 1964 года от них начался все более ускорявшийся отход. Не только книга Эренбурга, но и многие другие произведения, печатавшиеся в журнале Твардовского, вызывали неудовольствие официальной критики. Как «очернительство» начали восприниматься рассказы А. Солженицына, «Вологодская свадьба» А. Яшина, первые военные повести В. Быкова, «Из жизни Федора Кузькина» Б. Можаева, «На Иртыше» С. Залыгина. Редактору удалось «пробить» «Один день Ивана Денисовича» и мемуары Эренбурга — он имел влияние на Хрущева. При новом руководстве (Брежнев — Суслов) Твардовский не смог довести до читателя уже набранные произведения, в том числе собственную поэму «По праву памяти», и в конце концов покинул журнал. Но это случилось уже после смерти Эренбурга, которого он пережил всего на четыре года.

Мемуарная эпопея Эренбурга имела влияние на весь литературный процесс. Редактор и поэт Твардовский раньше других понял, что после долгого «воздержания» общество более всего нуждалось в рассказе о пережитом, в писательской исповеди. Эренбург не был внутренне близок Александру Трифоновичу, но редактор ставил любовь к литературе выше личных пристрастий. Поэт М. Соболь слышал, как Твардовский объяснял автору, почему он печатает его мемуары: «Во-первых, это Эренбург. Во-вторых, это за советскую власть. В-третьих, это литература и история. А что касается моих личных вкусов и пристрастий, то уж Вы не обижайтесь».

Вскоре литературная практика подтвердила потребность в писательской мемуаристике. Как ни были отличны друг от друга воспоминательные книги В. Каверина, Э. Межелайтиса, В. Катаева, они писались если не с оглядкой, то с учетом уже сделанного Эренбургом. В «Рассказе о непокое» Ю. Смолича видели украинское «Люди, годы, жизнь».

Мемуары Эренбурга довольно скоро

встретили возражения и неприятие официальной критики, требовавшей от автора «объективного» подхода к явлениям жизни. Позднее именно такой критике ответила М. Шагинян: «Нет в мире, и абсолютно быть не может таких „воспоминаний", которые бы писались „исторически". Дело в том, что в них стержнем (или осью) сидит живое человеческое „я". Жив и материал вокруг него, пульсирующий кровью сегодняшнего дня, хотя бы описывался мемуаристом день вчерашний и позавчерашний...»

То, что казалось естественным для Шагинян, то, что оценил в мемуарах Эренбурга Твардовский, не могли принять В. Ермилов, Ю. Барабаш, Ю. Идашкин и несть числа другим, примкнувшим к разносным филиппикам, звучавшим с самой высокой трибуны во время одной из встреч наших руководителей с творческой интеллигенцией. Но предвзятая критика не уменьшила влияния мемуаров Эренбурга, а наоборот, привлекла к ним внимание читателей, пожелавших понять смысл «проработки».

Критики, конечно, поняли, что в «Людях, годах, жизни» запечатлен портрет века, что это век прожитый, пропущенный художником через себя. Судить о нем лишь на основании одного свидетельства нельзя, но и без Эренбурга суждение будет неполным. Писатели пытались поправить, говорили, что картина искажена, но это была *его* картина. Он не мог написать иную. Явно понимая все это, Ю. Барабаш настаивал: «Могут сказать: И. Эренбург ведь пишет не историю литературы. Что же, это верно — мемуарист пишет о прошлом так, как он его видит. И все же это видение, эта субъективность не должны в главном расходиться с объективной картиной вещей, с правдой фактов, правдой истории. Ведь сами мемуары — частица истории, одна из страничек великой летописи нашей литературы». В объективности собственного взгляда критик был уверен. Не претендуя на роль арбитра, посмотрим, что же отразилось в эренбурговских мемуарах, какими видит автор различные этапы нашей истории. Эти вопросы неизбежно возникают у читателя.

Напомним, что книга писалась в 1959—1964 годах, что в 1965-м она уже была (в журнальном варианте) опубликована. С той поры многое переменилось: мы узнали о прошлом много такого, о чем тогда и думать не могли. Иной стала общественная оценка некоторых периодов недавней истории, не выдержали испытания временем отдельные репутации. Наверное, будь автор жив, он внес бы какие-то коррективы в уже написанное. И все же — не только литературные портреты деятелей культуры, но и социальная характеристика событий, данная Эренбургом, представляет интерес и сегодня.

Те события, в которых Эренбург сам активно участвовал, запечатлены наиболее сильно. Эти главы вызвали одобрение даже критиков, которые в целом мемуаров не приняли. Можно сказать, что эпоха была сложнее, чем она представлена в мемуарах. Важнее увидеть другое. Эренбург принадлежал к поколению, которое выросло на старой культуре и пришло к пониманию идей нового мира. Это поколение, как показано в мемуарах, осталось верным новым идеалам. И оно же приняло на себя удары от изменившего свой облик государства.

Одним казалось, что Эренбург излишне подчеркивает трагические страницы нашей истории, другие видели неполноту написанной им картины общественной жизни. Эта ограниченность имела разные причины. Не все писателю было ясно, иногда же он не мог сказать в полный голос и то, в чем не сомневался, например, о фальсификации процессов тридцатых годов. О тогдашних переживаниях автора мы можем сейчас судить по косвенным свидетельствам (художника Б. Ефимова, вдовы Н. Бухарина). Тем, кто предъявляет максималистские требования к мемуаристу, не учитывая обстоятельств, в которых «Люди, годы, жизнь» буквально пробивали дорогу в печать, стоит помнить, что эта книга через десятилетия проторила путь другим публикациям, на которые уже не нашлось ни прежних критиков, ни прежних цензоров, укоротивших век и редактора журнала и автора мемуаров.

Уже в названии Эренбург указал на характер своего произведения, на то, как соотносятся в нем портреты, события и собственная исповедь. На первый план вышли люди. Через их судьбы ведется широкий разговор о поэзии, живописи, искусстве, ибо жизнь прежде всего сталкивала писателя с поэтами, художниками, режиссерами. Тут сочетается внешняя характеристика, портрет с оценками художественных явлений. Герои даны во взаимосвязи с автором, и так одновременно возникает автопортрет. Хронология при этом не выдерживается. Эренбург видит события через толщу времени и, вместе с тем, стремится передать духовную жизнь тех лет.

Как и в лучших романах писателя, в мемуарах логика мысли неотделима от лирического чувства, а чувство всегда пристрастно. Эти воспоминания стоят в определенном литературном ряду. За ними — и «Опыты» Монтеня и опыт Герцена. Для своих зарубежных читателей Эренбург дал название каждой из шести частей (книг), но в том-то и дело, что он нигде не замыкается в рамках того или иного периода. Это свободное повествование, а потому из глав о юности автор переносит читателя в будущее — в тридцатые годы, войну, а из сегодняшнего дня возвращается к началу века. Писатель сталкивает прошлое и настоящее, века девятнадцатый и двадцатый, но при этом дает свой отсчет; для него (а теперь уже для многих) наш век начался не тихим январем 1900 года, а с первыми залпами первой мировой войны. Не так ли и у Анны Ахматовой: «Начинался некалендарный, настоящий двадцатый век...»

Эренбург передал во многих случаях внешний портрет героя, среду, в которой он действовал, время, выдвинувшее его на сцену. Живописный портрет схватывал и внешнее и сущность. «У него было лицо то чрезвычайно бледное, то цвета меди, зеленые глаза, рыжая бородка, рыжие волосы, которые кудрями спадали на спину... Он похож на тропическую птицу, случайно залетевшую не на ту широту». Это Бальмонт, увиденный Эренбургом, который сумел раскрыть внутреннее состояние талантливого поэта, его трагическую предопределенность. Конечно, это написано уже со знанием судьбы Бальмонта, когда-то бывшего кумиром публики. Но Эренбург не был бы Эренбургом, если бы закончил на встрече в Париже 1934 года с уже давно пережившим свою славу поэтом. «Субъективный» мемуарист дает объективную характеристику этой поэзии и еще задолго до выхода в «Библиотеке поэта» однотомника Бальмонта пишет, что такую книжку нужно и можно составить.

В отличие от историка литературы, искусства, изучающего биографию и произведения художника, Эренбург писал о тех, кого лично знал. У него двойное зрение: он перечитывает и рассматривает сегодня с высоты прожитых лет то, что знает давно. Есть в мемуарах портреты, в которых автор выразил отношение и к творчеству и к личности творца. В иных случаях на первый план выходит личность, неповторимые человеческие черты. Тувим, Неруда, Маркиш, Мачадо... Случайно ли многие крупнейшие поэты века (и Маяковский, и Цветаева, и Пастернак, и Ахматова) вошли в жизнь Эренбурга? И многие мастера изобразительного искусства, театра? «Это не книга о поэзии,— замечает автор,— а история моей жизни, именно поэтому я должен был рассказать о стихах Незвала — они вошли в мои дни».

Естественно, что о стихах, которые в его жизнь не вошли, о поэтах, которых Эренбург не знал, он не пишет. Отсюда известная неполнота созданной им насыщенной картины культурной жизни двадцатого века. Но все же это значительно шире, чем обещанный автором рассказ о поисках и заблуждениях одного человека. Подход к «персонажу» предопределен индивидуальностью данной личности. Внешний портрет и размышления о прочитанных стихах, вехи биографии и эпизоды встреч, перечисления, за которыми тоже люди и годы.

Насыщенность эренбурговской прозы, ее выразительность передают масштаб личности и героя и автора. В будущей истории XX века найдется место крупным деятелям культуры, и вряд ли кто скажет об их месте в нашей жизни так, как сказал Эренбург. Большие художники не только сопровождают нас, они оставляют такие свидетельства духовной жизни, какие не под силу ученым-историкам. Может быть, поэтому Гомер пережил века, а «Войну и мир» не только «проходят в школе». «Не думаю, чтобы будущий историк,— писал Эренбург,— понял переживаемую эпоху только по газетам, по протоколам заседаний, по архивам академий и трибуналов, ему придется прибегнуть к поэзии, и одной из первых книг, к которой он потянется, будут стихи неуемного Незвала».

Писатель не брал на себя труд биографа или исследователя творчества крупных художников нашего века, но уже давно критики, пишущие о Пикассо и Шагале, Хемингуэе и Неруде, Цветаевой и Новомеском, Мейерхольде и Таирове, не обходятся без ссылки на эти мемуары, напоминая читателю отточенные формулировки, лаконичные портреты замечательных людей, с которыми встречался и дружил Илья Григорьевич.

Спустя годы после первого появления мемуаров В. Солоухин высказал свое неприятие художественной манеры К. Малевича, которого высоко ценил Эренбург. И в той же книге восторгался работами И. Глазунова. От этих высказываний сама живопись не изменилась. Мир узнал точку зрения писателя Солоухина. Те, кому она интересна, обогатили себя, те, кто думает иначе об этих двух художниках, останутся при своем мнении. Читатели, узнав о различных оценках художественных явлений, постараются сделать собственные выводы.

Трудно предположить, что человек, далекий от творчества Пикассо, прочитав о нем у Эренбурга, тотчас полюбит этого художника. Но, может быть, захочет снова увидеть (на выставке или в репродукциях) его произведения, как и картины и рисунки Шагала, Фалька, Малевича, Кончаловского — разных художников, оставивших заметный след в искусстве.

В своей книге Эренбург проявил черты многообразного дарования — поэта, эссеиста, прозаика, публициста, художественного критика. Он говорил, что в «насыщенных публицистикой романах» искал новую форму. И его автобиографическая книга далеко не традиционна. «„Люди, годы, жизнь" строятся по законам мемуаров»,— писал В. Ермилов, отказывая Эренбургу в праве на суждения об искусстве. Писателю «дозволялось» только

вспоминать, а вот Эренбург о прошлом и настоящем и вспоминал и свое суждение имел. Включившись в «проработническую кампанию» статьей «Необходимость спора» (1963), Ермилов убеждал читателей в том, что советские люди не сомневались в правомерности репрессий 1937—1938 годов, их лишь потрясало число разоблаченных. Критик утверждал вопреки очевидному: «Было немало выступлений на собраниях, в печати, которые хотя и были связаны с протестом против данного факта, данного явления, в самом деле относились к существу культа личности Сталина».

Эренбург таким образом порицался за приверженность и даже авторство «теории молчания», согласно которой люди боялись говорить о своих сомнениях, вынуждены были скрывать их. Ермилов «не заметил» атмосферы всеобщего страха, в которой жили долгие годы миллионы людей. Он сознательно отстаивал в своей статье неправду, ибо знал, чем могла обернуться защита человека, объявленного «врагом народа». Даже отказ от публичного осуждения был опасен. Разумеется, Эренбург не верил в виновность Бухарина, Бабеля, Мейерхольда. Но возможности вступиться за них не существовало. Достаточно того, что подписи Эренбурга нет под тогдашними разоблачительными статьями и письмами в газеты. Отвечая Ермилову статьей «Не надо замалчивать существо спора», Эренбург писал: «Я не присутствовал ни на одном собрании, где выступили бы люди, протестуя против расправы с товарищами, в невиновности которых они не сомневались, и ни разу не читал статей, протестовавших против „факта" или „явления", протестов, которые, по словам Ермилова, на самом деле относились „к существу культа личности"».

Своей статьей В. Ермилов выполнил «социальный заказ». Это понимал Эренбург. В архиве писателя сохранилось его выступление перед читателями одной из московских библиотек: «Говорят „Ермилов", чтобы не называть других имен, которые имеют гораздо больший вес. Получается, что это псевдоним — „Ермилов"». По свидетельству тогдашнего редактора «Известий» А. Аджубея, статья была «спущена» в газету сверху. Затем на встрече с творческой интеллигенцией Хрущев предъявил Эренбургу те же обвинения. Илья Григорьевич, правда, позволил себе уйти с этой встречи, не стал выслушивать до конца очередные попреки. Но в издательском предисловии к третьей-четвертой книгам мемуаров было сказано нечто похожее. Директор издательства Н. Лесючевский предисловие не подписал, но мы, издательские работники, знали автора. «Читатель помнит,— говорилось в предисловии,— что в печати и в других выступлениях советской общественности справедливой критике подвергся выдвинутый Эренбургом ложный тезис о „молчании", утверждавший, будто в годы культа личности Сталина советские люди видели, понимали, знали, что репрессии необоснованны, что происходит преступное злоупотребление властью, но молчали, якобы „все были участниками великого заговора молчания"».

Ни одни писательские мемуары тех лет не проходили столь трудно. Илью Григорьевича не очень заботили попреки Ермилова, Лесючевского или Серебровской. Но «замечания» Н. Хрущева и Л. Ильичева приобретали директивный характер, поэтому Эренбург тяжело пережил очередную проработку. Он сильно сдал (к нему вернулась давняя болезнь, которую он перенес на нервной почве зимой 1939—1940 года, после подписания наших договоров с гитлеровской Германией), почти ничего не ел. «Иммунитет» к критике, о котором он писал мне в одном из писем, на этот раз не сработал. Как рассказывала автору этих строк редактор собрания сочинений И. Чеховская, именно в эти недели 1963 года писатель сказал ей, как следует вести дальнейшую работу над изданием, если ему не доведется в ней участвовать. Весной — летом того года Эренбурга не печатали, а все упоминания его имени носили негативный характер. Лишь поток читательских писем — сочувственных, поддерживающих помогал вынести несправедливые нападки. Приведем некоторые материалы писательского архива.

Читатель Хотяновский прислал телеграмму: «Держитесь дорогой кончайте люди годы дураков хватает умные за вас особенно молодые держитесь». Одна из телеграмм, подписанная — «студенты 1-го Медицинского института I курс все до одного» — гласила: «Мы очень обеспокоены что сложившаяся обстановка отразится на вашем здоровье». Еще один читатель утверждал: «Никакими инсинуациями не затмить вашего жизненного подвига в годы войны с фашизмом». Вспоминали не только годы войны, но и не столь давнюю повесть «Оттепель». В послании В. Хотимского говорилось: «В эти мартовские дни, когда обреченная зима отчаянно контратакует, хочется от всего сердца пожелать Вам бодрости, физических и душевных сил...». Вот еще отклик шестерых читателей: «Мы пишем, задыхаясь от обиды за Вас, от возмущения этой жалкой попыткой запачкать Ваше имя...». В эти дни Илья Григорьевич чувствовал участие своих близких друзей. Они знали по себе (многие) отличие проработки от критики.

В начале августа состоялась встреча писателя с Н. Хрущевым, о которой Эренбург рассказывал мне. Он напомнил нашему тогдашнему лидеру, что тот в одном из выступлений говорил, как вместе с Н. Булганиным ездил в Кремль к Сталину и не знал, вернется ли благополучно домой, хотя никакой вины за собой не чувствовал. Напомнив об этом эпизоде, Эренбург сказал, что таким образом автором теории молчания можно считать и самого Хрущева. Отвел писатель и некоторые другие обвинения.

После этого разговора Эренбург смог вернуться к общественной и литературной деятельности. Открылась возможность и для дальнейшего печатания мемуаров. Правда, как мы говорили, издательство сочло нужным указать на необходимость их критического осмысления. Оно словно бы воспользовалось давним советом литературного героя Эренбурга Лазика («Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»), который предлагал печатать неугодные сочинения «с каким-нибудь оглушительным предисловием». По этому поводу Е. Полонская написала своему другу 23 мая 1964 года: «Дорогой Илья! Твою книгу купила и прочла всю, включая подлое предисловие. Фер то ке? (что же делать? — искаж. франц.). Думаю, что экземпляры с этим подлым предисловием уже разошлись и стали библиографической редкостью». Как и надеялась Полонская, о предисловии этом мало кто помнит. Почти забылись и трудности прохождения рукописи, но сказать о них следует. Эренбург всегда болезненно реагировал на вмешательство в ткань своих произведений, но в данном случае литературная ситуация заставляла его (и редакцию тоже) идти на уступки ради спасения книги. Нельзя было допустить, чтобы «Люди, годы, жизнь» дожидались лучших времен вместе с отвергнутыми тогда же произведениями нашей литературы. Уже читатели первых книг этих мемуаров увидели, что они значат для всего литературного процесса. Драматург и критик А. Гладков писал своему старшему другу: «Вы открыли своей книгой столько шлюзов, что поток правды неизбежно хлынет. И он уже хлынул».

Твардовский понял общественное значение этих воспоминаний, которые пробились к читателю вопреки изменившемуся уже времени. Пробились благодаря высокому авторитету редактора журнала и самого автора. По своей открытости, прямоте, глубине и правдивости ничего подобного в нашей литературе не появилось в печати на протяжении последующих двух десятилетий. «Поток правды» был перекрыт. Многие значительные произведения, написанные тогда же или чуть позже, пришли к читателю с опозданием, лишь в восьмидесятые годы. А «Люди, годы, жизнь» все-таки, несмотря на сопротивление руководящих идеологов, оказалась в читательской орбите, помогая наиболее любознательному молодому читателю понять сложные вопросы прошлого и настоящего, разобраться в явлениях искусства, поэзии, научиться воспринимать подлинные культурные ценности.

Когда Эренбург в письме к Е. Полонской указывал, что его мемуары — продолжение все той же борьбы, он упомянул о том, что приходилось ему выдержать, отстаивая свою точку зрения, как защищал он каждую строку рукописи, каждый эпизод. У нас есть возможность привести некоторые примеры — из текстов виден характер замечаний. «Согласен с купюрой разговора с т. Ворошиловым. Но не могу принять устранения фразы о Рублеве — серьезные книги, посвященные великому живописцу, появились только после 20-го съезда». «Идя навстречу товарищам, предлагающим купюру 2-х абзацев, я согласен заменить их короткой фразой: „После доклада А. А. Жданова, посвященного главным образом Анне Ахматовой и М. Зощенко, они были исключены из Союза писателей"». В набросках к этой главе, хранящихся в архиве писателя, я увидел написанное его рукой и все определяющее слово — «ждановщина».

Эренбург отстаивал свое право высказаться, но не всегда ему это удавалось. Иногда он возражал против купюр, порой возмущался: «Почему я не могу цитировать заметку о художественных вкусах Черчилля?». Или: «Купюра о Тольятти мне непонятна. Эта страница была напечатана в юбилейном номере „Унита"». Встречается и категорическое: «Снять эту фразу считаю невозможным».

Из писем друзьям, в частности адмиралу Исакову, видно, что в январе 1964 года писатель закончил книгу, которую считал «последним заданием жизни». Некоторые уточнения, нередко вынужденные, делались и позже. В апреле 1965-го вышел номер журнала, которым, казалось, публикация (шесть книг) была завершена. Затем Эренбург изменил прежнее решение — довести воспоминания до 1954 года — и начал седьмую часть. В архиве остались планы с указанием будущих литературных портретов и отдельные главы. Но завершить эту работу Илья Григорьевич не успел... Спустя двадцать с лишним лет—в мае—июне 1987 года — главы из седьмой книги были опубликованы дочерью писателя Ириной Эренбург в журнале «Огонек» (№ 22—25). И новое издание мемуаров, включая дополнения и богатейшую иконографию, также подготовлено ею для издательства «Советский писатель».

Среди дополнений не только главы неоконченной книги, но и купированные в прошлом отрывки и отдельные фразы. Только через помощника Хрущева Лебедева редакция и автор получили свыше

ста замечаний, часть из которых носила характер категорического требования. Может быть, стоило при печатании как-то выделить эти возвращенные куски, читатель увидел бы, в какой обстановке приходилось работать нашим писателям. Искажалась мысль, сдерживались эмоции. И это не в годы культа или даже застоя, а в пору сравнительного благополучия. Во времена сегодняшней гласности вспомним, что тогда еще с трудом преодолевался внутренний цензор, а непривычные мысли казались крамольными.

В этой ситуации Эренбург был вынужден сдерживать себя, иногда прибегать к эзопову языку. Так сделал он, с признательностью вспоминая гимназического товарища Николая, или в другом случае, говоря о том, что был уверен в невиновности Николая Ивановича. Фамилия не была названа. До реабилитации Бухарина оставалось еще четверть века.

В своей недавней книге «Заметки и наблюдения...» Д. Лихачев посвятил несколько строк Эренбургу: «Об Илье Эренбурге можно было бы сказать, что он „служил в семи ордах при семи королях“. В наше время это было уже своего рода заслугой, ибо, служа, он исправлял и смягчал, но себя, конечно, портил». При всей выразительности эта характеристика, по крайней мере, недостаточна. Новое издание мемуаров покажет Дмитрию Сергеевичу, насколько время «портило» не только писателей, но и их произведения. Каждый из пишущих испытал это на себе.

Эренбург «служил» без должности. От него не зависели другие судьбы, да и своя, по крайней мере дважды — в конце тридцатых и в конце сороковых,— держалась на волоске. Он догадывался об этом, теперь тайное стало явным — по материалам ведомства Берии, опубликованным А. Ваксбергом. Не служить в те годы для такого заметного человека означало — не жить. Большевик в прошлом, друг юности Бухарина, автор «Хуренито» и антибольшевистских статей 1918 года, проживший за границей почти два десятка лет — достаточный «набор» для любого судебного процесса тридцатых — сороковых годов.

Эренбург больше знал, чем написал о том, как «исчез» в Париже белогвардейский генерал Кутепов, которого выкрали агенты НКВД; он мог написать не только об исканиях художника Риверы, но и его причастности к политическим покушениям; Эренбургу были известны мотивы, заставившие Андре Жида выпустить свою книгу «Возвращение из СССР». Вместо этого написал: «Не знаю, что с ним произошло». Автор этих заметок не хочет «улучшать» своего героя. Но можно ли забывать, что мемуары писались на исходе первой «оттепели», когда и степень открытости Эренбурга была еще мало кому доступна.

Когда мемуары печатались впервые, они вызывали недовольство с двух сторон: одним казалось, что писатель многого не договаривает (не знали, как трудно шла публикация), другие были с теми, кто мешал их выходу в свет. Затем общественная ситуация изменилась настолько, что «Люди, годы, жизнь» стали чуть ли не «самиздатовской» книгой. В этих мемуарах упоминались «не те» люди (А. Солженицын, В. Некрасов, В. Аксенов) и «слишком много» говорилось о репрессированных. По существу же речь шла не о частностях, но общей направленности мемуаров. В семидесятые — начале восьмидесятых предпочитали не говорить о XX съезде и не называть имя докладчика на нем, а писатель завершал свой труд размышлениями на тему, которая многим «охранителям» старого казалась уже закрытой. «Я заставил себя о многом молчать: то были годы свастики, испанской войны, борьбы не на жизнь, а на смерть. Эпоха, которую теперь называют „культом личности“, к добровольному молчанию примешивала и вынужденное... Я счастлив, что дожил до того дня, когда меня вызвали в Союз писателей и дали прочитать доклад Хрущева о „культе личности“». В брежневскую пору эти слова были подцензурными, о Хрущеве уже полагалось говорить лишь в связи с его волюнтаризмом и увлечением кукурузой.

Итак, антикультовая направленность мемуаров — одна из причин официального неприятия их на протяжении двух десятилетий. Были и другие «зоны молчания», затронутые Эренбургом задолго до эпохи гласности. Его мемуары в той же степени, как и антикультовые — антирасистские, антинационалистические. Эта тема тогда трактовалась лишь в зарубежном плане. Писали о национализме и расовых проблемах у «них». Еще далеко было до Сумгаита и деклараций общества «Память», но Эренбург хорошо усвоил уроки своего века. Вот почему он сказал об одной из болезней, затронувших и наше общество,— антисемитизме, с которым сталкивался в разные годы. Он напомнил о том, как был рассыпан в 1948 году набор «Черной книги», составленной им вместе с В. Гроссманом,— книги документов и свидетельств об истреблении фашистами миллионов еврейских граждан на временно захваченной территории нашей страны. Он писал и о репрессиях против видных деятелей еврейской культуры в конце сороковых — начале пятидесятых. Многих из этих писателей, деятелей театра, представителей интеллигенции Эренбург хорошо знал.

Илья Григорьевич чувствовал свою принадлежность к русской культуре и литературе. Но черносотенцы напоминали ему о его происхождении, и он давал отпор этому проявлению расизма XX века. Красноречивей всего его позиция проявилась в сочувственно процитированных им словах Ю. Тувима. Они есть в тексте мемуаров, но были приведены Эренбургом и на юбилейном вечере в январе 1961 года. Вот отрывок из этого выступления. «Почему же я называю себя русским писателем? Мой покойный друг, польский поэт Юлиан Тувим очень точно разъяснил однородное положение, и я приведу его слова: „Я поляк, потому что мне нравится быть поляком. Это мое личное дело, и я не обязан давать кому-либо в этом отчет. Я не делю поляков на породистых и не породистых, я предоставляю это расистам чужестранным и отечественным... Я делю поляков на антисемитов и антифашистов, потому что антисемитизм — международный язык фашистов... Я поляк, потому что в Польше родился, вырос, учился, потому что по-польски исповедовался в тревогах первой любви... Я поляк еще потому, что береза и ветла мне ближе, чем пальма и кипарис, а Мицкевич и Шопен дороже, нежели Шекспир и Бетховен, дороже по причинам, которые я не могу разумно объяснить... Я слышу голоса: „Хорошо. Но если Вы поляк, то почему Вы пишете, что Вы — еврей? Отвечу: из-за крови. Стало быть, расизм? Нет, отнюдь не расизм. Наоборот. Бывает двоякая кровь. Та, что течет в жилах, и та, что течет из жил... Кровь евреев — не „еврейская кровь“ — течет широкими ручьями, и в этом новом Иордане я принимаю крещение — горячее, мученическое братство с евреями...“ Да, лучше об этом не скажешь. Нравится ли это всем или нет, но я русский писатель. А покуда на свете будет существовать хотя бы один антисемит, я буду с гордостью отвечать на вопрос о национальности: „еврей“».

Отвергая всякий национализм, Илья Григорьевич болезненно воспринимал любые формы шовинизма и еще задолго до мемуаров написал об этом в романах «Хулио Хуренито» и «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца». Антирасистскую направленность мемуаров (как и антивоенную, антикапиталистическую) необходимо четко обозначить. Она сказалась и на оценке явлений искусства, и на характеристике эпохи в целом. Трогательнейшее отношение Эренбурга к Короленко связано было с позицией, которую занимал этот чистейший писатель во время Мултанского процесса и дела Бейлиса. Не эти ли страницы мемуаров, не этот ли их воинствующий, непримиримый дух (антирасистский, антикультовый, антидогматический) привел к тому, что более двух десятилетий одна из лучших книг Эренбурга, переведенная в десятках стран, ни разу не переиздавалась у нас?

Многие критики (В. Ермилов, А. Дымшиц) упрекали Эренбурга в однобоком подходе к искусству: он-де защищает модернистское искусство, он против реализма и так далее. Да, Эренбург отказывался признать единственно узаконенное в тридцатые—сороковые годы искусство, в котором не было места замечательным художникам неакадемического направления — Фальку, Кончаловскому, Осмеркину... Вспоминая о своей встрече с Эренбургом, болгарский поэт Младен Исаев говорил мне, что все высказывания писателя об искусстве (это было в самом начале пятидесятых) он воспринимал как антикультовые еще до разоблачения «культа личности». И о Пикассо, и об импрессионистах, и о наших «фотографах»-монументалистах, вроде Д. Налбандяна и А. Герасимова, Эренбург отзывался прямо: одними восторгался, других не принимал. Это была его борьба против застоя в искусстве. Она отразилась и в «Оттепели», и в мемуарах. Е. Серебровская, поддерживая официальную критику выставки молодых московских художников конца пятидесятых, утверждала, что Эренбург несет за нее «долю моральной ответственности». Можно добавить к этому, что на себя «охранители» застывшего языка в живописи, поэзии, театре ответственности не брали ни за что.

Мемуары Эренбурга стали началом пересмотра истории нашей культуры. Он не писал историю, но становилось ясным, что многие акценты в ней ранее ставились неверно. Новые подходы задели репутации одних, насторожили других задолго до того, как П. Проскурин, испугавшись возвращения В. Набокова, А. Бека, Н. Гумилева, В. Гроссмана, воскликнул свое печально знаменитое: «Некрофильство!». Ведь четверть века назад писатель М. Соколов советовал Илье Григорьевичу «еще хорошенько поработать над этими мемуарами, а не печатать их только для того, чтобы воскресить из мертвых забытые всеми имена и „истины“».

После мемуаров Эренбурга и одновременно с ними встали на свое место в истории нашей поэзии Цветаева, Мандельштам, Мартынов, многие замечательные поэты Франции (Апполинер), по-другому стали воспринимать погибших фронтовых поэтов. Авторитет Эренбурга был столь велик, что с его легкой руки мы, молодые люди эпохи оттепели, буквально открыли для себя и Бабеля, и наше «левое» искусство двадцатых годов, и Мейерхольда, и Таирова. Зазвучали имена, почти неведомые прежде, стали осторожно, по одной-две картине, выставлять русских художников начала века, более известных в Париже, чем в Москве. Кандинский, Малевич, Ларионов, Гончарова не вызвали всеобщего приятия, как и Шагал, но «отменить» их уже невозможно, хотя это до сих пор пытаются сделать теоретики и практики «фотографического» реализма. П. Выходцев и В. Архипов, опро-

вергая Эренбурга, кинулись было снова «закрывать» Бабеля. Но многоцветье «Конармии» смело прежнее представление о прозе двадцатых годов.

Наше «левое» искусство и после своего возвращения не стало ни общепризнанным, ни всем понятным. И. Глазунову оно не нужно. Для него и Пикассо с его «Герникой» — пустое место. Это не может никого огорчить. Важно, что после эренбурговских мемуаров стало естественным обращение к *разным* направлениям живописи, поэзии, а значит, и их оценка.

Бесспорна полемичность мемуаров. Настойчивое обращение Эренбурга к некоторым именам связано с предвзятостью нашего отношения к большим художникам и писателям, чьи произведения еще не были у нас оценены. Эренбург и до мемуаров поступал так же. Он первым, еще во время войны, рассказал советскому читателю о романе Хемингуэя «По ком звонит колокол» и способствовал тому, что, в конце концов, эта книга вышла в Москве. И выставка Пикассо, ждавшая своего часа два десятка лет, появилась благодаря прямому вмешательству Эренбурга. И поворот в отношении к импрессионистам — тоже в большой мере дело Ильи Григорьевича. Он писал о том, что знал и за что боролся.

Тема искусства в мемуарах выходит за пределы отдельных портретов или суждений. Писатель, расширив наше представление о художественных исканиях в современном мире, способствовал большей открытости общества, закостеневшего за десятилетия сталинского правления. Не только об искусстве, культуре, поэзии вел он речь, но об уровне свободы, о раскованности, которая дает человеку возможность проявиться в различных сферах. В этом смысле и повесть «Оттепель» и мемуары воспринимаются как сегодняшние книги во второй половине восьмидесятых, в пору нового раскрепощения общественного сознания.

Мемуары встретили непонимание не только у защитников старого в области искусства. Не принимали и попыток автора утвердить новое мышление. Это же пришлось в разные годы почувствовать и академику А. Сахарову, едва ли не первым у нас заявившему о невозможности войны в атомную эпоху, и, спустя десятилетие, А. Адамовичу, которого в Белоруссии иначе как пацифистом (да еще с язвительным эпитетом) — не называли. Автора мемуаров обвинили в том, что он выступает за сосуществование идеологий, забывает о расколе мира на два лагеря. Хрущеву эту мысль подбросили люди из его окружения, умело поссорившие нашего лидера с интеллигенцией незадолго до переворота в октябре 1964 года. Но во время беседы с Хрущевым писателю удалось с ним объясниться, и запрет на дальнейшую публикацию мемуаров был снят. В этой беседе Илья Григорьевич разграничил борьбу идеологий и доказательство своей правоты силой оружия. Последнее он считал в атомную эпоху невозможным.

Сейчас, кажется, об этом никто не спорит. Но о тех, кто прокладывал дорогу новому мышлению в ядерный век, нужно помнить. Автор мемуаров «Люди, годы, жизнь» был среди них.

Эренбургу приходилось читать произведения, ходившие тогда по Москве в рукописях (так называемый «самиздат»), нередко получая их от авторов. Были среди них вещи, которые он высоко ценил. О воспоминаниях Н. Я. Мандельштам Илья Григорьевич высказывался в том духе, что там написано *все*, но прочесть это *все* смогут сейчас единицы, его же книгу, в которой многое опущено, читают миллионы. Эренбург не писал «в стол», бился за публикацию и поэтому шел иногда на уступки. Он не мог сказать в мемуарах всего, что хотел, но не говорил того, что не думал.

Думаю, что в последних рассуждениях писателя также заключена полемика. По тому, как ждали мы тогда очередного номера «Нового мира», можно судить, чем стали в нашей жизни эти мемуары. Эренбург в условиях весьма ограниченной гласности сделал важный шаг за пределы дозволенного. Но, будучи сыном своего времени, писатель не смог подняться до обобщений, сделанных, например, в романе Гроссмана. Зато он знал о судьбе арестованного романа, видел в ней недвусмысленное предупреждение. Эренбург и так стал объектом организованной травли. Здоровье его оказалось сильно подорванным, но труд не пропал. Сотни читательских писем были ему поддержкой.

Четверть века — большое испытание для любой книги, тем более появившейся вновь одновременно со многими ранее «запретными» произведениями. Наверное, автору было бы что сейчас досказать. Но и то, что написано, заставляет вспомнить слова из письма А. Твардовского: «При всех возможных, мыслимых и реальных изъянах Вашей повести прожитых лет Вам удалось сделать то, что и попробовать не посмели другие».

Дух многих произведений, рожденных эпохой оттепели, близок нашим дням. Пожалуй, в первую очередь это относится к эренбурговским мемуарам. Писатель исполнил свой долг — «последнее задание жизни».

ПИСЬМА ИЗ ЭМИГРАЦИИ

Наталии РУБИНШТЕЙН

НАРОДНЫЙ АРТИСТ

А вчера (27 июля) хоронили Володю Высоцкого. Я лично была одна. Немножко послушала его кассету: «Поэты ходят пятками по лезвию ножа» — и поплакала сама себе. Сегодня узнала, что в Москве был общенародный траурный день по этому поводу. Он умер утром в пятницу. С субботы установилась очередь простых людей, где они на набережной отмечались, чтобы пойти в театр с ним попрощаться. Стояли субботу, воскресенье, и только в понедельник, после торжественной панихиды, их, простых людей, начали впускать. Это греет душу. А организованное Любимовым представление — с литургией, звучащей из стереофонических динамиков, где был и хор Большого театра в его лучшем составе, и записи Володиных гамлетовских кусков, и высказывания, конечно же, очень искренние, самых больших актеров — мне все это не по душе. Это, по-моему, все язычество... Он умер от сердечной недостаточности, чему предшествовал серьезный приступ дома, да и на спектакле один раз было плохо, а может быть, и чаще.

Из частного письма.

В полдень наша улица пуста и безлюдна. Так пуста и так безлюдна, как в других городах бывает глубокой ночью. Зной вытеснил с улицы даже детей, загнал их в ячейки квартир. Высунись только — зной проберет до костей. Ветви деревьев опущены, окна в домах прикрыты. Отсюда дождь, ветер, прохлада кажутся абстрактными географическими понятиями. В тех краях, где люди с нашей улицы жили раньше — в Москве, Ленинграде, Прибалтике,— зной разрешался в грозу и дождь. В самую жуткую жарищу, когда каменный проход между домами раскалялся до остановки дыхания, вдруг из проема толстенной подворотной арки могло потянуть затхлым таким холодком, застоявшейся до нежили, залежавшейся прошлогодней прохладой. Здесь же всякое движение отменено, и заранее известно, что и ночь не принесет облегчения. Эта несдвигаемая победительная тяжесть жара невыносимей всего.

Ничего нельзя себе представить более далекого от Таганской площади, Большого Каретного переулка и Ваганьковского кладбища — куда утягивает послушную память конверт с московским штемпелем,— чем неподвижная серая улица, ослепшая от света и зноя. Весть, которую принесло письмо, уже не новость, только ее овеществление. Но задевает больно. Люди, что живут на нашей улице, а раньше жили в Москве, Прибалтике, Ленинграде, связаны с теми, отстоявшими две недели назад — вычтем время движения письма — на набережной возле любимовского театра трое суток, общим прошлым. И для них, и для нас со смертью Высоцкого уходят шестидесятые годы.

Вот уже больше недели в стоячий зной нашей улицы то из одного окна, то из другого тянет хриплым отчаянием Высоцкого. Голос не сливается ни с чем в здешнем воздухе, не исчезает в истребительном свете, а ложится на стекла наших окон тенью исчезнувшего предмета.

Невесело шутит пространство с временем, ужимая сорокалетнюю жизнь в пластмассовый параллелепипед меньше ладони. Прямоугольник кассеты всовывается в шкатулку магнитофона, как открытку в прорезь почтового ящика:

Мой первый срок я выдержать не смог.
Мне год добавят, может быть, четыре.
Ребята, напишите мне письмо,
Как там дела в свободном вашем мире?

Лет двадцать пел Высоцкий на всю Россию. Его сверстникам и людям, старше его годами, памятно, как это начиналось, как, потеснив ретроградных и модерных классиков, вместо «Полюшко-поле» и «Летите, голуби», стали вдруг слушать и петь про цветы на нейтральной полосе. Но есть уже целые поколения — и к ним принадлежат все, моложе тридцати,— для которых Высоцкий был как бы уже всегда — едва они собрались на свою первую школьную вечеринку.

Эпоха бардов, целое двадцатилетие, открытое, объявленное и пропетое на три голоса Окуджавой, Галичем и Высоцким, закрывается на наших глазах. Окуджава ушел в прозу, Галич, еще прежде гибели,— в эмиграцию, Высоцкий — в смерть. Журнал «Шпигель» пишет, что со времени смерти Сталина никакое прощание со знаменитым человеком не взволновало Москву сильнее и не собрало большей толпы. Еще бы! «Когда погребают эпоху...» Казенному празднику Олимпиады Москва противопоставила свое натуральное горе.

Высоцкий был человек разных и блестящих дарований: актер знаменитого театра (Гамлет, Пушкин, Галилей), герой многих кинолент, автор текстов, сочинитель нот... Но не за это знала его по имени вся Россия, а за то, что в каждом доме пели Высоцкого и под Высоцкого пили,

его записывали и переписывали, его остротам смеялись и, списав у приятеля новую песню, немедленно несли ее дальше, гордясь и хвастаясь своею новинкой. Для всей России он был ее родной, ее народный голос. Неизмеримо больше людей слышало, слушало и узнавало его по голосу, чем видело в лицо, на сцене и на экране. Не просто вызволить из памяти подробности его портретных черт — лицо задернуто шершавым пологом голоса. Забавная деталь из его начальных лет: когда Высоцкий, молодой и безвестный, «пробовался» на столичных киностудиях, худсоветы не пропускали его «за невыразительность внешнего облика». Сперва он выразил себя голосом, потом разглядели, что и выражение его лица — не общее. Высоцкого не просто назвать поэтом, даже слово «бард» к нему не подходит — уж больно заморское. И любим, и знаком каждому встречному-поперечному был вовсе не поэт и не бард, а некий персонаж, потеснивший автора на всю величину неизбежного несовпадения между ними.

Ни у Окуджавы, ни у Галича не было такого заместившего автора единого персонажа. Окуджава — лирик («Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладоней со лба»), Галич — эпик («Лил жуткий дождь, шел страшный снег, вовсю дурил двадцатый век»). Согласно «разделению поэзии на роды и виды», Высоцкому вроде бы достается драма. Но нет, в нем легко найдем все начала, но только все, сочиненное им, закреплено за голосом, а не за автором. Для Галича, для Окуджавы пение есть способ произнесения текста. Для Высоцкого — текст и мелодия есть средства, при помощи которых Голос оформляет себя в Образ. Окуджава и Галич — люди литературы, книжники, их стопа оставляет на бумаге индивидуальный отпечаток. Галич и Окуджава — это словесность. Высоцкий — извините меня — фольклор. Недаром же строки Высоцкого, высыпанные на бумагу, поражают своей беспринадлежностью. Так легко он берет любое клише, так естественно, на пользу и впрок его песням идет любая запетая интонация:

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букеты цветов
И вечный огонь зажигает.

Кто мог сочинить такую песню? Никто. И нетрудно вообразить пометку фольклориста, сделанную лет через двести после нас: «Русская песня советского периода. Слова и музыка народные».

Высоцкий еще и потому принадлежит устному, а не писаному творчеству, что соединил в себе два фольклорных извода нашего времени: финку, вынутую блатарем из кармана и, как фигу, поднесенную к самому лицу общества, и физиологически непреодолимое желание интеллигента высунуть этому обществу язык, задыхаясь в петле. Потому что, пока «положительный» народ безмолвствует, воры поют, а интеллигенты треплются — и тем продолжается фольклорное цветение, неположенное автоматному столетию, длится поэзия, и на глазах прорастает великая новая проза.

Высоцкий создал и меньше и больше, чем индивидуальную лирику: он создал целый фольклор, особый народный репертуар, и был его единственным остро характерным обладателем и исполнителем.

У Высоцкого есть песни, открыто обращенные в сторону советского быта,— сатирически-сказочные, спортсменские, пародийные. Среди них настоящий шедевр — та, которую он по-разному называл: то «В цирке», то «Диалог», то «У телевизора». Не песня — пьеса, с разработанной мизансценой, двумя действующими лицами, хорошо прописанным бытовым задником. Там есть фраза, которой, конечно же, суждено стать пословицей, запечатлевшей исторически накопленное советским человеком семейно-коммунальное раздражение против ближнего: «Придешь домой — там ты сидишь!». И все-таки эта замечательная песня и другие, в том же роде, тоже очень смешные («Радиозарядка», «Пародия на плохой детектив» и так далее), как бы не вполне, не достаточно, не типично «высоцкие». Их как бы можно перепоручить другому автору-исполнителю, другому голосу — ну, не Галичу, так Киму.

Но есть репертуар, сложившийся вокруг одного образа, наиболее отождествляемого с Высоцким и действительно наиболее приближенный к нему. Кто, кроме Высоцкого, мог бы провыть затравленным зверем «Охоту на волка», прохрипеть за «недостреленного» монолог приговоренного к смерти, прозвенеть пробитым мотором гибнущего истребителя, выдохнуть за скакуна, сбрасывающего со спины жокея: «Ах, как я бы бегал в табуне, но не под седлом. И без узды»?

Смерть всегда, конечно, добавляет что-то, довершает, прорисовывает в облике и творчестве ушедшего. Она как бы отменяет недосказанность, связанную с ожидаемым будущим. Она ставит точку и предлагает рассмотреть сделанное за жизнь как совокупное целое. В случае же Высоцкого она оказывается еще и соавтором, подписанным под множеством его произведений. Это угадывалось и раньше, но воспринималось прежде как тема и троп, как образ и парафраз жизни вообще (ибо кто же при жизни не приговорен к смерти). Дело в том, что Высоцкий уже один раз умирал. И умер. И был спасен, воскрешен, реанимирован врачами и пожалован еще некоторым куском жизни на одном почти сказочном условии: жить, то есть пить и есть, спать и петь, под неотрывным взглядом смерти. Из этого воистину инфернального соседства Высоцкий извлек прямую поэтическую выгоду: его песни отныне вдохновлялись не только образами прошлого и впечатлениями настоящего, но, в большой степени, точным знанием своего будущего, отсутствие будущего — тоже будущее, как отрицательная величина — несомненно величина.

После того как ему случилось умереть начерно, он жил наскоро, состязаясь со смертью и беря у нее для жизни, то есть для песни, все, что можно. Как театральные костюмы, он перемерил и отбросил десятки смертей. Он пел затертыми, по сто раз опробованными словами, а выходило неповторимо — как ни у кого: все постоянные эпитеты, заслуженные символы, испытанные рифмы, банальные красивости — все наматывалось на карданный вал неслыханных песенных скоростей. Песня его — письмо и сигнал бедствия. Человек, имеющий смерть ближайшим соседом и советскую власть ближайшим сожителем, обречен одиночеству и как бы уже отпал от остального человечества, счастливо не ведающего своего часа. Высоцкий надрывом связок пытался преодолеть разрыв связей.

Песня Высоцкого, от начала и до конца, все двадцать лет, пелась на «нейтральной полосе», на узкой полосе между жизнью и смертью, простреливаемой со всех сторон. Из Высоцкого, вообще говоря, не много узнаешь, как живут (пьют, едят, говорят, любят — сравните с Галичем, перебравшим, аккорд за аккордом, все сословия и все ситуации) — как живут в тылу или в мирной жизни. Эта жизнь лишь смутно маячит за пределами погони, из которой он не умеет (не желает — ?!) вырваться, как непременное разочарование, некий морок, душный чад: «Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!»

Цвета Высоцкого — красное (кровь, закат и восход) и черное (ночь, бушлат и смерть).

Тональность — крик.

Место действия — край, пропасть, грань между спасением и гибелью.

Образ действия — на бегу, на скаку, пролетая.

Время действия — «за минуту до смерти».

Музыкальный инструмент — горло, глотка.

И риск — уже давно у него не способ, не средство, не случай, а единственная ценность сам по себе. Точно он обязан и должен вызывать себя без конца на смертельные экзамены и проверки, без всякой надежды успокоиться, даже выдержав и перейдя: «Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал».

Его любимая ситуация — безумная выходка, выброс за черту порядка, закона, обыденности. Из чего ясно, что он не слишком высоко ценил эти хорошие вещи. Конечно, он знал и помнил завет классика: «Все то, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья» — и домогался этих наслаждений: «Чую с гибельным восторгом — пропадаю, пропадаю...». Но в этом настойчивом желании без конца «стыкаться» с самим собою, ежесекундно подтверждать свои доблести и достоинства есть и еще что-то. Можно предположить и большую неуверенность в своих моральных силах и неумение ответить на вызов железной реальности. «И многих помня с водкой пополам, не разобрав, что плещется в бокале, я, улыбаясь, подходил к столам, и отзывался, если окликали». В ситуации риска герой Высоцкого чувствует себя намного увереннее.

Этот персонаж — безусловно, сторонник риска для риска, как бывают любители искусства для искусства. Нам далеко не всегда ясно (и всегда не важно), от какой погони он убегает, в какую сторону мчится и что за дела у него за спиной. Мы принимаем его за своего — интуитивно. Нам дорог не образ мыслей — строй чувствований, не характер — а темперамент, та энергия страсти и обиды, которая воодушевляет его разгул, порыв, азарт, бешенство. В самых общих чертах ясно, что бешенство вызвано оковами жизни, а порыв направлен к свободе.

Возможно, Высоцкий — последний романтик, последний данник свободы как страсти. Недаром же его песня так легко вербует ратников и занимает атрибуты из романтических запасников всех времен. Ей верно служат пираты, комбаты, солдаты, летчики и налетчики, парашютисты и аквалангисты, бродяги, коняги и доходяги. Его песня, роль и спектакль одновременно, содержит декорацию и реквизит в самой себе и, обставляя себя необходимыми для действия вещами, не затрудняясь поисками, рифмует: закаты — захваты — походы — восходы — обвалы — и — перевалы. И, как у истинного романтика, у Высоцкого собственная страсть перекрывает стертость штампа, холод доступного шаблона, а его личная горячечная речь выплавляется, поборов своим напором различимые интонации предшественников, в собственный неповторимый голос.

Да уж, голос — ни с кем не спутаешь: хрипит и бьется, раскатывает «р», вытягивает сонорные до небывалой длины, задыхается и спотыкается на гласных.

Голос Высоцкого есть физическая демонстрация власти поэтической интонации в стиховом тексте: сильней слов, превыше смыслов. Слушая Высоцкого, можно понять, наконец, чем именно берет нас в плен поэзия — любая.

Итак, страсть к свободе — «одна, но пламенная страсть», ибо другие вечные поэтические и песенные соблазны не коснулись Высоцкого. Природа у него — лишь фон и декорация полевого испытания: «лучше гор могут быть только горы» или «и деревья стоят голубые» — такую природу не заподозришь в самостоятельной жизни и поэтическом значении. Любовь — а что ж за песни без любви? — почти и вовсе отсутствует. Женщина, правда, мерещится где-то за кулисами песенного сюжета — то как повод к ножевому поединку («я ждал тебн, как ждут стихийных бедствий»), то как адресат, к которому, возможно, обращены рассказы, жалобы и просьбы («протопи — не топи — протопи — не топи — протопи...» — замирая на многоточиях). Но в качестве лирической героини вход ей в текст заказан. И не на свидание с женщиной — навстречу смерти мчится Высоцкий со всей доступной его песне стремительностью: «Рвусь из сил, из всех сухожилий...», «Но стрелки я топлю. На этих скоростях песчинка обретает силу пули...».

Песня Высоцкого застает героя в ситуации самого крайнего напряжения, когда оставшихся жизненных сил всего и хватает на три — четыре куплета, пропетых из совершенно немыслимой позиции: «два провода голых зубами, плюясь, зачищаю...», «я падаю, грудью хватая свинец, подумать успев напоследок...». Мысль напоследок, слово напоследок — только такому высказыванию доверяет Высоцкий, по-видимому, полагая за ним достоинства искренности и истинности. Герою Высоцкого поручено проигрывать спокойно и с честью, признавая за судьбой право удачливого партнера («На этот раз мне не вернуться, но все равно — придет другой...»), и не слишком заноситься в случае победы,— она ведь тоже только «на этот раз». А там опять надо нарываться и вызываться, безумствовать в гонках и состязатьси в отчаянных пари: «И плавится асфальт, протекторы кипит, под ложечкой сосет от близости развязки...».

Песня Высоцкого есть выражение стремительного и гибельного движения за последние рубежи. Вполне материальные посредники выносят душу за грань материального бытия: рев мотора, бег коня, стакан вина. Последнее средство — самое надежное и, в случае надобности, заменяет первые два. Персонаж Высоцкого несомненно полагает, что словами «пить» и «петь» называются действия и однозначные, и одновременные: «Я ахнул залпом и разбил бокал. Мгновенно мне гитару дали в руки. Я три своих аккорда перебрал, запел и запил от любви к науке». Жест сохраняется в самых отчаянных обстоятельствах и на предельной грани: «Только я проглочу вместе с грязью слюну, штофу горло скручу — и опять затяну...». Душа выходит на край, порывает с миром и набирает скорость. Скорость же — средство к свободе и способ ее осуществления, но она и наслаждение сама по себе. В скоростях, на которых он жил, то есть пил, то есть пел, пробегая, проскакивая километровые длинноты своего репертуара — в них разгадка нашей любви, в них-то все и дело. Не увлечься скоростью, не соблазниться «гибельным восторгом», не отдаться ему во власть, пока звучит этот голос,— невозможно. Высоцкий был народный артист — не «народный артист СССР», а просто — народный артист. Не звание — призвание. И признание тоже.

Смерть Высоцкого с силой подчеркнула это признание. Судьба побаловала его на прощание, достойно обставив его уход и оказав серьезную конкуренцию театральным почестям, срежиссированным Любимовым. Власть похоронила его по пушкинскому разряду, словно использовав как парадигму классический сюжет «Смерть поэта». Ну, во-первых, разделение у гроба на допущенную к нему знать и недопущенную толпу, во-вторых, конно-милицейские усилия для удержания этой толпы от нежелательного выражения чувств. (Так что в похоронах участвовали и солдаты, и кони, и командиры — весь набор баллады и подходящий сюжет для Высоцкого). В-третьих, привычный, опять же со времен Пушкина, обман толпы и надувательство с часом похорон: схоронили часом раньше, а толпе разрешили сдать веночки в казенную машину. И наконец, спор начальства с друзьями, до какого кладбища дослужился при жизни беспокойный покойник: оказывается, для Новодевичьего рангом не вышел, и лежать ему на Ваганьковском. Быть так.

Затянулось прощание, прихватило болью другое пространство. По выжженной солнцем, опустошенной зноем улице то из одного окна, то из другого — метет Высоцким. Смерть обнажила прототипический сюжет, заложенный в основу его творчества. Какая бы песня ни сматывалась с кассеты, любая нынче говорит об одном:

...Нам вчера прислали из рук вов плохую весть.
Нам вчера сказали, что Алеха вышел весь...

...Придет и мой черед вослед.
Мне дуют в спину, гонят к краю.
В душе предчувствие, как бред,
Что надломлю себе хребет
И тоже голову сломаю...

...И дожить не успел,
Мне допеть не успеть.
Я коней напою,
Я куплет допою,
Хоть мгновенье еще постою на краю...

«На этот раз мне не вернутьсн. Я ухожу — придет другой»,— утешает Голос. Но мы-то знаем: другого не будет, другой — он и есть другой, то есть не наш, не этот. А этот, проживший одну недлинную жизнь и перемеривший тысячу смертей, уходит на этот раз.

По Высоцкому, смерть вовсе не есть наихудший исход единоборства, просто — один из достойных двух. Наихудший выглядит так:

Истома ящерицей ползает в костях,
И сердце с трезвой головой не на ножах,
И не захватывает дух на скоростях,
Не холодеет кровь на виражах...

Утешимся за него: такого с ним, Слава Богу, не случилось. Звучит Голос — иллюзорная и частичная победа техники и памяти над смертью — и по-прежнему «горят сердца», «рвутся аорты» и «ужас режет душу напополам», и асе это жизнь, движение, скорость, страсть. Голос «того, кто раньше с нами был», разрывает мертвую неподаижность зноя и занозой вины впивается в мозг, точно вовремя не было сказано о любви и не отаечено на призыв о помощи.

Страшней быть может только Страшный суд!
Письмо мне будет уцелевшей нитью.
Его, быть может, мне не отдадут,
Но все равно, ребята, напишите...

Август, 1980

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

А. ХОДОРОВ

«ОСТАЛОСЬ МАЛЕНЬКО И ОПРИЧЬ...»

Есть журнальные материалы, публикуя которые, редакция понимает — они предполагают полемику и рассчитаны на нее. Мы, конечно, знали, что статья Е. П. Щегловой «Примирения искать рано!», напечатанная в № 1 за 1989 год, вызовет полемические замечания. Не исключалось, что и Александра Казинцева, работы которого в статье затрагивались.

Но вот что называть полемикой?

В статье «Новая мифология» («Наш современник», 1989, № 5) А. Казинцев приводит абзац из материала «Невы» и заявляет: наш автор писал его, «заглядывая в шпаргалки из Нью-Йорка». А несколько выше, характеризуя книгу, из которой якобы списана «невская» статья (А. Янов. Русская идея и 2000-й год), завершает характеристику словами: пафос той книжки — «испепеляющая ненависть к народу».

Читая эти строки, я смутно чувствовал: чего-то мне недостает. Наконец понял — указания на то, что и гонорар за статью получен в Нью-Йорке (можно и по-другому — в Пентагоне, ЦРУ. «Наймиты англо-американского империализма» — помнишь, друг-читатель?). Это известное со времен борьбы с «космополитизмом» дополнение абсолютно необходимо, чтобы полностью соблюсти логику и эстетику критического жанра — который в годы моей молодости студенческий фольклор обозначал как «литературоведение в штатском»,— избранного Казинцевым для его реплики.

Ну, а что же именно в крамольной статье «Невы» навело критика на мысль о заокеанской шпаргалке? Вот эти слова: «Поиск политического, социального и нравственного идеала исключительно в прошлом... неизбежно подготавливает застойную ситуацию» (применительно к «неославянофильской» литературе и спору с ней «Нового мира» времен Твардовского).

И для того, чтобы сделать подобный вывод, по мнению Казинцева, не обойтись без Америки? А нам-то казалось, что на Руси до этой мысли еще в прошлом веке дошли! Во времена Чернышевского и Щедрина уж наверняка. Мы-то, грешные, полагали, что для ее осознания надо вспомнить даже не всех «Господ ташкентцев», а хотя бы предисловие к этому циклу, и попытаться понять, почему столь живуч в России тип Митрофана. Впрочем, для того нужна хотя бы частица щедринского мужества...

Есть истины типа «пятью девять — сорок пять» или «город Ленинград стоит на реке Неве». В какой бы книге, доброй ли, дурной ли, их ни упомянуть — везде они остаются вещами азбучными. Приведенное выше суждение в статье из «Невы» в наши дни принадлежит к их числу. К чему тут чужедальние подсказки? Некогда Бойль и Мариотт сформулировали один из основных законов физики газа независимо друг от друга. Но то — XVII век, а на исходе XX уместнее вспомнить в таком контексте репризу одного из героев Аркадия Райкина, неизменно вызывавшую хохот зрительного зала: «партия учит, что газы при нагревании расширяются». Ибо есть все-таки вещи, которым учит средняя школа.

Заявление об антинародном источнике статьи в нашем журнале — очевидно, ответ на содержащийся в ней, по мнению Казинцева, «крикливый призыв к бою». Однако если критик читал работу, с которой спорит, с самого начала, то должен вспомнить — «Нева» ли призвала устроить супротивникам литературный «Сталинград»? Это, как мы рискнули заметить, сделал писатель, вроде бы Казинцеву близкий. Критика из «Нашего современника» возмутил заголовок статьи в «Неве» — «Примирения искать рано!». Но, если мне не изменяет память, группе войск Паулюса (а ведь именно такая аналогия любезно уготована «инакомыслящим») предлагали не примирение, а безоговорочную капитуляцию! Так где же искать истоки постановки вопроса — рано или не рано? А главное — кто преподнес А. Казинцеву со товарищи венец победителя, диктующего условия мира?

Опубликованная в «Нашем современнике» месяцем раньше статья Юрия Макунина «Укротить вандала» посвящена совсем другим материям. Но полемическое оружие — явно из того же арсенала. Разговор идет о воровстве книг в Библиотеке имени В. И. Ленина. И «плавно» переходит к работе прежнего руководства отдела рукописей библиотеки — одного, дескать, порядка вещи! Основания? Слишком легкий, по мнению Макунина, допуск зарубежных исследователей к фондам отдела, благодаря которому они в своих публикациях опережают наших. Что опережают — досадно. Хотя не кажется ли читателю: куда более роняет достоинство российской культуры гнев именно *российского* журнала на освоение

отечественного наследия силами славистов не единой, а многих стран? В одном из мировых центров славянской цивилизации — Москве, накануне XXI века сей глас раздался — вот какое диво! Вернемся, однако, к опережению. Автору «Нашего современника» невдомек задуматься: кто виноват в нем более — коварные тати с Запада, злокозненная С. В. Житомирская (крупнейший наш архивист), некогда давшая им разрешение работать в ГБЛ и использовать ее материалы, или все-таки многие наши исследователи, кои сплошь и рядом «ленивы и нелюбопытны», тратя на пути к богатствам собственных архивов десятилетия на одну лишь раскачку? Их что — Житомирская в библиотеку не пускала? Но не то заботит Макунина, а другое: кто посмел защищать архивиста от ответа за чужую нерасторопность? Тут достается и М. О. Чудаковой, которая «считает себя прима-знатоком» творчества М. А. Булгакова — а его на самом деле защищать от нее надо. По-сталински. Не веришь собственным глазам, но именно это и написано: не от таких ли булгаковедов просил писатель защиты у Сталина и получил ее. Вот только забыл суровый судья сказать — ценой потери свободы творчества. Кстати, здесь великий вождь, как и во многих других случаях, не был оригинален. Аналогичным образом защитил Николай I, например, Николая Полевого: не казнил и даже не сослал, а всего только лишил возможности по-настоящему заниматься любимым делом. И подобную защиту Макунин ставит нам в образец не в 1949 году, к юбилею товарища И. В. Сталина, а сорок лет спустя. В отличие от Казинцева, сумел-таки сделать человек открытие в хрестоматийном материале! Куда там Чудаковой, даром что она — знаток Булгакова вроде бы без кавычек. Хотя мне, отнюдь не булгаковеду, известно о ее трудах в этой области лишь то, что обязан знать всякий, для кого литературоведение — профессиональное занятие, а не способ времяпрепровождения.

Однако и этого Макунину мало. Житомирскую осмелился считать достойным исследователем столь некомпетентный в литературных делах человек, как Д. С. Лихачев?! Так вот ему: «Любое высокое звание,— учит Дмитрия Сергеевича Макунин,— в том числе звание академика, дается человеку для пользы общенародной. А главное — от народа зависит его материальное благополучие [1]. Вот и надо соизмерять свои действия и поступки с интересами народа...».

Было бы великой дерзостью считать, что Д. С. Лихачев нуждается в моей защите. Да он, ученый Пушкинского дома, никогда бы и не захотел поставить себя вне критики. Но вот критические аргументы... Оценку одного из них приходится выносить под строку: аргумент этот прост, но в основном тексте заметок о *науке и литературе* неблагопристоен. Труднее, признаться, осилить другой: почему Макунин, как и Казинцев, да и ряд других авторов «Нашего современника» столь уверены, что лишь им и их соратникам ве́домы интересы народа? Слишком уж часто публицисты и критики этого журнала претендуют на патент — вещать от его имени. По их мнению, не одобрять, подобно автору статьи «Примирения искать рано!», написанного в «Нашем современнике»,— все одно, что супротив Руси ополчаться да с ее супостатами союз держать.

Нет, авторов и сотрудников «Невы» не обуяла гордыня. Мы не сомневаемся, что подписчики, читатели и почитатели «Нашего современника» — это тоже народ, мнения, суждения и вкусы которого требуют внимания, учета и изучения. Но народу случается читать и другие журналы и книги. Иногда — с сочувствием.

Полицейский Медведев из горьковской пьесы «На дне», увидев на вверенном ему участке странника Луку, недоумевает: он на своем участке должен знать всех людей, а вот этого — не знает. И получает резонный ответ: «Это оттого, дядя, что земля-то не вся в твоем участке поместилась. Осталось маленько и опричь его...».

Но бог с ним, с Медведевым: угол зрения определяет профессия. А вот литераторам следовало бы понимать, что земли́ российской и ее народа осталось маленько и опричь участка, который возделывают Макунин и Казинцев!

* * *

Этот материал был уже подготовлен к печати, когда в № 7 «Нашего современника» за тот же год появилась статья А. Казинцева «Масконы». Миротворец, порицатель «крикливых призывов к бою» зовет в крестовый поход, требует очистить «от всесветной скверны хотя бы журналы России». Любопытно — каким образом? И от какой? Из многих заслуживающих особой речи сюжетов статьи приведем едва ли не самый пикантный.

[1] Признаться, с великим изумлением читал я этот пассаж *в печати*, ибо до сих пор «критику» известных литераторов под углом зрения их «материального благополучия» видел лишь в письмах графоманов, надежной визитной карточкой которых подобный довод и является. Неужели в «Нашем современнике» никто не догадался обратить внимание своего автора на это банальнейшее в редакционной практике обстоятельство? Но потом пришлось вспомнить, что интерес к заработкам больших ученых, более свойственный отделам кадров и финорганам, чем органу печати, стал своеобразным «фирменным знаком» этого журнала. Всякого, кто захочет меня проверить, попрошу дочитать до конца хотя бы тот же четвертый номер.

Литературная и гражданская позиция поэта А. Иванова, разумеется, не может быть эталоном для всех. Далеко не под каждым его словом лично я бы расписался, и боже сохрани нас требовать этого от Казинцева! Но вот какие слова пародиста переполнили чашу терпения члена редколлегии московского журнала: «Я — коренной москвич, русский писатель, но не могу заставить себя объединиться с теми, кто группируется вокруг журналов „Москва", „Наш современник", „Молодая гвардия"». Реакция Казинцева до умиления знакома: «нападки на русский народ, на патриотические силы». Кстати, списки писателей-патриотов в статью предусмотрительно включены (не ошибись, читатель).

Более того, в адрес Иванова (и, видно, всех, кто посмеет с ним согласиться) подается грозная реплика: «да кто же вам сказал, что вы русские писатели? Эту высокую честь надо заслужить. И отнюдь не только московской пропиской».

Лишает известного поэта один из лидеров «Нашего современника» права именоваться русским писателем, как разгневанный полковник нерадивого ефрейтора — лычки на погонах.

Поздравляем публику, а также философию, социологию и этнографию с новым определением критерия принадлежности к русской культуре!

Давнюю, увы, традицию имеет у нас критика типа «как смели напечатать» либо «не сметь печатать». В этом ансамбле «Наш современник», пожалуй, одна из ведущих инструментальных групп, а Казинцев — солист. Петр Сидоров, герой фельетона классика этого жанра Власа Дорошевича «Демон», как мы помним, оперу Рубинштейна запретить хотел, ибо православным христианам слушать ее зазорно. Он твердо знал, кто какой веры, какие спектакли ставить можно, а какие — запрещать (то бишь очищать от скверны) — ведал, но вот до такого рода вершин социальной мысли, чтобы в русские только своих единомышленников записывать, дойти не успел. Видимо, всему — свое время.

Должен признаться: были времена, когда я не без сочувствия и симпатии читал «Наш современник». Разделяешь ли мысль того или иного автора, нет ли, а привлекала нелицеприятная смелость разговора с самыми высокими официальными лицами и даже инстанциями. Но время шло, и от года к году, от номера к номеру, можно сказать, крещендо нарастала другая тенденция. Когда уважаемые авторы «Нашего современника» гневаются, невзирая на лица — это кричит их боль (едва ли не главное слово в лексике журнала). Когда к парламентариям, пусть и резко, обратятся Ю. Афанасьев, А. Адамович или Г. Попов — это претензии презирающей народ и рвущейся к власти элиты. А ведь тот же Казинцев в том же седьмом номере, поименно называя народных депутатов, сетует, можно ли доверять таким народную судьбу. В десятом — новая вариация на ту же тему: народу ли служат иные депутаты (в общем и поименно, да еще и с прозрачным намеком на «личный интерес»). В девятом же М. Антонов откровенно делит депутатов на патриотов и демагогов, усматривая последних в рядах тех, кто избран наиболее демократичным путем — по территориальным округам. Но позвольте, ведь двумя номерами раньше, тремя страницами прежде пламенные и красноречивые публицисты «Нашего современника» убеждали меня, читателя, что так говорить негоже! О, незабвенный Петр Сидоров: «министры от нас стерпеть могут. Потому, ежели какие ⟨...⟩ левые листки — тем нельзя. А нам можно. Наши чувства правильные».

...Впрочем, автор «Масконов» милостив. Изгнав Иванова из русской литературы, он хоть московскую прописку великодушно ему оставляет (надеюсь, тот не забудет при случае поблагодарить благодетеля).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Наш современник», 1989, № 6.

Номер этот читается с интересом, вызванным не присущей журналу скандальностью (или не только ею). Есть статьи, с которыми демократически настроенный читатель может согласиться полностью. Юрист Ю. Усольцев в статье «Закон и мы» говорит о месте суда в системе правоохранительных органов: дело суда в правовом государстве не борьба с преступностью (это функции прокуратуры, милиции, да и законодателей), а правосудие. Мысль глубокая и у нас до сих пор не осознанная. Интересны рассуждения Г. Литвиновой в статье «Старший или равный» о положении России в союзе республик. Указав, что Россия разрушена больше других и что она не имеет собственных ЦК партии, Академии наук и тому подобного, автор ставит риторический вопрос: «Разве печальное состояние России...— это результат политики великодержавного шовинизма?». Да, и этой политики, мысленно отвечает читатель. Ведь потому и не создавалось особых ЦК и Академии для России, что остальные ЦК и Академии в Союзе рассматривались как филиалы центральных российских учреждений!

Здравые мысли есть... нет, не просто есть, а пронизывают статью С. Куняева «Палка о двух концах». Автор, чего от него никак не ожидали, не прочь признать за ассимилированными евреями (а таких в СССР большинство) принадлежность к русскому народу, буде они сами себя осознают русскими (а таких — втайне — много). Чего же тогда стоит разоблачительная война журнала против псевдонимов? Признавая ассимилированных евреев русскими, С. Куняев по-старому отстаивает представление о еврейском засилье в партгосаппарате 20-х годов, опираясь на цифры Орджоникидзе (от 10—12% в Москве и Ленинграде до 30% в Киеве и БССР). Но Орджоникидзе приводил эти цифры в *опровержение* «разговорчиков о еврейском засилье»: ведь в то время евреи составляли не 0,69% населения страны — полтора миллиона, а 5 миллионов (из тогдашних 160), в Белоруссии же и на Украине, где они были сосредоточены благодаря «черте оседлости»,— и более значительную долю жителей, особенно в городах. Аппарат ведь набирался в основном из городского населения. Русофобии, исходящей якобы от евреев, посвящена целиком статья И. Шафаревича. Поскольку статья содержит теоретическое обоснование болезненной кампании воителей с «русофобией», журнал сослужил обществу хорошую службу, познакомив читателей с неприглядностью и уязвимостью этой теории.

В ряде материалов номера по-прежнему идет безуспешная и безнадежная борьба с роком (рок-музыкой). Их авторам можно только посочувствовать и врубить музыку «Битлз». Или гармошку. У нас плюрализм.

Л. САМОЙЛОВ

Алексеева М. И. Моченые яблоки. Повести, рассказы.
М.: Советский писатель, 1989.

Наибольшей нравственной стойкости от человека требует рутина. Обыкновенная жизнь, серо влачащаяся день за днем. «Одно дело выдюжить в экстремальных... ситуациях, и совсем другое — когда все трещит по швам просто от халтуры, от того, что недоглядели, недосчитали...» Что трудней: пожертвовать жизнью или всю жизнь отстаивать в себе человеческое? Что ценимей: порыв или подвижничество? Эта тема и объединяет повести и рассказы Магды Алексеевой, совершенно не схожие между собой жизненным материалом.

То, что герой не совершает безнравственного поступка, само по себе еще не оправдывает его в глазах писательницы: вполне может быть, что его заслуги в этом нет. Грехом является уже способность ко греху. Может быть, в другой ситуации герой и не выстоял бы,— и, значит, это только случилось так, что он избежал грехопадения... Венгерские коммунисты, прошедшие революционное подполье и застенки у себя на родине и эмигрировавшие в сталинскую Россию, бледнеют от страха, заслышав шаги на лестнице. Они не совершают подлостей, но потенциально на подлости способны — пусть не из злой воли. Сделавшись продуктами сталинской среды, они сами эту среду воспроизводят и служат ей опорой... Диктатура калечит судьбы лишь во вторую очередь: прежде она калечит души. Одними политическими реформами ее наследия не изжить. Когда у Солона требовали установить в Афинах демократию, он ответил: «Сначала установи демократию в своем доме»... Кстати, и литературе следовало бы углубляться не во внешнее, а в душу человека — и героя, и читателя; заставлять читателя сопереживать герою. Умозрительного восприятия идей мало...

И. РАК

Владимир Микушевич. Крестница зари. М.: Современник, 1989.

Поздний дебют самобытного поэта, известного до сих пор лишь в качестве переводчика, минимальный (шеститысячный) тираж первой книги, которой суждено через какое-то время стать раритетом — достаточно распространенный, к сожалению, сюжет в истории русской литературы последних десятилетий. Отличие — и весьма существенное — в том, что Владимир Микушевич, «свой голос для других в безвременье храня», обращался к вершинам человеческого духа: «Дуинским элегиям» Рильке, «Скорбным песнопениям» Григора Нарекаци, «абсолютным стихотворениям» Бенна,— не столько платя дань жизненным обстоятельствам, сколько считая своим долгом и призванием преодолевать навязанную изоляцию от мировой культуры. Именно такое отношение к творчеству и дает ему право на продолжение великой традиции — программное стихотаорение «Памятник». Но, отстаивая позицию неучастия «в повседневном торге», современный автор более последователен, он избирает «уединение и самоотреченье», полностью открещиваясь от волнений общественного поприща.

Противоречием между стремлением отделить себя от вульгарной действительности и невозможностью это сделать определяется драматизм книги: «Игра не стоит свеч, но только тот свободен, кто в этом пламени погибнуть обречен». Оксюморон «родная чужбина» относится, пожалуй, не только к тому, что железобетонный, «в рассрочку застроенный мир» уничтожил идиллические пейзажи. Как бы поэт ни заклинал себя: «Жизнь моя — не сон и не обуза»,— он все-таки проговаривается: «Жизнь и смерть — лишь сборы затяжные...». Бытие сомнительно и требует оправдания — отстраняющегося от людских страстей и страданий: «Ради зелени бесплотной не простить нельзя врагов». Заповедь, скажем так, христианская по форме, пантеистическая по содержанию.

Сосредоточенная мысль, точное слово придают поэзии В. Микушевича черты интимной метафизики, по-видимому, как раз и необходимой сейчас, когда и массовое искусство, и авангард используют (неважно — опираясь или отталкиваясь) одни и те же штампы.

А. ШОР

Л. М. Баткин. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука, 1989.

Время перевернуло представления об актуальности: иные экскурсы в прошлое, помогающие понять истоки идейного, интеллектуального и духовного застоя, деградации общества, оказываются современнее самых злободневных репортажей. Наша недавняя история — прекрасное подтверждение прозорливости русских мыслителей (от Герцена до Бердяева), автора знаменитой книги «Восстание масс» испанского философа Хосе Ортеги и Гассета, их прогнозов о роковых последствиях как для экономики, так и дли общественной жизни и культуры падения престижа индивидуальности, личности, интеллигенции, лидеров, таланта, презрения к ним государства и массы. В опубликованной в серии «Из истории мировой культуры» книге известного историка, культуролога и публициста дается глубокая и яркая интерпретация прямо противоположной ситуации. Анализируются причины и живительная среда феномена, которому европейская цивилизация в ее современном виде обязана очень многим и возрождение которого в нашей стране представляется задачей первостепенной важности. И хотя Л. М. Баткин ведет речь о делах давно минувших дней, вопросы он скорее ставит, чем решает, поскольку итальянский Ренессанс явился определенной рабочей площадкой, а разыгрываемые на ней драматические, подчас непреодолимые конфликты между личностью и обществом имеют прямой выход в современность. Ибо Новое время усвоило из писем и трактатов Петрарки, Полициано, Лоренцо Великолепного и Макьявелли новое отношение к человеку и признало за ним неограниченное право на личную инициативу, возложив при этом непосильную для многих ношу одинокой ответственности.

В. БАГНО

Письмо в редакцию

КТО МЕШАЕТ ВОЗРОЖДЕНИЮ «ЛЕНИНГРАДА»

В начале 1989 года газета «Московский литератор» напечатала письмо С. Воронина, В. Пикуля, В. Козлова и П. Выходцева с добавлением в скобках: «Всего четырнадцать подписей». Авторы письма сообщали о желании своем объединиться в группу «Содружество». Уже тогда нас поразил агрессивный тон и несправедливые, голословные нападки на Ленинградскую писательскую организацию и ее тогдашнее руководство, объявленное «мафией», равно как и сам призыв от имени «чисто русских литераторов» объединиться по амбициозным национальным мотивам, тогда как гораздо естественнее для всех писателей, пишущих на русском языке и живущих в великом русском городе, объединяться по творческим интересам.

На недавнем пленуме правления СП РСФСР подтвердилось, однако, что речь идет об интересах отнюдь не творческих. Начать с того, что группу из четырнадцати членов Союза писателей, большинство которых даже не открыло еще своих имен, пленум поспешно наделил правами Ленинградской областной писательской организации, словно забыв, что такая организация уже существует и насчитывает более четырехсот человек. Административное обособление желающих того групп литераторов действующим Уставом нынешнего Союза писателей не предусмотрено и до 14 ноября с. г. не имело прецедентов. Достаточно указать, что московское объединение писателей в защиту перестройки «Апрель», насчитывающее почти семьсот человек, то есть треть Московской писательской организации, такого отдельного административного статуса (тем более «областного»!) не имеет. Группа «Содружество» получила такой статус и уже приступила к созданию параллельной «областной» организации, расположенной в городе.

Не задумываясь о последствиях, руководство СП РСФСР открыто поощряло раскол в Ленинградской писательской организации, а теперь решением пленума организационно закрепило этот раскол. Причины этих раскольнических действий ясны. Они вызваны тем, что демократически выбранное руководство Ленинградской писательской организации твердо стоит за перестройку и возрождение творческих сил города, выступает против административно-командных амбиций секретариата СП РСФСР, не приемлет в принципе литературных проработок и административных расправ, подобных произведенной над главным редактором «Литературной России» М. Колосовым, а теперь повторяемой по отношению к Анатолию Ананьеву, главному редактору старейшего советского журнала «Октябрь».

Еще более возмутительна, на наш взгляд, резолюция пленума СП РСФСР, предлагающая отобрать у ленинградцев пока еще даже не выходящий журнал «Ленинград» с тем, чтобы передать его в распоряжение литераторов Калининской, Псковской и Новгородской областей во главе с отколовшейся группой «Содружество». Следует напомнить, что у писательской организации Ленинграда, при населении города в пять миллионов человек, все еще нет своей, регулярно выходящей газеты, нет своего журнала, нет своего самостоятельного издательства. Журнал «Ленинград» был упразднен известным постановлением ЦК ВКП(б) 1946 года. После настоятельных просьб Ленинградской писательской организации Политбюро ЦК КПСС отменило это давнее постановление как ошибочное, а Секретариат ЦК принял решение восстановить с 1990 года журнал «Ленинград» как литературный орган Ленинградской писательской организации. Такое же решение принял секретариат правления Союза писателей СССР. 〈...〉

Руководство СП РСФСР, однако, предпочитает испытанные старые командные методы. Перспектива демократического решения вопроса о журнале «Ленинград» «снизу», силами самой писательской организации, его решительно не устраивает. Вызывающе, не считаясь с тем, что журнал «Ленинград» был вырван в свое время из рук ленинградских писателей и уничтожен Ждановым, этот журнал и через сорок с лишним лет не хотят возвратить тем, у кого он был отнят. Начальники из секре-

тариата СП РСФСР хотят продемонстрировать своим приверженцам, что им под силу побудить Политбюро и Секретариат ЦК КПСС к ревизии своих только что принятых решений по восстановлению справедливости.

Мы, со своей стороны, считаем такую ревизию недопустимой, а действия руководства СП РСФСР не можем признать законными. Да и сам характер пленума, напоминавший истерическим настроем некоторых ораторов и содержанием их речей собрания небезызвестной «Памяти», едва ли совместим с новым мышлением, к которому звали XXVII съезд КПСС и XIX партконференция. Перед нами, напротив, старое, только еще более ожесточившееся мышление.

Корень зла, на наш взгляд, в узурпации непомерной литературной власти небольшой группой писателей, привыкших за много лет командовать жизнью писательских организаций от Ленинграда до Владивостока, не вслушиваясь и не вглядываясь в перемены, которые там происходят. Нынешнее руководство СП РСФСР не заботится о расширении и развитии демократических прав писательских организаций на местах, о создании там новых журналов и издательств. Оно занято лишь переделом существующих журнально-издательских возможностей, крайне скудных и пришедших в упадок от избытка централизованной административной власти. Оно не утруждает себя созидательной конструктивной работой, сохраняя и укрепляя монополию на литературную печать в руках угодных ему групп. Попытка удушить в Ленинграде едва начавшую оживляться после многолетних гонений открытую литературную жизнь, стремление отнять у абсолютного большинства писателей Ленинграда журнал, который принадлежит им по праву, готовность идти на раскол, когда это абсолютное большинство становится неугодным,— самая наглядная демонстрация практической программы нынешнего руководства СП РСФСР, избранного в годы застоя без прямого участия подавляющего большинства писателей Российской Федерации.

Мы выражаем недоверие этому руководству. Настала пора перейти к прямым, а не многоступенчатым выборам правления Союза писателей РСФСР. Пришло время для широкой самостоятельности национальных автономий, крупных русских городов и литературных регионов России, способных к свободному развитию литературного дела и готовых в демократическом духе, в духе гласности и перестройки решать свои насущные и больные проблемы. Мы призываем всех честных литераторов, сохранивших в наши сложные времена здравый смысл и способность к диалогу, остановить самоуправство, оградить отечественную литературу от произвола, в чем бы он ни проявлялся.

Дмитрий **ЛИХАЧЕВ**, Даниил **ГРАНИН**, Анатолий **ГОРЕЛОВ**,
Анатолий **ЧЕПУРОВ**, Вадим **ШЕФНЕР**, Адриан **МАКЕДОНОВ**,
Лидия **ГИНЗБУРГ**, Михаил **ДУДИН**, Дмитрий **ХРЕНКОВ**.

20 ноября 1989 г.
г. Ленинград

«Ленинградский литератор», 8 декабря 1989 г.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КОНОНОВ

Ленинградский живописец

АННА АХМАТОВА. КОМАРОВО. Этюд картины

Картины Николая Кононова несут в себе заряд высокой внутренней культуры человека и живописца. В них нет стремления понравиться или удивить, им чужда конъюнктура. Главной темой произведений художника стал Ленинград, в котором он родился и где жили еще его прадеды. В своих работах Кононов избегает идеализации и внешней красивости. Его привлекают не парадно эффектные виды, а повседневные уголки старого города, его атмосфера и недавняя история, связанная с нами памятью близких. Дипломная работа художника в Институте имени И. Е. Репина была посвящена добровольцам 1941 года. В ней есть напряженность тех жарких июньских дней, и образ Ленинграда, и люди во главе с маленьким серьезным военным, собранные нестройными рядами. В парадных старых петербургских домов, пусть и обшарпанных, таится особая притягательная сила, кажется, они по-своему помнят тех, кто здесь когда-то надеялся и страдал. Наверное, об этом — картина «Блокадное утро». Продолжением темы Ленинграда стал и цикл картин, посвященных А. Ахматовой. Две первые связывают образ поэта с Фонтанным домом, а третья, последняя,— показывает старую величественную женщину на закате нелегкого жизненного пути на фоне «будки» (так называла она свое жилище в Комарово).

Молодой, красивый, умный, добрый, талантливый... Общение с ним было настоящей радостью. Как неожиданно все кончилось...

А. Коробцова

БЛОКАДНОЕ УТРО

ДОБРОВОЛЬЦЫ

ПОРТРЕТ АЛЛЫ

СТАРЫЙ ДОМИК В ОДЕССЕ

СТУДЕНТ ИЗ КОНГО

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Дело прошлое

В 1979 году после смерти моей тети, Софьи Петровны Дылевской, остался порт-артурский дневник (все даты в нем даны по старому календарю), некоторые документы и записки ее отца — моего деда — Петра Францевича Дылевского. Эти документы хранились у нее много лет.

Дневник писал простой рабочий, непосредственно на месте событий. Писал о том, в чем участвовал сам, видел, чувствовал и слышал, пытался осмыслить эти события и дать им оценку. На обложке он изложил просьбу переслать записи в случае его гибели по указанному адресу его семье...

Я хорошо помню своего деда. Он родился в 1858 году в семье безземельного крестьянина-бедняка, работал на Балтийском судостроительном заводе в литейном цехе.

Перед началом русско-японской войны морское ведомство набирало рабочих для работы в Порт-Артуре. Ему предложили должность литейного мастера, он согласился и поехал, разумеется, без семьи. Там проработал до падения Порт-Артура, был ранен, награжден Георгиевским крестом, попал в плен и в 1905 году вместе с другими пленными вернулся в Петербург.

Сопоставляя записи дневника с официальными историческими трудами, мы убеждаемся в идентичности всех описанных фактов относительно их содержания и дат. Лишь в одном из них есть расхождения. Это факт гибели японского адмирала Того в морском бою 29 июля (10 августа по новому календарю). Автор дневника пишет: «Сразу открыл огонь „Ретвизан", а затем и „Цесаревич" по флагманскому броненосцу. Первыми же залпами были снесены башня и мостик. Адмирал Того был убит». В книге же «Русско-японская война 1904—1905 гг.» (Воениздат, 1938) Н. А. Левицкий об этом пишет так: «Броненосец „Миказа" под флагом адмирала Того и ближайшие к нему получили серьезные повреждения и понесли огромные потери в людях... Японцы скрывали свои потери, но известно, что адмиральский корабль „Миказа" сильно пострадал». И все же, видимо, наши участники этого боя не без основания пришли к выводу о гибели адмирала, наблюдая за результатами своей стрельбы по его кораблю, хотя факт этот не подтвердился.

Достоверность содержания дневника хорошо подтверждают два документа. Один из них — «Инвалидский список» дружинника 5-й вольной дружины в Порт-Артуре Петра Францева Дылевского, составленный комиссией при Петербургском Николаевском военном госпитале после возвращения автора дневника домой. В нем подтверждаются ранения, о которых он писал. «Список» скреплен гербовой печатью и подписями медиков — членов комиссии. Фамилии их слабо разборчивы, а титулы такие: ординаторы — младшие надворные советники, главный врач — Почетный лейб-медик двора Его Величества, действительный статский советник. Затем следует размашистая, широкая, будто сделанная гусиным пером подпись генерал-майора, начальника госпиталя. Второй документ — удостоверение, выданное П. Ф. Дылевскому в подтверждение того, что он является литейным мастером. Подпись скреплена круглой гербовой печатью с надписью по кругу: «Командир порта Порт-Артур». Оттиск печати четкий, сине-голубого цвета, будто сделан совсем недавно.

Свидетельствуют записи и о героическом труде рабочих. Днем и ночью, в будни и праздники, под огнем противника поддерживали они боеготовность батарей и кораблей, причем наряду со взрослыми рабочими проливали свою кровь, получали увечья, платили дань войне своими жизнями и подростки. Недаром всем им давали боевые награды невзирая на возраст. Копия одного из сохранившихся документов прямо говорит о том, почему рабочих приравнивали к «воинским чинам» (естественно, нижним), хотя непосредственно с оружием в руках они крепость не защищали. Документ дан П. Ф. Дылевскому: «Во время осады Порт-Артура он изготовлял 6-дюймовые снаряды, работал на Крестовской батарее по установке 9-дюймовых орудий. Работы проводились днем и ночью под сильным огнем... проявил отвагу в боевой обстановке... был освобожден от службы (воинской.— *Э. З.*) ввиду полной невозможности обходиться без его труда по отливке снарядов, столь необходимых крепости».

Автор дневника приводит записи об эффективном применении минного оружия на море и значительных потерях кораблей воюющих сторон от подрыва на минах. Тут напрашивается вывод, что противодействие этому оружию как с русской, так и с японской стороны было организовано слабо.

По возвращении дед работал в учебных литейных мастерских трех вузов города, на заводах, учил студентов. Вот еще два пожелтевших от времени документа. В одном сказано, что в Ленинградский облпрофсовет направлен материал о присвоении П. Ф. Дылевскому звания Героя Труда (тогда еще не было звания Героя Социалистического Труда). В другой (почтовая открытка) — приглашение от 21 декабря 1931 года во Дворец труда в комнату № 99 по вопросу о присвоении этого почетного звания.

В 1941 году он отказался эвакуироваться из Ленинграда и остался в осажденном городе, чтобы в меру своих сил приносить пользу общему делу победы над врагом. Он погиб в блокированном городе в марте 1942 года на восемьдесят четвертом году жизни.

Дед хотел подготовить к публикации порт-артурский дневник и написать книгу о своей долгой и интересной жизни. Он даже составил план этой работы, но смерть оборвала его замыслы. И вот я, его внук, пытаюсь сделать то, что не успел он, и представляю читателям порт-артурский дневник Петра Францевича Дылевского с некоторыми сокращениями и незначительной стилистической правкой, не влияющей на содержание.

Э. ЗМАЧИНСКИЙ

П. ДЫЛЕВСКИЙ

ДНЕВНИК

Порт-Артур, 1904 год

26 января. Овсянников, Шишкин и я были приглашены знакомыми китайцами на званый обед по случаю праздника Малого дракона: это их первый день нового года.

Прежде чем отправиться в гости, мы дома хорошо поели и напились чаю. Прибыли к ним около 18 часов. На нас никто не обратил внимания, т. к. шла священная церемония. На маленьком дворике стоял лакированный столик, а на нем миска с золой. Из нее торчала толстая свеча красного цвета. Все домочадцы ставили к ней тонкие курильные свечки. По обе стороны свечи поставили миски с хлебом из чумизы. Затем постелили красную с золотыми блестками бумагу и поставили фигурку идола. На один край стола положили пачку бумаги, а на другой поставили бутылку с какой-то жидкостью. Затем китайцы, подойдя к столу, подняли вверх глаза и застыли. Один из них смахнул со стола бумагу, а остальные кинулись разбрасывать ее по земле. Глава семьи полил ее жидкостью из бутылки и поджег спичкой. Бумага загорелась ярким пламенем. Все бросились поднимать горящие куски и зажигать ими свечи. Когда свечи закурились, китайцы стали, приседая, кланяться, сложив перед собою руки. От свечей шел сладковатый запах.

После окончания этой церемонии нас пригласили к столу, накрытому в комнате. Такой же лакированный, как и во дворе, он был уставлен маленькими чашечками. Их было штук сорок. Они были наполнены различными яствами. На середине стола стояла большая чашка с вареным рисом. Вдоль стола стоили лавки, а в его торце — лакированные стулья.

Очевидно, китайские гости были очень голодны. Не дождавшись, когда подадут ханжу, они начали есть. На столе лежали небольшие пачки красных палочек. Каждый брал пару таких палочек и накладывал себе рису из большой чашки. Им закусывают все блюда.

Наконец стали разливать горячую ханжу в маленькие фарфоровые рюмочки. Гости отпили из них половину содержимого. Китайцы обожают ханжу, но нам она казалась ужасно противной: напиток сладковат и неприятно пахнет. Чтобы не обидеть хозяев, мы выпили по рюмочке. Хозяин спросил: «Шанго?». Это значит «хорошо». И вот нам опять наливают, а себе не льют. Мы отказываемся пить одни, а они говорят, что больше не могут пить крепкого напитка. Мол, «шибко потом голова ломайся».

Нас продолжают угощать обедом. Из чего сделаны блюда — не знаем, однако известно, что китайцы едят мышей, кошек и собак и вообще неизвестно, что, но отказываться нельзя. Я беру палочкой какой-то кусочек. От моей неловкости он падает на пол. Все смеются. Чтобы не обидеть хозяев, беру еще кусочек, хотя и с большим отвращением. Все блюда были холодными и с особой приправой из лука, сои, хрена и каких-то трав. Все было бы хорошо, если бы их не сдабривали касторовым маслом. Легко можно себе представить, что это такое.

Наконец подали горячее китайское пиво. Оно не похоже на наше, очень крепкое и вонючее, вроде теплого неочищенного спирта. Обед подходил к концу, и мы собрались уходить.

Вдруг раздался сильный взрыв. Стол и вся фанза подпрыгнули. Все застыли в недоумении. Однажды я слышал (еще в Петербурге), как взорвался котел. Поэтому подумал сначала, что и тут, в порту, произошел такой взрыв. Через минуту прозвучал второй. Неужели и второй котел взорвался? Мы бросились одеваться, чтобы поспешить на помощь, и тут прогремел третий взрыв. Я понял, что дело не в котлах: у нас их всего два.

— Может, это маневры? — сказал Овсянников. Полиция объявляла, что будет ночная пробная стрельба.

Однако хозяин дома Тен-Ю-сан сказал: «Эта ипоня руски чики!». Мы запротестовали, но он продолжал: «Китайски люди бумага пиши» (это значит — читал в китайской газете).

Кстати, надо сказать о нашей «славной» газете «Новый край». Накануне войны она писала о происхождении Ляодунского полуострова и тому подобное и при этом часто «громила» японцев бумажной шпагой. Бранила их дерзость, но ничего не писала о близкой военной угрозе. Конечно, и без «Нового края» ощущалось приближение войны. Ликвидация японцами коммерческих дел, закрытие учреждений и поспешный их отъезд из города говорили не в пользу мира. Еще в декабре 1903 года шли чрезвычайно напряженные работы по ремонту кораблей эскадры. В рождественские праздники работали днем и ночью в мастерских и на кораблях. Еще тогда с кораблей сняли все лишнее дерево, полностью загрузили углем и снабдили водой. Подготовка к войне шла полным ходом, но все ждали чего-то особенного.

Наскоро поблагодарив хозяев, мы направились в порт. У ворот я спросил дежурного: что происходит, почему стреляют? Он ответил, что все пока благополучно, а взрывы были в море, это настораживало жителей, и многие из них были на улицах. Семафорная станция на Золотой горе беспрерывно сигналила Главному штабу.

Я лег спать во втором часу ночи. Не успел заснуть, как раздался стук в дверь. Вошел запыхавшийся вахтер Архипов.

— Скорее в порт! У нас несчастье. Собирайте быстрее мастеровых,— сказал он.

— Что за несчастье? — спросил я.

— «Ретвизан» тонет в проходе, «Цесаревича» и «Палладу» ведут на буксирах,— последовал ответ.

Меня как громом ударило. Ведь это лучшие корабли эскадры — и вот они первыми выведены из строя! «Ретвизан» и «Цесаревич» — броненосцы, а «Паллада» — крейсер первого ранга.

Ночью никто не спал. Все негодовали по поводу внезапного нападения японцев. Матрос с подбитого корабля рассказал, как все произошло: «Было по-обычному тихо, и вдруг — удар! Корабль подбросило. Мы выскочили на палубу. В темноте ничего не видать, только заметили уходящий миноносец. Включили прожекторы, и началась пальба». Говорили разно относительно числа миноносцев, но большинство утверждало, что их было три. Это правдоподобно.

27 января. В начале 9 часа в литейную пришел Казаков и сообщил, что на горизонте показалась неприятельская эскадра. По дымам насчитали восемнадцать кораблей. Мы поспешили на Золотую гору. Корабли шли двумя колоннами в кильватер за крупными головными. На горизонте показались еще дымы — очевидно, миноносцев или малых кораблей. Эскадра шла полным ходом, но вскоре ход сбавила.

С головного стали сигналить: «Сдайте Порт-Артур!». С Золотой горы ответили: «Придите и возьмите».

В это время наша эскадра стояла на внутреннем рейде. Корабли переговаривались флагами. Картина была величественная и грозная.

Японцы первыми открыли огонь. Им немедленно ответили наши корабли и береговые батареи. Стреляло одновременно около тысячи орудий. Вода вскипала от разрывов.

Обстрел длился не более часа, но казалось, что прошла целая вечность. Я поспешил домой, чтобы посмотреть, уцелела ли наша фанза. Она уцелела, но зато цены в городе сразу поднялись. С копеечных они стали рублевыми, и подняли их не китайцы, а наши русские купцы!

Сегодня в городе первые жертвы...

11 февраля. В 23.30 началась сильная стрельба со всех батарей и сторожевых судов. Наш герой «Ретвизан», хотя и сам был поврежден, не отставал от других и стрелял из своих дальнобойных орудий. В результате обстрела были потоплены три японских судна добровольного флота и одна канонерка.

Японские суда в свете прожекторов шли полным ходом, чтобы погибнуть и закрыть выход с рейда. Их потопили до подхода к рейду. С нашей стороны потерь не было.

12 февраля. В 10.40 японцы начали обстрел. Стреляли по кораблям, стоявшим в обоих бассейнах. Наши отвечали очень удачно. Повредили два корабля противника. Один броненосец японцам пришлось увести на буксире. Наши потери — один миноносец.

31 марта. В 6 утра начался морской бой и продолжался до 11 часов. Это очень

печальный день для Порт-Артура и всей России. Взорвался на минах и погиб броненосец «Петропавловск», а на нем наш самый славный герой — адмирал Макаров со своим штабом и всей командой. С ним погиб знаменитый русский художник Верещагин. Чудом спаслись великий князь Кирилл Владимирович, командир корабля, старший офицер и несколько человек команды. Броненосец «Победа» получил повреждения. Расстрелян миноносец «Страшный».

У нас большое горе. Не знающие жалости волны чужого нам моря поглотили корабли и более тысячи человеческих жизней. Повсюду печаль и уныние.

7 апреля. С погибшего «Петропавловска» всплыла вверх килем шлюпка. Наши приняли ее за подводную лодку и обстреляли.

20 апреля. Ночью, в 1 час 18 минут, начался грохот орудий всех калибров. Стрельба продолжалась 20 минут. После короткой паузы она возобновилась с новой силой. Мы поспешили на Перепелиную гору. Здесь, в зареве огня, все было видно как на ладони. Четыре неприятельских судна шли на Артур полным ходом. Их освещали прожекторами. Когда они вошли в зону огня «Ретвизана» и береговых батарей, их обстреляли. Вскоре они были потоплены. За ними показались очередные брандеры. В один из них попал снаряд, очевидно в кочегарное отделение. Высоко взметнулось пламя. Судно окуталось паром и исчезло под водой. Остальные неслись прямо на Золотую гору. Вот уже они близки к входу в порт. С них замелькали огоньки и застрекотали пулеметы. Однако прорваться к цели им не удалось. Все они погибли один за другим. Стрельба длилась до 4 утра.

Днем китайцы распространили слух, что японцы готовят суда с какой-то жидкостью, которая будет гореть на воде, а приливом ее снесет в бухту, и все сгорит. Еще говорили, что суда начиняют взрывчаткой, и она разнесет весь город...

24 апреля. Говорят, что японцы собираются высадить десант, но где именно — никто не знает. Наши миноносцы охраняют побережье.

25 апреля. Ходят упорные слухи, что десант высадился в районе Кинджоу. Второй день не работает почта. Очевидно, слухи подтверждаются. Хозяйка отказалась готовить нам обеды. Мяса нет. Все дорого. Хлеб из затхлой муки. От такой пищи недолго и заболеть.

29, 30 апреля. Мой приятель собирался уезжать из Порт-Артура. Мы хотели его проводить, но железная дорога перестала работать: японцы вывели ее из строя. Моя дочь собиралась приехать в Артур как сестра милосердия, но теперь это отпадает. Самое печальное — нельзя переписываться с семьей, не работает почта.

1 мая. Там, далеко в России, май — месяц радости, но здесь он не сулит ничего хорошего. Наступает жара. Появились случаи заболевания холерой. При мне один китаец свалился на улице и забился в судорогах. Невзирая на мою просьбу помочь несчастному, его приятели отпрянули от него. Прибывшие с носилками кули отнесли его в больницу, но он при них и скончался. При всей моей солидарности к китайцам я сделал вывод, что они не сострадательны.

Сегодня японский броненосец подорвался на минах, и его мачты торчат с семисаженной глубины.

2 мая. Опять первоклассный японский броненосец подорвался на минах на глазах порт-артурцев. Броненосный крейсер поспешил тонущему кораблю на помощь, но тоже наскочил на мину. Его увели на буксире. Едва ли его удастся довести до Японии. Это им за «Петропавловск» и за адмирала Макарова.

3 мая. Говорят, что генерал Фок ведет бой против японского десанта в районе Кинджоу.

4 мая. Слухи подтвердились. Геройски сражаясь, наши войска понесли большие потери, особенно артиллерия. Численно превосходящему противнику продвинуться вперед не удалось.

5 мая. Генерал Стессель с генералами Никитиным и Разнатовским, в сопровождении пяти офицеров, осматривали позиции у бухты Хэсс. Вблизи стояли два крейсера, два миноносца и две канлодки. Они открыли огонь по всадникам, но те успели укрыться за горой. По ним было выпущено 108 снарядов. Один снаряд разорвался в пятидесяти метрах от них и всех обсыпал землей. Затем огонь был перенесен на город.

8 мая. Японцы роют окопы у горы Самсон. Наши смеются над ними. Говорят: «Японцы обзаводятся огородами». Газета «Новый край» пишет о хорошо нам известных событиях, а хотелось бы знать, что творится под Кинджоу и что нас ждет.

Сегодня при тралении японских мин миноносцу «Бесшумному» повредило корму. Жертв не было.

12 мая. Со стороны Кинджоу вечером была видна зарница. Мы решили, что там идет бой, но потом до нас дошла туча, засверкала молния и грянул гром. Начался ливень. Все с облегчением вздохнули. Однако гроза не прошла безобидно: молнией взорвало несколько наших фугасов в укрепрайоне.

13 мая. На Кинджоуской позиции идет бой.

14 мая. Наши войска под воздействием численно превосходящего противника, которого с моря поддерживают корабли, отходят с занимаемых позиций.

Наш флот не противодействовал японцам, за исключением «Бобра» и нескольких миноносцев. «Бобр» показал себя превосходно. Его 10-дюймовые орудия нанесли противнику большие потери. Жаль, что «Аскольд» и «Новик» не выходили в море и не помогли ему.

Прибывшие с передовой говорят, что в ночь с 12 на 13 японские колонны стремились обойти наши позиции. Их осветили прожекторами и огнем артиллерии нанесли большие потери. После того как японцы разбили прожекторы, их стали освещать ракетами. При вспышках были видны фигуры японских солдат. Когда стало светать, оказалось, что, отступая, японцы поставили чучела.

Беженцы из Дальнего говорят, что наши войска при отходе взорвали все мосты, док, электростанцию и угольный склад. Оставление Кинджоуской позиции сильно огорчило порт-артурцев. Все ждали армию генерала Куропаткина, но она не пришла на помощь. Говорят, что генерал Фок пропал неизвестно куда.

15 мая. В Дальнем хунхузы грабят город и убивают китайцев — приверженцев русских. Вечером в Артуре хоронили 43 героев с Кинджоуской позиции. Хоронили их без гробов, в парусиновых мешках, в одной братской могиле. Мешки пропитались кровью, и это производило тяжелое впечатление. Везли убиенных на телегах, как дрова, сложенные штабелями. Правда, для них это уже не имело значения. Вечная память им и легкое лежание! Хотелось бы сказать их родным и близким, что их сыновья и мужья погибли как герои. Мы видели это.

Вечером нашелся Фок. Он отступал другим путем.

17 мая. Работали до 17.00, а потом нас собрали на учение. Оно проводилось у нового провизионного склада возле «Цесаревича».

В час ночи в море послышались орудийные выстрелы. Потом подключилась Тигровая батарея. Слышны были выстрелы и на передовой, которая находилась в тридцати верстах. На море подбили японскую канонерку, и ее увели на буксире.

Говорят, что Главнокомандующий идет на выручку Артуру. Настроение у населения поднялось. В Николаевском саду, напротив управления порта, на так называемой Этажерке, играет оркестр.

28 мая. Странное явление: на море густой туман, а над землей ясно и жарко. Мы беспокоимся о миноносцах. Они вчера вышли в море, и ни один из одиннадцати не вернулся.

Китайцы говорят, что в японской армии свирепствует холера от недостатка хорошей воды. Это опасно и для нас, так как ее могут занести в город. Все дорожает. Мясо очень дорого. Рыбы нет совсем. Яйца — 90 копеек десяток, бутылка молока — 30 копеек. Многие питаются только зеленью и кореньями. В основном — редиской и редькой.

30 мая. Вернулись миноносцы. Привели шаланду с восьмью китайцами. Они везли продукты японцам. У них оказалось: 500 мешков муки, 10 тысяч яиц, много консервов, сахара и японской водки — саке.

1 июня. Настает самая сильная жара. Крейсер «Новик» и десять миноносцев выходили в море и вели бой с пятнадцатью японскими миноносцами. Японцы бежали. Наши привели две шаланды, предназначавшиеся японцам.

2 июня. Говорят, под Владивостоком потоплено три японских крейсера.

4 июня. Миноносец «Лейтенант Бураков» пробился в Инкоу. Оттуда привез представителя от Куропаткина и почту.

5 июня. Представитель Куропаткина сообщил, что Главком идет на выручку Артуру.

6 июня. Открылась городская столовая в здании бывшей гостиницы «Франция». Ее назвали «Взаимопомощь». Я в ней столуюсь. Это единственное учреждение для голодающих артурцев. Обед из двух блюд, но качество — прости господи... За него берут 1 рубль двадцать копеек.

7 июня. Говорят, что передовые части Куропаткина встретились с японцами. Значит, на днях состоится сражение.

10 июня. Вернулись наши миноносцы. «Боевой» получил пробоину: в машинном отделении разорвался снаряд. Ранены старший офицер, машинист и два матроса. «Внимательный» получил незначительные повреждения. Эти корабли каждый день отличаются.

В 15.00 эскадра вышла на внешний рейд: броненосцы «Цесаревич», «Ретвизан», «Пересвет», «Победа», «Полтава»

и «Севастополь», крейсера «Паллада», «Диана», «Аскольд», «Новик», «Баян» и «Забияка», канлодки «Гиляк», «Сивуч», «Бобр», «Отважный», «Гремящий» и флотилия миноносцев. Это сила и наша гордость...

За ночь броненосцы отбили 9 атак миноносцев. Они подбили «Севастополь», но жертв не было. Потоплено три японских миноносца и несколько повреждено. В этом бою японцы применили новый способ маскировки. При сближении с нашими кораблями, стреляющими по ним, их миноносцы окутывались паром, имитируя попадание снарядов в машинное отделение, а потом, выпустив торпеду, быстро отходили. Однако эта хитрость была скоро разгадана.

15 июня. Наши батареи потопили японский миноносец.

17 июня. Артурцы беспокоятся за «Лейтенанта Буракова»: этот быстроходный миноносец ушел в 15.00 в Инкоу с донесением и за почтой. На море сильный туман. Надеемся на опыт командира.

20 июня. В 1 час ночи на внешнем рейде появились японские миноносцы. Пользуясь темнотой, они пытались торпедировать наши суда, но были отбиты.

В 9.00 прибыл «Лейтенант Бураков». Привез почту. Его встречали дружным «ура».

22 июня. Наши миноносцы и канлодки обстреляли японские позиции. С горы в подзорную трубу видно наступление наших войск...

26, 27 июня. Корабли выходили в море и вели бои. Артурцы ложатся спать и встают под звуки канонады.

Едим козлятину. Здесь так называют баранину. Курица стоит 2 рубля. В основном питаемся зеленью.

1—3 июля. Бои на позициях под Кунсаном. Бои на море. В основном, действуют миноносцы и канлодки. Миноносцы встретили большое транспортное судно под английским флагом и дали сигнал остановиться. Ответа не последовало. Дали предупредительный выстрел. Судно не реагировало. Тогда дали выстрелы по корме и носу. С уходящего судна выбросили в море какие-то ящики. Судно догнали. С «Решительного» спустили шлюпку для осмотра. Шлюпку обстреляли. Командир «Решительного» торпедировал судно, и оно затонуло. Спасли 33 человека, в том числе русского подданного еврея Серебрянникова, который до войны жил в Артуре. Команда сообщила, что они везли продовольствие, в основном бобы. Зачем же тогда нужно было оказывать сопротивление?

11 июля. Миноносцы «Лейтенант Бураков», «Грозный» и «Боевой» направились в бухту Тахэ. Там были атакованы японскими миноносцами. «Лейтенант Бураков» погиб, а два остальных получили повреждения.

13 июля. В 4 утра горожане проснулись от сильной канонады. Японцы перешли в наступление. Бой шел до 21 часа. Противник дважды брал нашу позицию, и ее дважды отбивали. Наши войска применяли фугасы, от которых противник понес большие потери. Обходящий отряд противника был уничтожен штыковым ударом.

14 июля. На суше весь день длился бой. Корабли с моря поддерживали наши войска огнем. При возвращении в Артур крейсер «Баян» подорвался на мине и получил повреждения.

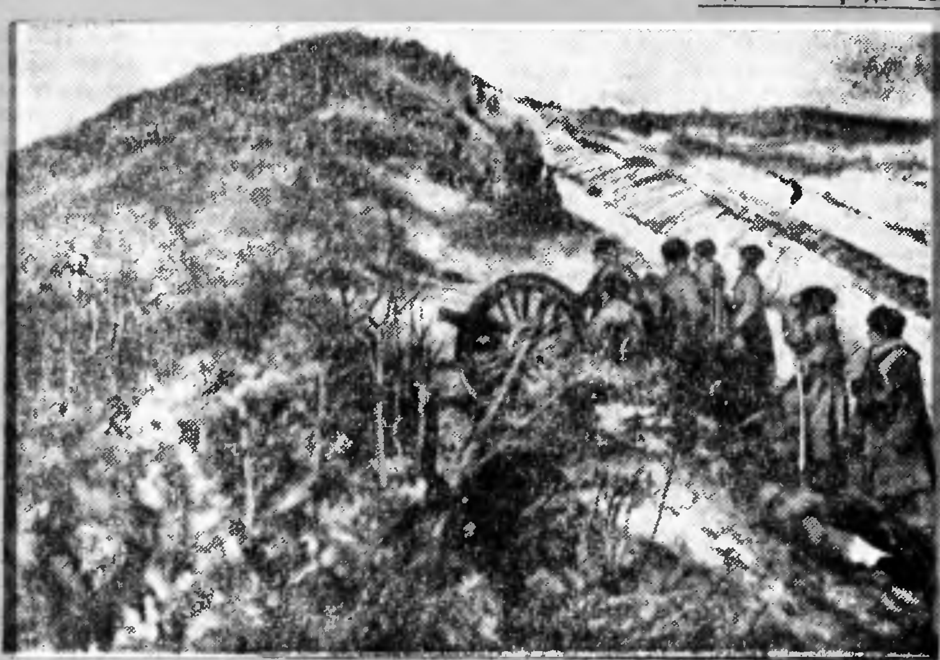
15 июля. Наши войска отошли. Японцы заняли позицию на Зеленой горе. Говорят, что высадился 20-тысячный десант, но это еще не проверено.

16 июля. Сегодня сравнительно спокойно. Газета «Новый край» уже несколько дней выходит на оберточной бумаге. Она то синяя, то розовая. Сахар можно достать только в Электрическом обществе и только в малом количестве. Мясные блюда готовят лишь в Офицерском собрании у Панкратова. Они микроскопически малы. Лучший пекарь Задунов торгует хлебом с примесью отрубей, с 6 до 7.30. Хлеба не хватает.

Мне посчастливилось купить три булочки по 30 коп. у Константиниди. По величине они чуть больше грошовых петербургских. Купцы наживаются на войне. Они буквально занимаются грабежом! До начала войны здесь лучшая мука, так называемая «0000» (четыре ноля), стоила 2 рубля 50 копеек мешок (55 фунтов). Значит, фунт — менее 5 копеек. Теперь — маленькая булочка стоит 10 копеек!

17 июля. Оставлены позиции на Волчьих горах. Это было слабое место. Думаю, что генералы Стессель, Фок и Кондратенко посчитали целесообразным отойти к Артуру, чтобы наша дальнобойная артиллерия могла стрелять по противнику.

Сегодня пятый день жестокого сражения. Из Западного бассейна через город и горы стреляли перекидным огнем броненосцы «Ретвизан» и «Победа». Снаряды ложились очень удачно. Огонь корректировался с корпоста семафором. С горы наблюдатели передавали на корабли результаты стрельбы, и там вносили необходимые поправки.



Русско-японская война.
Стрелки Сибирской дивизии возле орудия.
Фото из фондов ЦГАКФФД

18 июля. Говорят, в Главный штаб доставлен японский парламентер. Везли его с завязанными глазами. Он предложил в трехдневный срок вывести городское население. Японцы при этом гарантируют безопасность гражданским лицам.

20 июля. «Ретвизан», «Пересвет», «Победа» и «Полтава» ведут огонь. Он эффективен. От выстрелов моя фанзенка подпрыгивает, двери открываются.

Японцы, втаскивая на гору тяжелое орудие, запрягли 40 пар волов. Кроме того, орудие толкали 300 человек. В них попал 12-дюймовый снаряд с «Ретвизана» и разметал всех.

Наступают самые тяжелые времена. Все, что было до сих пор, это цветочки, а ягодки еще впереди. Все дорожает. Курица уже стоит 3 рубля 50 коп., конина — роскошь. Зелени почти нет. Многие пекарни перестали печь хлеб. Есть над чем задуматься.

21 июля. Японцы выстрелами с миноносцев остановили шаланды, собиравшиеся уйти в Чифу. Вот что рассказал наш шлюпочный мастер, который был в одной из шаланд: «Когда миноносец сблизился с шаландой, к нам спрыгнули несколько матросов. За ними прибыл и командир корабля. На чисто русском языке он потребовал документы, а затем приказал срубить мачту. Он сказал, что теперь из Артура никого не выпустят, так как срок условия истек, и все должны вернуться обратно. Женщины и дети плакали. Из шаланды всех мастеровых перевели на миноносец и сказали, что они будут в Дальнем ремонтировать японские корабли. Если же они будут работать плохо, то им придется худо. Шлюпочный мастер назвал себя хлебопеком, и его отпустили. Так шаланды вернулись в Голубиную бухту...

24 июля. Сегодня сравнительно тихо. Мы купались в открытом море за Электрическим утесом. Вдруг верстах в четырех появились японские миноносцы. Наши корабли вступили с ними в бой. Батарея утеса тоже открыла огонь. От разрывов снарядов поднимались высокие столбы воды. Среди них взорвалась мина. Она подняла целую гору воды, а когда она опала, на ее месте образовалась воронка.

25 июля. Все воскресенье мы работали. Обстрел города продолжался целый день. В 12 часов пришел мой товарищ Павел и сказал, что наша фанза разбита японским снарядом (мы с ним вместе снимали квартиру). Отработав смену, мы направились домой. На Театральной улице всюду сильные разрушения. У магазина Константиниди зияла глубокая воронка. Вокруг битый кирпич и стекло. Сильно пострадало здание Электрического общества. Мы прибежали в свой Банковский переулок и не узнали фанзу. Наша квартира была третьей от угла, и она уцелела,

а все остальное превратилось в кучу мусора!

Пошли обедать в ресторан «Саратов». За стойкой буфета — хозяин Панкратов и девица Мария Васильевна. Когда я допивал бутылку кваса, рядом разорвался снаряд. Хозяин спросил: «Вы что же, будете обедать до тех пор, пока снаряд не разорвется на тарелке?». В это время у самой двери разорвался очередной снаряд. Окна и двери вылетели вон. На улице ранило человека. Ему изуродовало ладонь и оторвало палец. Прохожую женщину засыпало углем.

Снаряд, упавший у здания командира порта, ранил конторщика Страшкевича и помощника мастера Лобачева. Здесь же были ранены солдат и извозчик, а один солдат убит.

26 июля. По городу стреляли мало, так как шла батарейная дуэль. Однако один снаряд упал у склада «Кунста и Альберта» и убил сторожа-индуса. От разрыва загорелся масляный склад вблизи угольных запасов. Пожарное судно «Силач» и дружина потушили пожар, а то артурцы могли бы остаться без угля.

Два снаряда попали в броненосец «Цесаревич». Один ударил в башню, а другой в телеграфную рубку. Телеграфисту оторвало ногу.

На суше всю ночь шел сильный бой. Близкие выстрелы, особенно от выстрелов мортир на Золотой горе и от орудий «Полтавы», и разрывы снарядов очень глушат. Поле боя освещается прожекторами и ракетами. Они висят более минуты и хорошо освещают местность.

27 июля. Уже 48 часов идет бой. Все пущено в ход: ружья и штыки, пулеметы и пушки, а противник все атакует. С большим трудом удерживаются позиции. Противник стреляет и по кораблям, ведущим огонь в поддержку позиций. Снаряды рвутся у бортов броненосцев. У «Ретвизана» пробило трубу. Японцы палят и по городу. Взрывы на Базарной и Цирковой площадях. В городе третий день нет хлеба.

28 июля. Сильный бой продолжается. Ночью разбудила полиция. Велели идти на сборный пункт для отправки на позиции. Роздали винтовки и патроны, но мастеровых оставили на работе.

Корабли собираются в поход. Говорят, что они пойдут на помощь нашей Северной армии, чтобы обеспечить прорыв через перешеек и выход ее к Артуру.

В 10.30 разорвался первый снаряд у модельной мастерской, потом еще несколько. Флагманский инженер Шилов приказал потушить топки котлов. Японцы огнем артиллерии хотят вывести из строя завод и ремонтные мастерские.

На позициях продолжаются тяжелые бои, часто переходящие в штыковые. Наши воины не падают духом, хотя и приходится им трудно. Ворвавшись на позицию, один из японских солдат бросился со штыком на нашего и крикнул: «Здравствуй, русский!», а наш ответил: «Прощай, японец!» — и пронзил его штыком.

29 июля. Обстрел города начался в 7 часов утра. Снаряды попали в дом Скороновича, аптеку Бишофа и деревянную церковь. В основном обстреливали Западный и Восточный бассейны и мастерские. Один снаряд разорвался в квартире адмирала Витгефта, временно командующего эскадрой.

Сегодня вместо дневных работ введены ночные, т. к. ночью город не обстреливают.

Вернулась часть эскадры. Корабли сильно пострадали. Их корпуса зияют пробоинами, трубы пробиты, мачты снесены. На красавце «Ретвизане» пробит фальшборт, повреждено 12 орудий, убито 5 и ранено 50 человек. На «Полтаве» убито 11 и ранено 39. Весь ее правый борт изрешечен, поворотный механизм 6-дюймовой башни вышел из строя, одно орудие разорвалось. На «Севастополе» убито 11 человек и ранено 27, сильно пострадали правый борт, дымовые и вентиляционные трубы. На «Пересвете» убито 40 и 60 ранено, разбиты два торпедных аппарата, трубы и снесены мачты, правый борт в пробоинах. Меньше всех пострадала «Победа». Неизвестно, где «Цесаревич», «Диана», «Аскольд» и «Новик». Думаю, что им удалось прорваться во Владивосток. Возможно, этому способствовала владивостокская эскадра, но это мало вероятно.

Стало известно, что события на море развивались следующим образом: портартурская эскадра под флагом адмирала Витгефта вышла в море для прорыва во Владивосток. В ее составе было 6 броненосцев — «Цесаревич», «Ретвизан», «Пересвет», «Победа», «Полтава», «Севастополь», 4 крейсера — «Паллада», «Диана», «Аскольд», «Новик» и флотилия миноносцев. К 15.00 на море был сплошной туман. В это время эскадра встретила неприятеля — числом более 50 вымпелов. Сразу открыл огонь «Ретвизан», а затем и «Цесаревич» по флагманскому броненосцу. Первыми же залпами были снесены башня и мостик. Адмирал Того был убит. Вся японская эскадра сосредоточила огонь по нашему флагману — «Цесаревичу». Вскоре на нем приспустили флаг: это означало, что адмирал Витгефт убит. Туман сгустился, и вдобавок все заволокло дымом. В это время и исчезли «Цесаревич», «Диана», «Аскольд» и «Новик». Больше их никто не видел. Они или прорвались во Владивосток, или погибли.

Пишу об этом со слов участников морского боя. Они рассказали, как сильно раскачивались корабли от своих выстрелов и попаданий вражеских снарядов. Гул орудий, скрежет металла, стоны раненых — все слилось воедино. Стоял кромешный ад. Японские миноносцы оттеснили от эскадры госпитальное судно «Монголия»...

2 августа. Последние дни идут проливные дожди. В одну из атак японцы шли совершенно голыми, чтобы не мешала промокшая одежда. На ногах — сандалии, патронташи через плечо. Им удалось захватить гору Сиротку. Они потеряли 15 тысяч человек. Наши потери незначительны.

3 августа. В бухте Лун-ван-танг взорвался на наших минах японский броненосец. Город обстреливают. Один снаряд упал в сухой док, где ремонтируется крейсер «Баян». На «Баяне» спасаются от обстрелов жены и знакомые офицеров крейсера.

5 августа. Сегодня встретились парламентеры. От командующего осадной армией генерала Ноги был прислан майор Ямооки. С нашей стороны — капитан Голован и лейтенант Макалинский. О чем они говорили — неизвестно.

До 16.00 было тихо, а потом начался обстрел. Снаряды падали в Западном бассейне, где стоят корабли эскадры, и в Новокитайский город...

8 августа. Всю ночь японский обстрел мешает работать. Особенно сильный начался с рассветом. Разбили шлюпочную мастерскую. Стреляют орудия всех калибров с батарей и кораблей. С обеих сторон огонь корректируется: это видно по его результатам.

Жаль, что люди свои усилия и знания тратят на разрушительные действия войны! Лучше бы свои силы они направили на благо людей...

К передовой тянутся кареты «скорой помощи», извозчики, рикши, занятые Красным Крестом. Японцы перешли на шрапнель. По звуку разрывов мы научились различать калибры снарядов. Раненых свозят к Главному штабу.

9 августа. К нам стали пробираться перебежчики — не только солдаты, но и офицеры. Они сообщают, что японская армия голодает и силы ее на исходе. Последний резерв — 10 тысяч человек в Дальнем. Говорят, что если русские и дальше будут так защищаться, то через 5 дней японцам придется отступить. Трудно поверить японским дезертирам. Думаю, что это японская уловка.

«Севастополь» в море наскочил на мину и получил пробоину в подводной части.

10 августа. На передовой бои несколько ослабли, но обстрелы города продолжаются. «Ретвизан» — краса и гордость нашего флота — хоть и изранен, но ведет себя геройски. Стреляет по противнику и наносит большие потери. С первых дней войны он стал грозою для врага и примером для своих. Его экипаж под стать своему командиру. Вот и сейчас корабль ведет усиленный огонь по горе Сиротке.

Японская эскадра крейсирует на горизонте.

14 августа. Сегодня артобстрел города повторялся трижды. Один снаряд угодил в паровой катер у борта «Севастополя». Убило двух мастеровых, двое ранены. Они работали на корабле. На «Баяне», стоящем в доке, повредило трубы. Нанесен ущерб электростанции, малярно-столярным мастерским, повреждены телефонные провода. В меднолитейной мастерской ранило двух мальчиков: слесарного ученика — Георгиевского кавалера Семена Шаврова, 15 лет, и ученика литейного дела Вячеслава Катффа, 13 лет. Первому раздробило кость ниже колена, а второму оторвало ногу вместе с сапогом. Мальчиков отправили в ближайший медпункт, при этом погиб один матрос.

С Золотой горы стреляли мортиры.

16 августа. Командир порта адмирал Григорович издал приказ, в котором требовал, чтобы мастеровые во время обстрелов прятались в блиндажах. К сожалению, это невозможно, т. к. блиндажей нет...

На передовой противники в 30 метрах друг от друга. От неубранных трупов японских солдат многих тошнит. Многие японцы хорошо говорят по-русски. Они наших обзывают оборванцами, а наши их — макаками.

17 августа. Сегодня японцы стреляют мало, но наши крупнокалиберные орудия ведут сильный огонь.

Объявили о рождении наследника — цесаревича Алексея Николаевича.

У нас с соседом украли курицу. Беда не велика, но учитывая, что мы могли бы питаться целых три дня, жаль пропажи. Здесь теперь курица стоит целых 5 рублей. На одних галетах жить не особо весело. Желудок все чаще напоминает о себе. Правда, у Панкратова можно съесть мясной суп, но только из «лошака».

18 августа. Говорят, что Куроки разбил наголову Куропаткина. Китайцы распространяют слух, будто японцы готовят штурм города с суши и моря одновременно — 20 августа...

В городе есть немного частных блиндажей. Они принадлежат фирмам Кунста, Барашкова и других. Это грязные, антисанитарные убежища. В них творится что-то невероятное. Здесь и семьи с малыми детьми, и проститутки, занимающиеся своим ремеслом при всех, и все такое прочее. Грязь, сырость, духота. Красный Крест и другие организации имеют блиндажи лишь для своего персонала. О жителях города никто не заботится. Лучше помереть от снарядов на чистом воздухе, чем в таком смрадном ковчеге. Это общее мнение.

20 августа. Пишу об этом много спустя, так как 20 августа меня ранило.

Японцы начали обстрел. Снаряды ложились у сухого дока, где стоял крейсер «Баян». Мы укрылись в блиндаже. Когда я вышел оттуда и пошел в мастерскую, там еще никого не было. Только я вошел, как раздался страшный взрыв. Вылетели стекла, все посыпалось. Меня словно обожгло, но боли не было. Звенело в ушах и болела голова. Пытался рассмотреть, что произошло, но ничего не видел. Пропал и слух. Стало тихо. Сначала подумал, что это конец, но попробовал пошевелить ногами, потом руками. Они шевелились. Значит, порядок! Тут я заметил, что кровь хлещет фонтаном из правой руки. Пытаюсь левой рукой перевязать рану, помогая зубами завязывать платок.

Для оказания первой помощи меня доставили на броненосец «Севастополь». Командир корабля хотел отправить меня на носилках в госпиталь, но я отказался, так как чувствовал себя сносно. Мне надо было попасть в мастерские и узнать, нет ли там еще раненых. Командир направил со мной вестового. Там было все благополучно. Люди не пострадали. Снаряд, ранивший меня, пробил крышу и разорвался в двух метрах от конторки. У нас был земляной пол. Снаряд зарылся в него и там разорвался. На месте разнесенной конторки зияла воронка. Я доложил начальству о случившемся и направился в лазарет.

Меня направили на пароход «Монголия». Это был плавучий лазарет. В это время врачи оказывали помощь четырем тяжелораненым, доставленным с крейсера «Баян». Последним раздели меня и осмотрели. Оказалось — кроме ранения руки, я был ранен в шею у уха, ниже глаза и в щеку. Пока один врач извлекал осколки, другой осматривал и ощупывал руку. Рана была не сквозная. После осмотра меня оставили в покое до утра и назначили рентген. Ночью сильно знобило.

21 августа. В 9.00 меня взяли в малую перевязочную. Осколок прощупывался, но достать его было трудно. Я первый раз в жизни увидел рентген. Это очень полезная вещь для исследования ран. Мой осколок описал кривую и застрял в мышцах. Назначили операцию под хлороформом. Есть не давали. В 16.00 я лежал на столе. Студент вытер мою руку бензином, а затем эфиром. Врач Покровский выслушал пульс и сердце. Доктора Кинаст и Сумцов приготовились к операции. Первый накрыл мне лицо салфеткой и, приказав ровно дышать, стал лить хлороформ из кувшинчика. В ушах зазвенело, чувствовался острый, неприятный запах, и я как будто стал падать в пропасть. Ужасно захотелось спать. Вроде бы начинаю браниться, но слов не слышу. Через некоторое время слышу слова врача, обращенные ко мне: «Как вам не стыдно так браниться!». Мне стало совестно. Рука сильно болела. После операции меня положили на палубу, на свежий воздух. Очень хотелось есть. Дали суп и кусок солонины. Я съел с большим удовольствием, но кашу не ел. Не пил и чая. Во рту стоял запах противной солонины. Вечером и утром температура 38,5. Появилась флегмона.

22 августа. Лежу рядом с операционной. С кораблей, порта и мастерских приносят много раненых. Одни умирают тут же, другие — в операционной. Многие лежат без памяти. Стоны и страдания людей сильно на меня действуют. Душа болит смотреть на эту картину.

23 августа. Из порта привезли трех китайцев. Один умер сразу, другой — в операционной, третий будет жить. Ему оторвало ногу. На броненосце ранило двоих вахтенных. Один из них мой знакомый, комендор Каминский.

Сегодня к нам доставили солдата 1-й роты 25-полка. По национальности он грузин, зовут его Константином. Он ранен пулей навылет. В бреду все время зовет какую-то Елену, очевидно жену, и говорит что-то по-грузински. Рядом лежит солдат, раненый в голову. Он впал в детство. Просит коробки из-под папирос, собирает цветные бумажки. Зовут его Гришей. Наша палатная сестра княгини Ливен балует его. Константин умер через 5 дней, а Гриша протянул три недели. С нами лежал стрелок, еврей Мойша. Он земледелец Ковенской губернии из местечка Шавель. Ранен в ногу, раздроблена кость.

Я подружился со всеми ранеными. Меня навещали товарищи и приносили съестное. Делился со всеми, но больше с армейцами, чем с флотскими: ведь моряков навещали командиры и судовые священники, и каждый что-нибудь приносил матросам, а армейцев никто не навещал. Очень жалко солдат. Они были настоящими героями и терпели больше других. У многих цинга. Все оборваны до невозможности. Заботились о них лишь врачи и сестры. *Велика и почетна задача сестер милосердия!* Жаль, что не все из них это хорошо понимают. Мало у нас хороших, настоящих сестер. Многие лишь корчат из себя начальство и все такое прочее.

Рука моя сильно раздулась и побагровела. Температура 40. Плохо дело. Студент Ф. С. Греков ежедневно показывает меня старшему врачу...

18 сентября. Первый раз вышел самостоятельно на палубу. «Монголия» была пришвартована к одной бочке с «Амуром» и «Казанью». В проходе напротив нас стояли броненосцы «Пересвет», «Полтава», «Победа», «Севастополь», «Ретвизан», а «Паллада» — ближе к Тигровому мысу. Японские снаряды рвались у «Севастополя» и «Пересвета». Ночью «Севастополь» отвели в Восточный бассейн, а «Пересвет» подтянули ближе к «Казани».

21 сентября. В 11.00 в «Монголию» попало три снаряда. Один угодил в машинное отделение, другой — в офицерскую кают-компанию, а третий разорвался на спардеке. Жертв не было, только третьего помощника сбило с ног и бросило под стол. На корабль прибыл командующий эскадрой адмирал Вирен и обещал поставить «Монголию» в более безопасное место. 22 сентября нас отвели в более безопасное место, но и там рвались снаряды.

13 ноября. Противник ведет убийственный огонь по Высокой горе фугасными снарядами и шрапнелью. С «Монголии» взяли врачей и сестер для оказания помощи на позициях.

14 ноября. Доставленные на «Монголию» раненые с Высокой горы рассказали, что японцы вчера четыре раза брали вершину горы, и четыре раза их сбрасывали оттуда.

15—21 ноября. Днем и ночью идут тяжелые бои. 20 ноября я выписался и приступил к работе. Раны еще болят, но терпеть можно.

22 ноября. Японцы взяли Высокую гору. Теперь их огонь стал более эффективным: с горы весь город как на ладони. Настроение гарнизона и горожан заметно падает. В руках противника оказалась и семафорная станция. Она служила для управления огнем артиллерии.

Наступают самые тяжелые дни для Артура.

Первым из броненосцев пострадала «Полтава». Снаряд попал в пороховой погреб. Корабль полностью выведен из строя. Его осталось лишь затопить.

24—26 ноября. С кораблей снимают орудия и ставят на суше. Японцы своим огнем буквально уничтожают эскадру. Мы не жалели сил, чтобы поддержать корабли в боевой готовности, но все было тщетно. На наших глазах стальная громада, бывшая столь грозной для врага, погибала, теряя один корабль за другим. Слезы текут из глаз, когда видишь гибель кораблей. Тяжелый корабль сначала кренится, а затем, задрав нос или корму, уходит под воду. Обидно, что эскадра гибнет не в морском бою, а в своей же бухте, от сухопутных батарей.

25 ноября броненосец «Севастополь» ночью вышел на внешний рейд и пустил на дно два японских миноносца.

27, 28 ноября. «Севастополь» отправил на дно еще два японских миноносца. Сам он получил незначительные повреждения. 28 ноября в сухой док встал «Амур».

1 декабря. Японцы бьют по сухому доку. Прямое попадание в корму «Амура».

2 декабря. Сильный обстрел всего города. В блиндаже убит генерал Кондратенко. С ним погибли инженер-подполковник Рашевский, подполковник Науменко и еще несколько офицеров.

3 декабря. Сильный обстрел Старого города. В Новом европейском городе попадание в китайский банк. Основной зал разбит, но работы идут в подвалах и кладовых.

С «Монголии» лазарет свезли в Новый город. Я навестил знакомых раненых и виделся с врачами. В двухэтажной больнице 25 комнат, и все они переполнены. Раненые лежат в коридорах. В здание попало два снаряда, но никого не убило. Главврач сказал, что мне повезло. Если бы я ранен был сейчас, то руку пришлось бы отнять, так как уже нет необходимых медикаментов. Я видел, как тяжелораненых перевязывают грязными бинтами. Глядя на все это, есть чем вспомнить «Монголию».

4 декабря. Скоро ли все это кончится? Страданий людей добавилось с массовыми заболеваниями дизентерией и тифом. Все дорожает. Курица уже стоит 35 рублей, яйцо — 1 рубль, фунт картофеля — 2 рубля.

5 декабря. Снаряды рвутся везде. Прямое попадание в «Амур». Корма погрузилась в воду.

6 декабря. Стреляют по лежащему на боку «Амуру». Видать, японцы не при-

держиваются правила, что лежачего не бьют. Опять несколько попаданий в корабль.

9 декабря. Ночью японцы штурмовали 2-й форт. Наши взорвали укрепления и отошли.

11 декабря. Говорят, что наша Балтийская эскадра вела бой с японской. Результаты неизвестны. Быстрее бы она пришла на выручку! Мы ее ждем с нетерпением.

14 декабря. Китайцы сообщают, что японцы будут стрелять по Крестовой батарее и по Плоскому мысу. Жители этих дачных мест поспешно убираются оттуда. Данные оказались верными. В порту сгорел Масляный городок. Ночью стреляли по Минному городку и по 3-му форту.

15 декабря. Закончив ночную смену, я лег спать, но в 8 часов проснулся от сильного грохота. Готовясь к штурму 3-го форта, японцы подорвали его. При этом они побили много своих солдат. Штурм был отбит, но несколько укреплений противнику удалось захватить. В Китайском квартале снаряды не рвутся, а у нас — каждый день. В городе процветает воровство. Власти бессильны с этим бороться. У генерала украли корову.

16 декабря. Наши оставили 3-й форт. Очень сильный северный ветер. Обстрел ослаб. Постоянно взлетают осветительные ракеты. В Новом европейском городе зарево. Пожар быстро распространяется на соседние здания. Горит гостиница «Звездочка». Там жил медперсонал. Теперь стало ясно, что без подкрепления город не удержать. Свирепствует цинга. Говорят, что Балтийская эскадра на днях прибудет на помощь, но поверить в это трудно.

17 декабря. Вчера сгорели склады в Новом европейском городе, а «Звездочку» спасли. Снаряд попал в канонерскую лодку «Бобр». На корабле вспыхнул пожар. Огонь полыхал и в арсенале. Всю ночь рвались патроны и снаряды.

18 декабря. Сегодня особенно много стреляет батарея Электрического утеса. Предвидя возможность захвата укреплений противником, наши ставят фугасы. На Дивизионной горе все атаки отбиты.

За стеной соседи в последнее время стали часто пьянствовать. Бутылка «Смирновки» стоит 7 рублей, но это никого не останавливает. Пьянство стало распространяться среди питерских рабочих, особенно после падения Высокой горы. Раньше люди почти не употребляли спиртного, а теперь, видать, сдали их нервы, и, переплачивая спекулянтам раз в 20, пропивают свои трудовые деньги. Этому способствует безвыходное положение и невозможность отсылки денег родным. Многие считают, что лучше их пропить, чем они пропадут даром.

19 декабря. Японцы яростно штурмуют Дивизионную гору, Большое Орлиное и Малое Орлиное гнезда, 5-й форт и Курганную батарею. К вечеру оставили Большое и Малое Орлиные и нижние позиции Курганной батареи. К японцам был послан полковник из Главного штаба, но его не приняли. Сказали, что будут говорить только с комендантом крепости генералом Смирновым.

Как обычно, сегодня мы начали работу в 19.00. На Золотой горе был поднят белый фонарь. Мы думали, что это сигнал приближающейся Балтийской эскадре. Стояла сравнительная тишина. Вдруг раздались сильные взрывы. Все бросились из мастерских во двор. Оказалось, что это взрывают корабли. Первым взорвали «Амур». К 22.00 взорвали все остальные корабли. Особенно сильно горели «Баян» и «Ретвизан». Готовили к взрыву электростанцию. Она была за литейной мастерской. Вскоре взорвали все станки и оборудование, вывели из строя паровые котлы. В эту ночь никто не ложился спать. Зарево пожаров освещало Золотую и Перепелиную горы. У Пресного озера взрывали пороховые погреба. В нашей фанзе вылетели все окна и двери.

20 декабря. Нас собрал флагманский механик Шилов и просил предотвратить пожары в мастерских. Однако модельная мастерская, облитая керосином, уже горела. В это время шли переговоры о сдаче Артура. Как обидно, что за 11 месяцев его героической обороны правительство не смогло оказать помощь его защитникам! Невзирая на запреты начальства, взрывы гремят в Минном городке и в других местах.

Неизвестно, чем кончатся переговоры, но известно одно — сопротивляться нет больше сил.

21 декабря. Стало известно, что сегодня в 15 часов в Артур войдут японцы. Это роковой день крепости. Мы пошли в Управление порта узнать обстановку. Нам заявили, что деньги выплатят только чиновникам и конторщикам, а нам — нет. Сказали, что расчет мы получим в Петербурге, но не сказали, как и когда мы туда попадем! Ничего толком не узнав, мы направились домой.

В городе уже находились конные и пешие японцы. Пехотинцы — в коротких меховых шубах, покрытых желтым сукном, с высокими воротниками. Обуты они в башмаки с застежками, а поверх — гамаши. У конных такая же одежда, только на ногах сапоги. Рядом с конными офицерами идут их денщики, а если надо, то и бегут. Это показалось нам непривычным. Все японцы аккуратно одеты и выглядят браво. Очевидно, это показные подразделения. Один из офицеров обратился к нам на нашем языке: «Здравствуйте, господа русские!». Среди японцев ни одного пьяного, чего нельзя сказать о наших солдатах и матросах. Зря ребята пьянствовали в такую тяжелую минуту.

22 декабря. У ворот порта японские часовые. В городе их разъезды. Рядом наши городовые, только без оружия. Японцы ведут себя пока сносно. Наше портовое начальство велело собраться нам завтра в 5 утра у Квантунского экипажа. Видать, предстоят нам великие мытарства.

23 декабря. По распоряжению капитана 2 ранга Альбрехтовича нас подняли ни свет ни заря, чтобы успеть к указанному сроку. Мои соседи вчера допоздна «прощались» с Артуром, а сейчас бьют посуду и ломают мебель.

1905 год

6 января. На базаре появились японские продукты. Свинина стоит 40 коп. фунт. Есть и овощи. Сегодня по приказанию капитана 2 ранга Альбрехтовича мы должны собраться к 8.00 на Цирковой площади. На душе тяжело. Предстоит расставание с городом, где так много сделано и пролито столько крови. Уходя отсюда, мы все же надеялись, что когда-нибудь Артур опять будет нашим.

Далее описывается переход пленных к городу Дальний. Колонну, в которой находился автор дневника, возглавлял все тот же капитан 2-го ранга Альбрехтович. Конвоировали японские солдаты, уже не столь любезные, как в день, когда они входили в Артур. По дороге встречались огромные кладбища японских солдат, павших в боях на подступах к городу. Видно было, что за город заплатили они огромную цену. У кладбищ стояли по два гладко выструганных столба с иероглифическими надписями, а возле них — почетные караулы. Через некоторое время пленных отправили из порта Дальний в Россию. Окончание дневника, к сожалению, не сохранилось.

Память

Т. СОЛОВЬЕВА

СПАС-НА-ВОДАХ

В июльском номере «Невы» за 1989 год была опубликована статья Л. Шапиро «Новой Голландии — новую жизнь». Речь в ней шла о необходимости возродить этот единственный в своем роде исторический и архитектурный памятник для новой жизни в качестве научного и культурного центра. В самом деле, где как не здесь развернуть экспозиции Центрального военно-морского музея и музея мореплавания и портов, где как не здесь сосредоточить книжные богатства Центральной военно-морской библиотеки, организовать выставки под открытым небом и устроить детские «морские» аттракционы? Сама история Новой Голландии, ведущая свой отсчет с петровских времен, голосует за такое решение. Слава Российского флота рождалась на берегах Невы, здесь же она бережно сохранялась. Об этом напоминают и расположенные совсем близко от Новой Голландии Адмиралтейство, Гвардейский флотский экипаж, собор Николы Морского и то место, где воды Ново-Адмиралтейского канала сливаются с невскими водами и где высился некогда белокаменный храм Христа Спасителя, получивший в народе имя Спаса-на-Водах, храм-памятник русским морякам, погибшим во время войны с Японией 1904—1905 годов.

Воздвигнутый в начале нашего века, он прекрасно смотрелся с невского простора и постоянно напоминал о себе и о тех жертвах, которые понесла Россия в далеком Японском море, всем командам всех кораблей, бросавших здесь свои якоря, всем рабочим питерских верфей, всем жителям столицы. А имена жертв, отлитые в бронзе, взывали к памяти живущих с досок, размещенных внутри храма, и все заупокойные молитвы адресовались и этим морякам, павшим в сражениях.

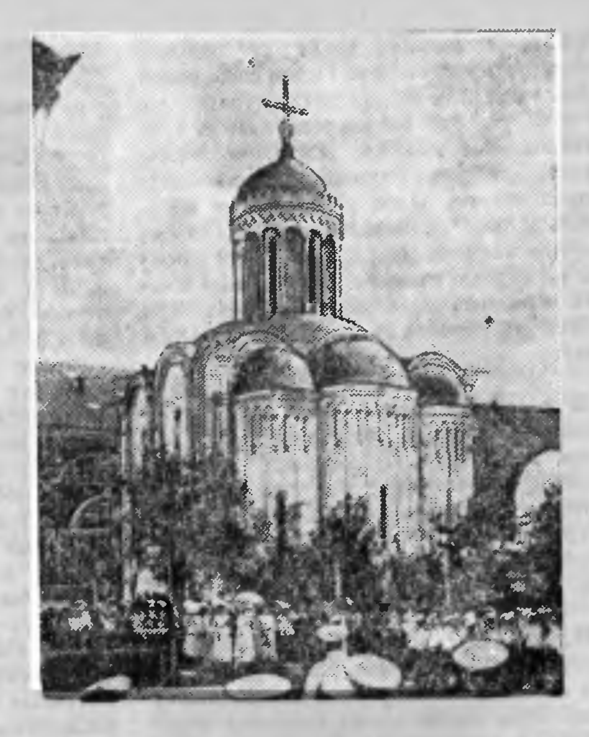
И еще Спас-на-Водах привлекал внимание своеобразием архитектуры. Автор проекта М. М. Перетяткович взял за образец церковь Покрова на Нерли, и Академия худо-

жеств признала «храм в намеченной комплектовке для данной местности возможным...».

Особенности берегового грунта потребовали специальных изысканий перед закладкой фундамента, их вела комиссия во главе с профессором Н. В. Покровским. Строительными и художественными работами руководили сам Перетяткович, а также инженер С. Н. Смирнов и скульптор Б. М. Микешин.

Нижний этаж храма предназначался для хранения военных реликвий, низкие его своды напоминали палаты царя Алексея Михайловича. Иконостас и всю роспись, выдержанную в стиле XVI века, выполнил художник М. М. Адамович. Иконостас был изготовлен из белого камня, привезенного из Тульской губернии по образцам, специально присланным из монастыря Святого Луки в Фокиде (Греция). В иконостас вмонтировали мозаику, созданную по эскизам В. М. Васнецова и Н. Ф. Бруни.

Газеты того времени писали, что храм создавался «чрезвычайно быстро, с большим подъемом всех работавших здесь людей». И уже в 1912 году засияли его кресты, перекликавшиеся с мачтами судов на Неве, и открылись северные двери, выполненные



Храм Христа Спасителя в память моряков, погибших в войну с Японией (угол Н.-Адмиралтейского канала и р. Невы), «Спас-на-Водах». 1911 г.

известным московским чеканщиком Дивовым по образцу дверей XII века из храма города Александрова Владимирской губернии.

Но уникальная постройка просуществовала недолго. В новейшее время ее постигла та же участь, что и московский храм Христа Спасителя, что и многие другие святыни... Она была взорвана. Памятные доски, по некоторым данным, уцелели.

А что, если?.. Впрочем, стоит ли продолжать? Найдутся такие специалисты, пораженные вирусами скепсиса или снобизма, которые в один голос возопиют о новоделе. Однако думать-то надо о *памятнике*. Его воссоздание — вот задача. И решить ее можно. И только в поиске. Разумеется, творческом.

Парнас

В Центральном государственном историческом архиве Ленинграда, как и в других архивохранилищах и библиотеках страны, уже не первый год ведется работа по расширению информационной базы общественных наук. На общее хранение переводятся документы, которые многие годы были закрыты для большинства исследователей.

В одном из дел архивного фонда редакции газеты «Воля народа» (литературно-политическая ежедневная газета партии социалистов-революционеров) за 1917 год среди писем корреспондентов газеты обнаружен автограф стихотворения Осипа Мандельштама «Соборы», датированного автором 1916 годом.

Ни в одном из вышедших в 1917 году 206 [1] номеров газеты стихотворение не появилось. В выходивших в 1916—1928 гг. в России циклах стихов Мандельштама и в литературно-художественных альманахах и сборниках за 1917—1937 годы оно также не обнаружено.

Хотя поэт примыкал к группе акмеистов и сотрудничал вместе с ними в «Гиперборее» и «Аполлоне», но уже первая книга его стихов «Камень», увидевшая свет в 1913 году, показала, что в этом течении он занимал несколько обособленное место. В годы мировой войны, к которой Мандельштам очень скоро начал относиться критически, в его поэзии, в отличие от большинства поэтов-акмеистов, все явственнее звучит социальная нота.

[1] Первый номер газеты «Воля народа» вышел 29 апреля 1917 года.

А въ запечатанныхъ соборахъ
Гдѣ и прохладно и темно,
Какъ въ нѣжныхъ глиняныхъ амфорахъ
Играетъ русское вино:

1916.

Осипъ Мандельштамъ

О. МАНДЕЛЬШТАМ

СОБОРЫ

О этот воздух, смутой пьяный,
На черной площади Кремля!
Качают шаткий мир смутьяны,
Тревожно пахнут тополя...

Соборов восковые лики;
Колоколов дремучий лес
Спит — и разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез.

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах
Играет русское вино.

Успенский, дивно округленный,
Весь — удивленье райских дуг
И Благовещенский — зеленый,
И, мнится, заворкует вдруг.

Архангельский и Воскресенье
Просвечивают, как ладонь;
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь!

Вступительная заметка и публикация
Н. ЧЕСНОКОВОЙ

Антресоли

Михаил ЛЮБАВИН

ГАДАЛКИ ИЗ «НОВОГО САТИРИКОНА»

Старинная вещь несет на себе печать своего времени. Глядя на кучу глиняных черепков, опытный археолог определит не только время и место рождения посуды, но порой и ее судьбу. Так сколько же может рассказать о себе и о своем времени старый журнал даже при беглом просмотре!

Еженедельник «Новый Сатирикон» по праву считался лучшим сатирическим изданием России в канун революции. Имена талантливых авторов, постоянно сотрудничавших в журнале — Аркадия Аверченко, Аркадия Бухова, Тэффи, Василия Князева, Евгения Венского, карикатуристов Н. Ремизова, А. Радакова и В. Лебедева,— обеспечивали «Новому Сатирикону» успех в среде интеллигентной, читающей и просто грамотной публики.

Журнал неизменно давал материал на злобу дня. Кипение думских страстей и министерская грязь постоянно выплескивались на его страницы; спекулянты и богачи военного времени кочевали из номера в номер. А крайне правый депутат Думы Марков 2-й был, можно сказать, его постоянным героем.

Вот новогодний номер журнала, уже авансом помеченный январем 1917 года (дозволено военной цензурой 17 декабря 1916 года). На обложке — карикатура: пухлый младенец в маске с лентой «1917» стоит на верху лестницы, а у ее подножья его ждут ангел мира с оливковой веткой и Марс с мечом, пушкой и барабаном.

— Ну-ка, посмотрим: к кому пойдет этот милый малютка...

Редакция задала вопрос, ответа на который ждали тысячи читателей журнала и миллионы людей, никогда о нем не слыхавших.

Карикатура на обнищание кайзеровской Германии сменяется карикатурой на российскую дороговизну, фельетон о катастрофическом состоянии петроградского трамвая — заметкой о бестолковости городской продовольственной комиссии. Остроумные шутки великих людей прошлого и пародии слегка скрашивают невеселую картину жизни.

Не откажешь в остроумии и автору стихотворного фельетона «Равноправие в хвосте», посвященного новому явлению петроградского быта — очередям:

Монах я безбожник,
«Союзник», еврей,
Маляр и художник
Торчат у дверей.
Чиновник в манишке —
За старцем в лаптях...
Зане все людишки
Равны во «хвостах»!

А кончается фельетон «широким обобщением» с легким юмором:

Новый лозунг миру дан,—
Он красиво прост:
Пролетарии всех стран,
Становитесь в «хвост»!

Но гвоздь номера — новогодние предсказания. Вот некоторые из них.

Февраль. «Февраль проживем скорее: меньше дней. Торговцы маслом пожиреют... В старом кабинете появится новый министр, который через 24 часа станет старым. На Маркове 2-м появится паутина... Под гул пушек поговорят о мире»...

Июнь. «В стане правых объявится новый человек, знающий, как спасти Россию. С трудом удастся спасти от него казенные деньги... В городских холодильниках найдут залежи чего-то гнилого, не то рыбы, не то мяса. Под гул пушек поговорят о мире...».

Октябрь. «Все по-старому».

Ноябрь. «Все по-старому».

Декабрь. «Все по-старому. К Новому году шлю пожелания окончательной победы: над врагом, темными силами, нечистыми силами, мародерством, толкачеством...».

Но жизнь показала: «по-старому» уже нельзя. Автор новогодних предсказаний не смог предугадать главного — события, которое потрясло мир и перевернуло его до основания...